

ю.либсдинский

1/55

P/80636

Советский
Писатель
1944



Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

ГВАРДЕЙЦЫ

п о в е с т ь

180636.

Советский Писатель

Москва 1944

A. 55 + paper.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Был октябрь 1941 года.

Всего два дня тому назад из этих подземелий, искусно вырытых по склону глубокого оврага, вышибали немцев. Здесь происходили схватки, которые в газетах были названы «ожесточенными». Многие бойцы были прославлены, многие погибли.

Люди, которые сейчас сюда пришли, ничего об этом не знали. Для них это было темное, мрачное подземелье, где пахло земляным холодом, псиной и кровяной сыростью. Они знали, что размещены здесь временно — пока из них не будет сформирована рота... Но даже временно не хотели они жить плохо; и вот застучали топоры, приятно запахло свежим смолистым деревом, забелели нары, печник Горбыль сложил печку и сам затопил ее. Здесь было несколько костромичей и ярославцев, прирожденных плотников. Во главе их стал модельщик старинного московского завода — Моторин Николай Федорович, человек уже пожилой, но сохранивший веселый склад характера. У него на лице — сияюще-хитром — пышные рыжие усы. Он командовал и показывал, мог прикрикнуть и высмеять, — его слушались, как мастера своего дела и столичного человека. Старый солдат, он дрался с немцами еще в первую мировую войну и мог разъяснить значение тех тяжелых ухающих и грохочущих звуков, которые доносились сюда: когда это был выстрел наших, находящихся неподалеку орудий, а когда — разрыв немецкого снаряда.

Николай Федорович все знал наперед. Правда, он предсказал, что оружие будет выдано в Москве — и

оружия им не выдали: посулил, что им, как добровольцам, будут нашиты какие-то нашивки на гимнастерки, и они не были нашиты... Но зато он высмеял печника Горбыля, который уверял, что на фронт перевезут их на машинах. И действительно, их отправили по шоссе маршем, и все время, пока они шли, Моторин подшучивал над Горбылем. Что ж, он, Моторин, был старый солдат, и если ему случалось ошибаться, об этом не поминали и продолжали во всем верить ему.

В течение дня в землянку прибывали все новые и новые бойцы, те, кому удавалось выбраться в район расположения дивизии из немецкого тыла...

К вечеру в блиндаже стало хорошо. Ужин был отличный: щи с бараниной, гречневая каша, потом выдали сахар, чай и махорку,—в этой заботливой щедрости чувствовался фронт...

При свете самодельных, с треском горящих и воняющих бензином коптилок можно было писать письма, известить домашних и близких о том, что живы-здоровы.

Ночью, в двенадцатом часу, в роту было доставлено вооружение. Пулеметы и автоматы вынимали из ящиков, где они были бережно уложены. Винтовки же тащили охапками: среди них были заржавленные, у многих не доставало штыков и затворов, которые были принесены в землянку отдельно на большой рогоже с темнобурыми пятнами запекшейся крови...

На все лады расхваливая «родимую тульскую трехлинейную», Николай Федорович разобрал свою винтовку. Он до блеска протирал каждую ее часть, щелоком удалял ржавчину и потом нежно смазывал маслом. Но как похвалить, в противовес не обругав! И Николай Федорович ругал того неизвестного бойца, который довел винтовку до ржавости...

— Да, может, он покойник уже! Может, он, как это говорится, доблестно отдал жизнь в сражении, а вы о нем такие слова нехорошие,—сказал неодобрительно Горбыль.

Моторин взглянул на него с сожалением.

— Эх, молодой человек...—сказал он, хотя у печника усы были ничуть не меньше, чем у Моторина, черные, с сединою, и нос, как древесный гриб,—широкий и поросший черными волосками.—Эх, молодой человек, не знаете вы старой истории про солдата германской вой-

ны, годка моего Куроптева, который погиб на Карпатах. Встал он на голос архангеловой трубы и явился на страшный суд с винтовкой в руках. А уж там каждый о себе докладывает: я нищим подавал, а я по средам водки не пил и прочие всякие благие дела... Ну, а Куроптев — щелк затвором, да к небесному маршалу Гавриилу — гляди, мол! Поглядел тот, а винтовка лоснится, хотя тыщу лет под землей пролежала. Вопрос — почему так? Да потому — смазана.

В этом месте рассказа латыш Рекстынь — большой, круглолицый, белесый — одобрительно кивнул головой.

Однако, когда Моторин, похвалив русскую винтовку, тут же пренебрежительно ругнул автомат, которого он совсем не знал, так как их в старой армии не было, Рекстынь вступился и сказал, что «даже грудной мальчик понимает, что семьдесят пять патрон интересней, чем пять...»

— Меткости такой не будет, — не сдавался Моторин.

— Я завтра у тебя с головы яблоко сшибу своим автоматом, как знаменитый стрелок-Вильгельм Тель, — сказал Рекстынь.

Моторин покачал головой.

— Вильгельм... — протянул он насмешливо... — Может, он у немцев знаменитый, но против нашего Куроптева...

— Он не был немец, а швейцарец...

— Швейцарец? — переспросил Моторин. — Это все равно, что австрияк, — сказал он уверенно.

Рекстынь хотел возразить, но только махнул рукой. Он был застенчив и, хотя прожил в России больше двадцати лет, не слишком надеялся на свой русский язык...

А Моторин продолжал между тем:

— Слушай сюда, товарищи! Имейте в виду, други мои, что Николай Моторин, которого вы видите сейчас перед собой, взял в плен восемнадцать австрияков и даже ни разу ранен не был. Почему? А вот слушай сюда. Был я лихой разведчик, и если требовалось для штаба добыть «языка», то добывал его непременно. Знал я такое место на реке, куда австрияки ходили белье стирать... Я ложился на нашем берегу и ждал. Австрияк приходит, раздевается, начинает стирку. Я беру его на мушку и делаю вот так... — Моторин показал — будто сломал прибрежную веточку. — Австрияк поднимает го

лову и — видит, что он у меня уже на мушке. И тогда, не спуская его с прицела, я делаю ему рукой: иди, мол, сюда... И вот он тут же забирает все свое белье и лупит на нашу сторону, и так торопится, что даже винтовку свою забудет, приходится его за ней посылать.

— Э, брат, теперешнего немца ты так не возьмешь... — произнес кто-то.

Моторин оглянулся. Он вдруг увидел, что очень многие из бойцов, прибывших сегодня в роту и улегшихся было спать, теперь поднялись со своих мест. Здесь были разные люди: молодые и пожилые, плотно сложенные и худощавые, но у всех на лицах лежал отпечаток не то суровости, не то какого-то напряженного внимания. И Моторин поспешил откликнуться на незнакомый голос:

— Австрияк одно, немец, конечно, другое... Немца австрийским манером не возьмешь, потому — по одному стирать не ходят: они сразу целым отделением все стираются, один по бережку ходит. И вздумай я веточку сломать, как с австрияком, так он мне первый скажет: «хенде хох!»

— То-то, — сказал еще чей-то зловеще-торжествующий голос.

Моторин бросил в его сторону сияюще-хитрый взгляд и хотел что-то возразить, но его опередили.

— Ты, видать, на «хенде хох» лапки-то уже поднимал, — презрительно заметил тоненький паренек, с бледным лицом и глазами твердыми, как синие камешки.

— Вот испытаешь на себе, что мы испытывали, спеси в тебе поубавится... — еще более зловеще выговорил тот, который первым перебил Моторина, — это был рослый, с обветренным лицом человек.

Синеглазый паренек презрительно свистнул...

— Конечно, испытать это на себе не мешает... — бабовито вступил в разговор пожилой сержант.

Те, кто знали его, обращались к нему уважительно и называли его «дядя Ивашин». Это был человек крупный, с сединой в коротких и ершистых темных волосах. Глаза у него были карие, веселые.

— Вот мы, — кивая на бледного паренька, сказал Ивашин, — со второго октября бродили по немецким тылам и все никак не могли соединиться со своими. — Он

вздыхнул, помолчал. — Вышли раз на перекресток, видим стрелки и надпись: «Дорога комендант германский армия. Приказ красноармеец: являйся немедленно. Промедление будет повешено». Стоит у этой стрелки один наш голубчик, читает. Увидел нас, обрадовался. «Здорово, земляки, вот стою, сомневаюсь». — «А чего сомневаешься?» — «Да одному боязно являться — пошли вместе!» Мы видим, что этому человеку лучше не жить: всего боится. Пристрелили его, подвесили к стрелке и подписали: «Расстрелян за предательство, такая участь ждет каждого иуду».

Ивашин замолчал, в землянке тоже все молчали, оглядывая его широкое бритое лицо. А он продолжал, вздохнув:

— Когда мы, значит, пробрались к нашим, привели нас к командиру дивизии, полковнику Городкову, и он такой нам допрос устроил, что мы аж вспотели. А потом сказал: «Вижу, вы — честные бойцы. Беру вас в свою дивизию. На мою придирчивость не обижайтесь». А чего обижаться — мы сами понимаем... — И, обращаясь к Моторину, Ивашин сказал: — Вы простите, товарищ, что я перебил вас, — человек вы, видать, бывалый, и послушать вас интересно...

Николай Федорович, польщенный, провел рукой по своим красивым усам:

— Что ж тут много толковать! Я только то сказать хочу, что на всякого зверя своя охота... Австрияка я брал в одиночку, а немцев тоже брал, но тут уже ходили вдвоем: один заманивает, другой берет... Как заманивать? Это зависит от обстановки. Но, как ни заманил, — брать надо одним способом: очень сильно ударить по голове и тащить, пока не опомнится, да, если он стал по пути в себя приходить, опять ударь, а то, если опомнится, тут же драться опять начнет.

— Ну и притащите вы его такого, поврежденного, а на что он нужен с дурной головой? — насмешливо сказал Ивашин.

Моторин никому бы не спустил этой насмешки, но Ивашину ответил с уважением:

— А что же делать, папаша... Конечно, бывало, что совсем мертвого притащишь, ну, а другой — хотя и стонет, и за голову держится, и «копфшмерцен» говорит, но он все равно для разговора годится.

— Да, это действительно... У немца голова крепкая...— сказал Ивашин со вздохом.

Когда сходятся впервые люди, чтоб вместе работать или вместе воевать, не обязательно на первый план сразу выступают самые достойные. Очень часто бывают они скромны, застенчивы и неразговорчивы... Часто бывает так, что в центре внимания оказываются люди, которые умеют и любят поговорить, поспорить, пошуметь. Такие люди могут быть и вздорными и дельными, но значение их во всяком вновь возникающем общественном организме громадно. Они произвольно, помимо своего желания, связывают людей.

Рекстынь подкидывал дрова в печурку. Были поленья сухие, осиновые, но они сгорали скоро, а большие дубовые брусья пока еще только дымились, шипели, но Рекстынь знал, что именно они-то и дадут жар. И то, что делалось в печке, и то, что происходило в землянке, Рекстыню казалось очень схожим: горел и потрескивал веселый, иногда вздорный, разговор, который завел Николай Федорович, но Рекстынь подумал, что самыми лучшими, надежными и проверенными бойцами в роте будут, может быть, те, что сейчас молчат или медлительно и неохотно вступают в разговор...

Ему нравился Ивашин, ополченец с московского завода имени Латышева, один из самых почтенных людей на своем заводе, коммунист,— Рекстынь узнал об этом у Мити Фетисова, того синеглазого бледного паренька, который всегда держался вместе с Ивашиным.

Из немецкого тыла выбилось их шестнадцать человек, все с одного завода, они в начале войны пошли в ополчение и с тех пор вместе.

— Зачем это понадобилось нас разбивать по разным ротам? — недовольно спрашивал Митя. В эту роту их попало только трое.

Рекстынь объяснил Мите, зачем это нужно. Ему самому никто этого не объяснял, но Рекстынь привык сам разбираться в решениях власти и находить их скрытый и к одной великой цели направленный смысл.

— Вы — рабочие-ополченцы—закваска, боевые дрожжи. Не по-хозяйски собрать вас всех в одной роте,— говорил Рекстынь.

Двадцать лет жил Рекстынь в Москве, женился на русской девушке.

«Ты, папа, латыш? Что это значит «латыш»?» — спрашивал его когда-то сыночек Миша, тот, который учится сейчас в школе лейтенантов. Мал он был, когда спрашивал, и забавны были Рекстыню его вопросы. Давно уже не думал Рекстынь о том, какой он национальности, и когда в 1940 году освобождена была Латвия, даже и в голову не пришло ему вернуться на родные дюны, к светлым волнам Балтийского моря... Стал он теперь москвичом, русским коммунистом. Это он по поручению партии расчистил под Москвой громадные пустыри и основал знаменитые огороды, кормившие овощами целый рабочий район. В начале войны Рекстыня на фронт не отпустили, теперь же, когда немец шел к Москве, нельзя было не отпустить.

Немец шел к Москве. Теперь по-другому ответил бы Рекстынь маленькому сыну. Латыш — это ненависть к немцу. Из поколения в поколение растущая ненависть к немцу: немцу-разбойнику, монаху в латах, с мечом и крестом. Эта ненависть закалила Эдуарда Рекстыня, сына огородника, внука рыбака, — и сейчас она такая же живая, как в день, когда, четверть века назад, Эдуард покинул отчий дом и стал вместе с русскими отражать немца.

«Братя, товарищи! Отдыхайте перед завтрашним боем!» — произнес мысленно Рекстынь. Он взял винтовку, стал у входа в землянку. Падает густой влажный снег — все бело, фронт затих, — тем легче может подкрасться враг. Гляди в оба, Эдуард Рекстынь, тебе выпала эта честь, латышский стрелок, первому стать на дневальство в своей роте.

II

Керосиновый чад, красноватый неровный свет, жар железной печурки, розовой от накала, длиннорукие тени, мелькающие по дощатым стенам блиндажа... Сюда, на командный пункт полка, впервые прибыл молодой политрук Дементьев. Намокший ватник его нагрелся — еще часок, другой — и высохнет. Дементьеву интересно было слушать, то, о чем говорили здесь, иногда громко, иногда замолкая, — и тогда слышен был только спокойный голос командира стрелкового полка полковника Кораблева.

Говорили о бое. Им управляли отсюда, с командного пункта полка. Он давал себя знать глухими ударами, заставлявшими прыгать красноватый огонек керосиновой лампы.

Несколько часов тому назад Дементьев не знал ни о том, что он будет в этом полку, ни о том, что такой полк существует. Позавчера, после месяца боевых приключений в тылу у немцев, он впервые в жизни очутился в Москве. Нужно было отоспаться, пройти санпропускник. Много часов отняли служебные разговоры... Москву повидать почти не пришлось.

Но все-таки, когда его, в числе еще двух десятков командиров и политработников, везли на фронт в грузовой машине и машина проезжала по одному из огромных мостов, перекинутых не только над рекой, но и над улицами, домами и трамваями, Дементьев на минуту увидел Кремль — эту легенду, такую достоверную в холодной пасмурности дня... А потом пошел снег. Машина мягко катилась по шоссе, всю ночь перед глазами Дементьева рябили влажные хлопья, и он, покачиваясь рядом с товарищами, то засыпал, то пробуждался и не то во сне, не то наяву снова представлял среди дворцов и храмов Кремля совсем маленькую, точно из сказки, окруженную елочками церковь «Спаса на бору».

Он запомнил ее по рисунку в учебнике еще со времени школы и сразу признал: начало Москвы, сердце-винка будущего великого города, маленькая и древняя. Кругом были тогда сосны, овраги, ручьи, бегущие в речку. Бор — и в бору зазвонили вдруг колокола, построена была маленькая церковь.

Все теперь под смертельной угрозой. Все. Прошрое, настоящее, будущее. И как страшно близко — семьдесят километров от Москвы.

Дементьев, вздрогнув, оглянулся, снова увидел себя в этой уютной землянке. «Ничего,— вот я уже добрался до своего места в армейском строю»,— говорил он себе. Комиссар приказал обождать,— вот он и ждет. Скоро то, о чем здесь говорят начальники, превратится для него в тяжелый, кровавый и благородный труд, который с начала войны стал больше, чем его призванием,— ничего для него не существовало в жизни, кроме этой войны. Оттого он весь поглощен был тем, что

происходило в землянке, хотя многого не понимал, точно со середины стал читать книгу, тем более для него любопытную, что с какой-то страницы он сам должен был действовать в ней.

Разговор в землянке стал особенно интересен с тех пор, как сюда пришел капитан с артиллерийским трафаретом на петлицах. Его слабый голос то и дело перехватывало хрипотой, и он откашливался, деликатно прикладывая руку ко рту.

— Ну-ну!.. Давай-ка! Давай,— говорил тогда комиссар стрелкового полка Язев, разговора с которым дожидался Дементьев.

Было в зеленых быстрых глазах Язева, во всей игре его лица, в легких движениях широкой фигуры что-то, делавшее его похожим на озорного мальчишку, из тех, которые не могут пройти мимо спящей на дороге голубиной стаи, чтобы не пустить в нее камнем. Долговязый, большерукий командир артиллерийского полка майор Воловик, слушая капитана Стахеева (так звали капитана-артиллериста), порой с торжеством оглядывал всех выпуклыми ясными глазами, словно именно он и выдумал это самое чудо, этого капитана Стахеева.

А Стахеев, откашлявшись, говорил слабым, но внятным голосом:

— Вести огонь на подавление целей обычным способом, что мы безуспешно делали последние сутки, я считаю бессмысленной тратой снарядов. Враг глубоко зарылся, и даже при прямом попадании вред, ему причиненный, очень относителен. Что же нам делать? — Капитан Стахеев своими маленькими и блестящими глазами обвел всех, кто находился в землянке, включая сюда и Дементьева. — Я думаю, что мы правильно сделаем, если применим стрельбу на дополнительных углах.

Наступило молчание.

— Это будет навесный огонь, губительный для целей, находящихся за укрытиями,— добавил Стахеев и показал рукой: очевидно, укрытие должна была изображать мохнатая шапка-ушанка, лежавшая на столе; Стахеев быстрым движением руки показал над ней круто идущую вверх и так же круто падающую вниз кривую и ткнул в кучку карандашей, лежавшую за шапкой.

— Но командирам батарей все время придется пользоваться артиллерийскими таблицами! — громоподобным голосом перебил его майор Воловик.

— За уровень артиллерийской культуры командиров моего дивизиона я ручаюсь, — ответил капитан Стахеев. Некоторое застенчивое самодовольство слышно было в его голосе.

Командир артполка опять, торжествуя, оглядел всех: «Каков-де мой Стахеев, а?»

— И ты считаешь, что мы так-таки выковырнем фашистов этим вашим навесным огнем? — спросил угрюмого вида полковник Кораблев и положил на карту свою большую темнокрасную, обветренную руку, точно все, что было на карте, принадлежало лишь ему.

Капитан Стахеев пожал плечами и с кротким сожалением взглянул на полковника. За капитана ответил майор Воловик:

— Тут все бесспорно, Алеша, — сказал он. — Немец, как тебе известно, забился под землю, навесный огонь именно выковырнет его, как ты выражаешься, из-под земли. Будем отдельно корректировать каждый выстрел. Это не тот метод огневого налета, который мы все время практиковали, и не беглый огонь по площади. Это стрельба на разрушение целей. Я гарантирую, что после четырех часов подобной работы от их оборонительной системы ничего не останется и вы можете притти и кончать фрицев штыком, гранатой и пулей.

Майор Воловик замолчал, наступила тишина, особенно ощутительная после того, как смолк его громкий голос, и в этой тишине Дементьев вдруг услышал, как слабенький, хриповатый, но очень приятный голос пропел:

Не по-гражданскому в карете,
Не по-пехотному пешком —
К венцу поедem на лафете,
Орудье-гаубицу возьмем...

Это пел капитан Стахеев. Этой забавной песенкой он особенно понравился Дементьеву. В ней было что-то такое весело-уверенное, что убеждало лучше всяких доказательств.

Однако похоже, что, кроме Дементьева, никто не обратил внимания на веселую песенку артиллериста... Командир стрелкового полка даже нахмурил в сторону

Стахеева свои темнорыжие густые подстриженные брови и требовательно обратился к майору Воловику:

— Давай точно. Сколькими часами мы располагаем?

— Нужно сообщить... — начал майор, вопросительно глядя на капитана Стахеева, который в это время закуривал от жаркой розовой печной стенки, и Дементьев близко видел желтоватую, усталую кожу на его виске.

Он закурил и сказал:

— А я уже перевел батареи. Промедление, как известно, смерти подобно, и я решил использовать эту ночь, чтобы не откладывать на следующую. Уверен был, что мой вариант вы примете. — Он встал и вытянулся перед майором Володиным. — Второй дивизион ждет вашего приказа, товарищ комполка, — сказал он шутливо.

— Я всегда знал, что ты настоящий командир, Юра, — горячо ответил ему майор Воловик.

— Служим Советскому Союзу, — сказал Стахеев. — Не более, как через пятнадцать минут фрицы на своей шкуре почувствуют, что не случайно гений русского народа носил славную артиллерийскую фамилию — Пушкин! — воскликнул он. — Пушкин — пароль и лозунг второго дивизиона! — Потом вдруг вздохнул и добавил: — Тепло здесь у вас, уходить неохота... — Но он тут же крепко затянул свой пояс поверх шинели и, нахлобучив мохнатенькую дымно-серую шапку-ушанку (такие шапки лежали в землянке повсюду), ушел, впус- тив в блиндаж струю сырого воздуха.

«Хорошо! — подумал Дементьев. — Посчастливилось попасть в самый центр событий».

Из-за дощатой перегородки слышен был звук пишущей машинки и молодой, но чрезвычайно назидательный голос: «Дефиле между высотками В. и Д. простреливается пулеметами...»

Майор Воловик кричал в телефон и в такт словам торжественно махал рукой, и Дементьев, замороженно глядя, как по дощатому потолку летает тень его руки, вдруг вспомнил: «Артиллерия — бог войны». Что-то чудесное было в этом большеруком, долговязом, с большим горбатым носом и ясными, яростными и добрыми глазами майоре Воловике.

— «Вихрь! Вихрь! Вихрь!» — кричал Воловик. — Ты слышишь меня, «Вихрь»? Письма будете слать по ново-

му адресу... Да, адрес скоро получите. Нет, марки те же, только приготовьте побольше...

«Марки, письма... Письмо сестры Шуры из Днепрпетровска... Нет, не нужно об этом сейчас — и марки совсем не марки, а снаряды, удары огнем и железом, — и скоро я тоже буду опять воевать. А сестра Шура и маленькие Сережка и Вовка, где они? Не нужно об этом думать, это боль... Маленькая церковка в темных елочках... Ничего, скоро я опять буду там, где надо...»

Он дремал и не знал, что командир и комиссар внимательно рассматривают его... Во сне на лице его проступила усталость, он выглядел очень юным, почти мальчиком, он казался хрупким, и было в выражении его лица то, что и командиру и комиссару напоминало о семьях, которые были в тылу, в Поволжье, там, где в мирное время стояли их части... Жена Язева разводила огороды и птицу, жена Кораблева учительствовала... Язев и Кораблев посмотрели на Дементьева, переглянулись, и Язев сказал ласково:

— Ну-ка, товарищ политрук, шагайте сюда. Что, разморил?

Дементьев не сразу отнес к себе эти слова. Но, очнувшись, понял, что, правда, вздремнул и во сне видел все то же, что происходило наяву, но как-то чудеснее. Он вскочил, обдергивая на себе потеплевший, но не вполне высохший ватник, оправил ремень, шагнул и очутился у стола. Едва его окликнули, как воинская строевая выправка выступила во всей его осанке, он сразу стал старше, мужественнее. Почему-то он сразу почувствовал, что командир и комиссар жалели его, как люди постарше жалеют молодых. Но это были начальники. Он, вытянувшись, стоял перед ними.

Что-то настороженное и гордое, оленье, было в его большеглазом, опушенном мягким волосом лице. Рот маленький, твердый, нос с горбинкой, крупно-кудрявые русые волосы. На левом плече, на ремне — автомат необычного вида, немецкий.

— Садитесь, товарищ политрук, — сказал командир, — рассказывайте о себе. Вы давно в армии?

— С тысяча девятьсот тридцать девятого, — ответил Дементьев. — Командир кивнул одобительно. — Остался на сверхсрочную и был командирован...

— В военных действиях участвовали? — перебил командир.

— Первый раз этим летом. Я кончил весной военно-политическую школу и получил назначение — принял роту. Наша дивизия в начале сентября пришла на Западный фронт, была в боях и... — он запнулся и покраснел: — попала в окружение.

— Покажите партбилет, — коротко приказал комиссар.

От торопливого волнения Дементьев завозился с пуговицей. Командир укоризненно покачал головой, точно не одобряя комиссара. Серые глаза командира казались добрыми, и Дементьев подумал о нем с благодарностью. Но против придирчивой настороженности комиссара тоже нельзя было возражать...

Комиссар посмотрел партбилет.

— Вот как! — одобрительно сказал он, возвращая партбилет Дементьеву. — Даже партийный взнос уплатил... В Москве приняли?

— Успел... — сказал Дементьев.

— Москва, Москва... — повторил командир. — А побриться не успел, — усмехнулся он, — или, может, ты нарочно, чтобы постарше выглядеть?

Дементьев улыбнулся, но ничего не ответил. Серые, внимательные и добрые глаза командира и темнозеленые озорноватые глаза комиссара оглядывали его, и Дементьеву вдруг захотелось сказать: «Меня Гришей зовут... Вот еще глупость какая лезет в голову», — рассердился он на себя.

— Много вас вышло? — спросил командир.

— Нет, мы с товарищем вдвоем.

— Как же вы от своих отбились? — требовательно спросил командир, недовольно сводя брови.

— Я не отбился... У нас был приказ: разойтись и выходить маленькими группками, — краснея, отвечал Дементьев.

— А сам-то тот, кто приказ дал, он вышел? — насмешливо спрашивал комиссар.

Дементьев пожал плечами и ничего не ответил.

Ведь и сам он, скитаясь по родной земле в этом проклятом окружении, сколько раз думал о том, что не надо было расходиться. Шли бы вместе, вместе бы и пробились...

— По всему судя, ты парень толковый и сам, видно, все понял,— жестко говорил комиссар.— Окружение — я тебе вот что скажу — вся наша семья дивизионная терпеть не может этого слова «окружение». Так приучены мы командиром нашим, полковником Городковым, Николаем Ильичем... Мы дважды в немецком тылу оказывались. Но разве фрицам удавалось нас окружать? Вот погляди на товарища полковника, Кораблева Алексея Дмитриевича, хорошенько погляди и запомни — когда немцы на некоторое время отделили наш полк от штаба дивизии, он использовал это и проутюжил их тылы...

— Погоди-ка, Саша,— хмурясь, перебил его командир.— Ты старые истории рассказываешь, а у нас тут что-то неладно...

— «Буря!.. Буря!.. Буря!..» — настойчиво звал связист, и майор Воловик озабоченно стоял около него.

— «Буря» молчит,— сказал связист, виновато моргая покрасневшими, воспаленными веками. — «Смерч» отозвался, «Вихрь» отозвался, а «Буря» молчит.

— Надо к «Буре» послать разведку,— сказал Воловик, обращаясь к командиру и комиссару стрелкового полка, которые выжидательно глядели на него...

— Что же, пошлем разведку,— сказал командир.

Но в этот момент в землянку вбежал младший лейтенант. У него были по-детски пухлые свекольно-багровые щеки.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору! — отчаянно крикнул он. И только полковник кивнул головой, как младший лейтенант, с усилием двигая бледнозолотистыми бровями, прокричал: — Товарищ майор, на вторую батарею напали фашистские автоматчики! Батарея отбивается прямой наводкой!

Свирепо выругавшись, Воловик сначала схватил из рук телефониста труку, но тут же отбросил ее и другой рукой схватил из угла коротенький автомат ППШ. Все это он проделал, не сходя с места, его длинные руки доставали повсюду. Он уже ринулся к выходу, но командир стрелкового полка удержал его за локоть и, привлекая к себе, сказал:

— Артиллерия, больше спокойствия. Слово имеет пехота. Холодок!

Старший лейтенант, чернобровый, всклокоченный и

кудрявый, выглянул из-за дощатой перегородки. Пишущая машинка прекратила стрекот...

— Закоморный принял новую роту?

— Принял, товарищ полковник,— ответил Холодок.—

Но в ней некомплект, я задержал отправку...

— Закоморный с ними?— хмурясь на многословие своего адъютанта, спросил полковник.

— Точно.

— Позвать сюда.

— Приказано позвать сюда.

Старший лейтенант исчез.

— Когда пехота рядом, артиллерия может спать спокойно...

— Уснешь тут чорта с два,— яростно сказал Воловик.

Холодок вернулся, следом за ним шел молодой командир, такой крупный, что сразу заполнил собой весь блиндаж. На его продолговатом лице, большом, чистом и ровно румяном, было открытое выражение силы и отваги, деятельной и угрожающей.

— Лейтенант Закоморный, нужно выручать артиллеристов, вторую батарею второго дивизиона. Вот младший лейтенант...

— Птушко,— подсказал тот младший лейтенант, который принес плохую весть об артиллеристах.

— Так вот младший лейтенант Птушко расскажет вам обстановку.

— Товарищ старший батальонный комиссар!— взволнованно начал Дементьев, но увидел, что комиссар сам хочет что-то сказать ему, и с выражением просьбы на лице замолчал.

Комиссар засмеялся.

— Значит, судьба,— сказал он, обращаясь к Закоморному.— Вот это будет политрук вашей роты. Вы об этом хотели просить меня, товарищ Дементьев?

— Об этом,— ответил Дементьев.

Дементьев с Закоморным вместе вышли из землянки

III

После керосинового чада и неравномерного жара железной печурки, после едкого багрово-дымного, неестественного освещения землянки, просторным и светло-пригожим было это ненастное осеннее утро, заполнен-

ное грохотом канонады. Выстрелы вспыхивали то ближе, то дальше, и порою слышалось, как, сотрясая воздух, проносится грозная тяжесть. Это — снаряд... Гул, накатывающийся волнами, громовые разрывы, следующие один за другим, торопливо нагоняя друг друга и порой сливаясь вместе, — казалось, что только это происходило в мире и все видимое точно оцепенело: пасмурные холмы, кое-где испещренные снегом перелески, бурые жнивья. Далеко впереди — ряды темных домиков, за ними высокие голые деревья... «Наверное, там парк был», — подумал Дементьев, как будто сейчас, когда там немцы, нельзя уже сказать, что там парк. А за деревьями и сквозь них совсем далеко видны кирпичные красные здания фабрики.

На востоке, в далеких оренбургских степях, комсомолец Гриша Дементьев (ему казалось, что давно, а это было всего пять лет назад) изучал историю партии, и с тех пор даже само название этой фабрики стало для него священо: это была одна из тех фабрик, где возникло богатырское движение русских рабочих, их мощь Гриша с гордостью ощущал в себе... И — прибыть к этому священному месту, чтобы знать: здесь фашисты. Но ведь то же и в Новгороде, там, где завязалась древняя Русь, и в Киеве, где она расцвела; немцы грязнят ту дорогую орловскую землю, где охотился Тургенев и вел драгоценные свои «Записки». В Ясной Поляне — немцы, и они там, где творил Пушкин... Пушкин! «Мы им покажем, что не случайно гений русского народа носил артиллерийскую фамилию!»

Дементьев стоял на пороге землянки, врытой в покаты́й склон оврага, и бойцы по боевой тревоге один за другим выбегали из нее, — глядя снаружи, никак нельзя было подумать, что она так поместительна.

Это были люди, которых он не знал, а сейчас не было у него на свете ближе этих людей, товарищей, с которыми вместе пойдет в бой. Кто они? Он готов был каждого любить, за каждого отдать свою жизнь, но кто они?

Хоть немного познакомиться бы до боя! Нет времени. Артиллеристы Стахеева отбиваются от немцев, решается судьба сражения... Дементьев оглядывал людей. Он заметил, что в составе роты немало пожилых, и сказал об этом Язеву, который к нему подошел.

— Это москвичи-добровольцы,— и мечтательность неожиданно появилась в трезво-насмешливом голосе Язева.

Мимо них проходил крупный пожилой человек. Он из-под каски оглядел их обоих ярко-кариими внимательными глазами и поздоровался.

Комиссар задержал его, ухватив за рукав.

— Вот гляди, политрук, это знаешь, какой товарищ... Это золотой товарищ, — с той же мечтательностью говорил комиссар. — Завод имени Латышева — слышал, конечно? С начала войны там только одни девушки остались. Ползавода пошло в ополчение. Оказались они в тылу у немцев, однако не сробели, дрались, напали на немецкий штаб, притащили трофеи. В твоей роте их три человека. Товарища Ивашина мы назначили помощником командира взвода. Присвоили звание старшего сержанта. Товарищ Ивашин воевал в гражданскую войну, он московский красногвардеец и старый коммунист...

— Почему старый? С ленинского призыва, — перебил Ивашин, недовольно двинув густо разросшимися черными бровями. Потом вдруг дружелюбно весело улыбнулся Дементьеву, приложил руку к каске и побежал вперед, обгоняя вереницу людей и стараясь твердо ступать по скользкой тропинке своими очень большими сапогами.

«Так вот что это за люди!» — подумал Дементьев. В их лицах он видел теперь сдерживаемое оживление, трепет, почти неуловимый, но выразительный. Все они были одеты однообразно: в шинелях и зеленых касках, но что-то вольное, волонтерское он видел в том, как держат они винтовки, в том, как шагают они...

Командир полка в шинели, накинутой на плечи, вышел из землянки, и сразу перед ним вытянулся размякшийся Закоморный. То оживление, которое Дементьев видел у всех, на лице Закоморного и в голосе его достигало даже какой-то торжественной праздничности, и командир полка своими внимательными глазами взглянул на Закоморного: «Не слишком ли ты веселишься, парень?»

— Разведку выслали? — спросил он Закоморного.

— Выслана, товарищ полковник.

Закоморный показывал на карте, командир полка

одобрительно кивал головой и доставал из порыжевше-го футляра бинокль. Неторопливая спорость движений его крупных пальцев вдруг как-то разом успокоила Дементьева... К тому же, на гимнастерке полковника заметил он беленький кружок медали «XX лет РККА». И то, что Дементьеву ранее казалось медлительностью, сейчас обернулось совсем по-другому. Это была обстоятельность человека, уверенного в своем деле. Как определенны все указания, которыми полковник перебивал Закоморного! Похоже, что он видел каждый поворот лесной тропинки, каждую лесную поляну.

— Первые два взвода поведу я сам, третий будет в резерве... — сказал Закоморный и обратился к Дементьеву: — Хорошо бы вам, товарищ политрук, находиться именно при третьем взводе...

— Нет, я не пойду в резерве, — вспыхнув, сказал Дементьев. — Мы вместе пойдем впереди.

Командир полка, отведя бинокль от глаз, удивленно взглянул на Дементьева.

— Э-э-э, — морщась и мотая головой, словно слыша неверную ноту, закричал Язев. — Не то говоришь, товарищ политрук. Спорить тут не о чем. Обязательно пойдешь позади и в случае, если кто будет отставать, вразумишь, объяснишь или заставишь. Понятно?

— Понятно, товарищ комиссар, — вздохнув, ответил Дементьев.

Они быстро шли по скользкой, обхоженной тропе вслед за вереницей бойцов. Из-за гула артиллерии выступила знакомая Дементьеву трескотня немецких автоматических ружей. Фашисты! Это была не та ненависть, которую называют «кипящей», «бурливой». Это была ненависть, ставшая привычкой, хладнокровная, обостряющая все душевные силы — внимание, наблюдательность, сообразительность, — ненависть, которая рождается в боях и для боев необходима...

— Нам с командирами и политработниками о храбрости разговаривать не приходится, — продолжал комиссар. — Чего там храбрость, — у нас Москва за спиной. — Язев взглянул на политрука и, поняв по его лицу, что о Москве говорить больше не нужно, сказал: — Сверх всякой храбрости мы от тебя требуем вот чего: мы дали тебе людей. Дали роту, которую ты ведешь в первый бой. Так сумей же своих людей сплотить, сплести

неразрывно, превратить в единый боевой организм. Создать роту. Понял задачу? — настойчиво спрашивал Язев.

— Понял, товарищ старший батальонный комиссар, — сдержанно сказал Дементьев. Как было не понять, почему Язев познакомил его со стариком Ивашиным и чему сейчас учил так настойчиво?

«Видно, не очень на меня надеется. Да ладно, я на деле докажу», — подумал Дементьев. Конечно, он не станет о себе рассказывать... хотя бы о том, как добыл он немецкий автомат, или о тех восемнадцати отметках, которые сделаны ножом на пояском ремне. За каждой отметкой — перечеркнутая жизнь фашиста. Но это — только для себя, для своей гордости... Может быть, для той, которая полюбит его. «Что за отметки на ремне у тебя?» — спросит она. И он расскажет. Будет тишина, будут цвести лиловые и белые, до кружения головы душистые и большие кавказские цветы... Рука ее будет на его плече...

— Слушай, товарищ политрук, а шинели-то у тебя нет?

— Не успел получить, товарищ старший батальонный комиссар.

И молодая мечта Дементьева исчезла, забылась: канонада, непрестанно колеблющая воздух, близкий треск перестрелки, люди, вереницей идущие по тропинке, — его рота, его люди.

— Когда обед нам привезут? — спросил Дементьев.

— Ах ты чорт, — сказал комиссар, нахмурясь, — правильный вопрос... Но можешь быть спокоен, пришлем на батарею. Ты молодец, что вспомнил. — И Язев крепко пожал ему руку. — Не горячись, без нужды не выскакивай. Помни: жизнь — последний козырь. Бросай его на этот стол, — Язев показал на широкие бурые поля вокруг, — тогда, когда видишь, что ценой этого козыря покупается действительно выигрыш. Будь достоин звания гвардейца, — сказал он мечтательно и непонятно и ушел.

«Гвардеец?» — удивился Дементьев. Он не совсем понимал, почему ему сказано это слово, но оно взволновало его.

Он видел, что первый взвод дошел уже до леса, который точно поглощал людей. Стрельба там участилась, и среди монотонно-злых, ненавистных немецких автома-

тов сильнее стали слышны коротенькие и четкие очереди наших автоматических винтовок.

Дементьев глядел вслед своей идущей вперед роте. И вдруг вид этих быстро удаляющихся спин, хлястиков шинелей пробудил у него чувство новой опасности: он ускорил шаг, обгоняя бойцов. Он спрашивал, где командир взвода, и, обгоняя его, вперед передавали по цепи: «Командира взвода к политруку».

Командир взвода, очень тоненький, высокий и несколько гнувшийся, как это бывает с людьми подобного сложения, поджидал Дементьева, и все его курносое и болезненное лицо улыбалось ласково и заинтересованно. Они поздоровались и назвались друг другу. Засыпкин Александр Ильич — звали командира взвода.

— Я поговорить с вами хочу, товарищ младший лейтенант, — сказал Дементьев. — Наши вошли уже в бой. Пошлите связного к командиру роты, — чтоб нашему взводу здесь остановиться и прикрывать тыл... Ведь могут танки выскочить!

— А я на это имею приказ командира роты и только собирався отдать команду, — ответил весело Засыпкин.

И Дементьев очень обрадовался тому, что его, Дементьева, мысль так совпала с приказанием командира роты. «Дружно работать будем...» — подумал он.

— Взвод, стой! — отрывисто скомандовал Засыпкин.

Он подал одну за другой и сколько команд, и бойцы стали окапываться, кто — опускиваясь на колени, кто — присев на корточки. Своими маленькими шанцевыми лопаточками тревожили они холодную спящую землю. Далеко и близко вокруг гудел бой, и это подгоняло людей, придавало их движениям лихорадочную поспешность.

Засыпкин не надолго ушел и снова вернулся.

— Вот, товарищ политрук, — сказал он возбужденно и весело, — на этой стороне оврага расположится наш взвод. К командиру роты я связного послал — он будет знать, где мы... Наши погонят немца, и он побежит этим оврагом. Я ставлю два наших пулемета, — мы всех их здесь уложим.

— Воздух, воздух! — протяжно крикнул кто-то.

И, подняв голову, Дементьев увидел проступающие сквозь низкий ненастный туман, на высоте не выше

пятисот метров, быстро летящие черные самолеты. Пулеметные очереди гулко рокотали оттуда.

— Огонь! Огонь по фацистским стервятникам!—крикнул Дементьев. Сразу же с земли затрещали выстрелы, и Дементьев обрадовался: залп получался дружный, первый залп, который дали его люди, его рота!

Самолеты промчались в сторону леса, и тут же, из-за леса, совсем близко с лопающим звуком ударили зенитки: одна, другая...

— Падают, падает! — оживленно, наперебой кричали по цепи.

Один самолет действительно накренился, взлетел как-то вкось и скрылся за деревьями. Другие самолеты вдруг исчезли. Их гудение, зудящее, как кровь в ушах при лихорадке, еще слышалось, но оно становилось все глуше: самолеты поднялись над низкой облачной пеленой и скрылись...

Зенитки продолжали стучать, и Дементьев видел, как люди его роты, то один, то другой, на несколько секунд переставали окапываться и вопросительно, весело и нетерпеливо взглядывали вверх: ждали, что упадет еще вражеский самолет. Наивность этих взглядов тревожила Дементьева.

— У меня приготовлены бутылки и противотанковые гранаты, — рассказывал Засыпкин. — Сержант Забалуев подобрал отделение истребителей танков — все комсомольцы. Забалуев — это мальчик-ежик, товарищ политрук.

— Значит, займись, а я пойду туда, — показал Дементьев в сторону леса, где перестрелка все усиливалась.

Он быстро шел вдоль по цепи. Люди молча взглядывали на него и продолжали торопливо окапываться. Не все делали это одинаково. Видно было, что некоторым лопата в новинку. Дементьев любил этих людей, которые так внимательно и по-разному — то строго, то весело, то вопросительно взглядывали на него. Он поговорил бы с каждым, но говорить было некогда.

Один коротенький человек совсем не умел окапываться. Он очень старался, но лопатка у него то и дело срывалась. И еще встревожило Дементьева то, что этот коротышка вздрагивал при каждом оружейном выстреле. А так как они раздавались все время, то получалось, что бедняга непрерывно дрожал всем телом.

В таком состоянии копать трудно, но воевать совсем нельзя.

— Как ваша фамилия? — спросил Дементьев.

Светлоголубые глаза страдальчески поднялись на него. Узнав политрука, коротышка торопливо вскочил.

— Новодережкин Василий Васильевич, — ответил он торопливо.

— Вы первый раз в строю? — спросил Дементьев, обдергивая складки шинели, сбившейся на животе Новодережкина. Из-за этих складок шинель сидела на нем, как юбка на неряшливой женщине.

— Да, товарищ политрук, — с готовностью ответил Новодережкин и тут же вздрогнул: близко раздался пушечный выстрел. Покраснев, он виновато-жалобно поглядел на Дементьева. У Новодережкина было мягкое лицо с толстым носом и маленьким подбородком.

Дементьев сказал:

— Когда я первый раз пошел в бой, мне казалось, что весь грохот направлен прямо на меня...

— Вы думаете, я боюсь? — покраснев до того, что слезы застлали его голубые глаза, спросил Новодережкин, самолюбиво оглядываясь: оказывается, к их разговору прислушивались соседи. — Я пошел добровольцем.

— Дело не в том, Василий Васильевич, боитесь ли вы или нет, — сказал Дементьев успокоительно, — все дело в том, чтобы не побежать в первом бою. А потом героем станете.

— Вы, товарищ политрук, умница, — горячо перебил его Новодережкин, — то есть, вы простите, что я так с вами обращаюсь, но я действительно штатский человек... Ух, как она грохнула! — сказал он, вздрогнув и коротко отмахнувшись своей круглой багрово-красной рукой. — Конечно, вы угадали: я боюсь, но разве могу я побежать! Я? Коммунист?.. Ух, как опять ударила!

— Да это наша пушка — ударила, — засмеялся Дементьев.

— «Грамматика боя, язык батарей...» — сказал поэт, — сокрушенно бормотнул Новодережкин. — В отношении войны я неграмотный и с этой грамматикой незнаком...

— Ничего, обтерпешься! — сказал вдруг сосед Новодережкина, молодой, со впалыми щеками и светлыми упрямыми глазами. Голос его, как это бывает после

долгого молчания, прозвучал хрипло, но, может, поэтому товарищеское участие так выразительно слышалось в этом голосе.

Дементьеву было приятно, что к Новодережкину хорошо относятся; так стал ему вдруг близок этот смешной коротенький человечек.

— Вы военное обучение проходили? — заботливо спросил Дементьев.

Новодережкин испытующе взглянул на него и промолчал.

— Не совсем, — сказал он, снижая голос.

— Как же вы сюда попали?

Новодережкин еще подумал и сказал кряхтящим шопотом:

— Я сам написал удостоверение от месткома училища, где преподаю, — он быстро взглянул в нахмурившееся лицо Дементьева и с отчаянием развел руками.

— Да ладно, пройте пока, — сказал Дементьев.

— Имейте в виду, товарищ политрук, я обратно не поеду! — крикнул вдруг Новодережкин. Очевидно, увидев, что Дементьев неодобрительно хмурится, Новодережкин прервал сам себя: — Эх, зачем я вам рассказал, вот характер дурацкий! — Он горестно махнул рукой и стал рыть землю свирепо и бестолково.

Худошавый сосед сочувственно поглядел на него.

Поведение Новодережкина, его манера держаться в корне противоречили не только уставу, но и тому обычаю военной службы, который за годы пребывания в армии стал привычен и мил Дементьеву. Этого чудака уже следовало посадить на гауптвахту за неумение разговаривать с начальником, а может быть, отдать под суд Военного трибунала за подделку документа. Но в то же время о нем хотелось заботиться. Конечно, он вздрагивал при каждом выстреле — и все-таки пошел на фронт в самые тяжелые дни. Ну, а как же быть с документом, который он сам написал? «Ладно, после разберусь», — сказал себе Дементьев. Но, вместо того чтобы продолжать свой путь в сторону леса, он вернулся обратно к Засыпкину, который о чем-то оживленно беседовал со скуластым старшим сержантом. В щетинке, скудно пробивавшейся на щеках и подбородке старшего сержанта, проступала проседь, но глаза были молодые и веселые.

— Касымов Касым, — с едва заметным твердым татарским акцентом сказал он.

— Вот какое дело, друзья. У нас кое-кто окапывается плохо, — почему-то смущаясь, говорил Дементьев. — Особенно один товарищ.

— Новодережкин? — насмешливо-ласково спросил Касымов. — Чудачок! Он ночью советовался со мной...

Касымов круто остановился, и Дементьев сразу понял, о чем у них ночью шла речь: конечно, об истории с документом.

— Иди, товарищ политрук, спокойно. Меня вчера старшиной роты назначили, так я уж возьму над ним шефствд, — сказал Касымов.

Дементьев быстро пошел в сторону леса. «В роте, наверно, есть замечательные люди, примерные бойцы, может быть, и герои. Они станут заметны в бою, сейчас каждый из них делает свое дело. Но как пройти мимо такого чудака, который даже окапываться не умеет?..» Из лесу одна за другой с вкрадчивым свистом пролетели пули, и Дементьев сразу забыл о Новодережкине.

Сначала он шел пригнувшись, но это мешало двигаться быстро; к тому же пули летели над самой землей, — пригнувшись, он легче мог получить тяжелую рану. Он выпрямился и во всю силу своих резвых ног побежал по осеннему, побуревшему жнивью.

Он добежал до леса и, вдруг услышав совсем близко немецкую команду, упал в кустарник. Вот они. И не в зеленых шинелях, как он ожидал, а в черных куртках (эсэсовцы! фашисты!). Они мелькали между деревьев, то показываясь, то исчезая.

— Цурюк, цурюк, швайнхунде! ¹ — кричал коренастый немец.

Он крутился на месте, угрожающе поводя вокруг себя автоматом, и Дементьев близко видел его густые черные брови и одутловатое лицо. Он подпрыгивал на коротких ногах, обутом в наши («наши!») сапоги. Как сквозь неизмеримо далекое и чуждое пространство, доносились немецкие слова, которые Дементьев понимал — он знал язык. Как грязно ругал своих солдат этот коренастый, весь точно налитый злой силой, подпрыгивающий на месте офицерский чин: «Висельни-

¹ Цурюк — назад. Швайнхунде — свинячьи псы.

ки! Приплод обезьяны!» Он угрожал пристрелить каждого, кто отступит хоть на шаг. И тут же, не переводя дыхания, слащаво и слезливо замяукал об отечестве и возлюбленных, оставленных дома.

Темные русские ели стояли спокойные, строгие...

Офицер добился своего. Черные куртки нехотя стали возвращаться в глубь леса. Треск немецких автоматов уплотнился.

— Обер-ефрейтор Шпигельбаух! Ко мне! — крикнул офицер.

Шупленький, с рыжими бачками, франтоватый молодчик подскочил к офицеру. Вытянувшись, он пучил на него свои белесые глаза.

— На мне ничего не нарисовано, мальчик! — со смешком сказал офицер, дружески ударяя обер-ефрейтора по руке, поднесенной к козырьку, и опуская ее. — Смотрите-ка сюда! — Он показал обер-ефрейтору что-то, чего Дементьев не видел и что, очевидно, было картой. — Возьмите всех своих и еще отделение бедняги Вальтера. Пройдите-ка вот сюда и сюда. Так вы подойдете к их батарее. Внезапно... К этой чортовой батарее, и мы заткнем ее проклятую глотку! Откуда у этих свиней столько драчливости! — воскликнул он, и, как трещина в металле, трещина, очень тонкая и несомненная, в этом восклицании звучал страх.

«Силу, всю нашу силу — на их силу...» — бессвязно думал Гриша, крепко сжимая свой взведенный автомат. Вот одна из тех случайностей, которые стали особенностью этой страшной войны — нужно сейчас же воспользоваться этой случайностью! В руках его — немецкий автомат — тоже преимущество! Только дождаться момента! И Гриша лежал, весь прильнув к влажно-холодной земле.

Шупленький обер-ефрейтор Шпигельбаух, прихрамывая, пробежал туда, где между деревьев чернели куртки эсэсовцев.

Наведя свой автомат на просвет между деревьями, в котором должна была показаться вся группа Шпигельбауха, Дементьев ждал. Вот они: первый немец, второй, еще два... Дементьев нажал курок. Мерный и злой токот его автомата влился в общий ровный гул немецкой стрельбы. Поводя этим вздрагивающим, послушным, точно превратившимся в часть его суще-

ства, оружием, Гриша продолжал свой грозный счет, но скоро сбился. Одни немцы падали, другие бегали, кричали блеющими голосами, махали руками. Они не понимали, кто и откуда бьет по ним... Ведя стрельбу, Гриша продолжал следить за главным врагом—за офицером, который был обозлен, удивлен, но отнюдь не растерян.

Он оглядывался, и вдруг Гриша встретил взгляд этих враждебных, ненавистных глаз. Офицер рванулся, но Гриша уже держал его под прицелом. Три быстрых выстрела,—рявкнув и в последний раз подпрыгнув, офицер упал. Гриша быстро подполз к нему. Всхлипы, захлебывания, судорожные движения рук и ног, еще крепких, но уже освободившихся от власти погасающего мозга... Вырвав пистолет из руки офицера, еще горячий, Дементьев вскочил, пробежал несколько шагов в сторону цепи черных курток. На глаза ему попался хороший бугорок с камнем, выступавшим из-под земли. Он лег за камень и стал укладываться, обминаться, чтобы удобнее было снова открыть огонь по черным курткам.

На него вдруг упала шишка... вторая, третья. Нет, они не падали, кто-то швырялся ими. Дементьев оглянулся. Из-за близкого дерева улыбался ему какой-то свой, в шинели и каске. Мгновение—и этот парень ужом прополз к Грише между пней и кустов.

— Я с дерева на дерево скажал, разведку вел, товарищ политрук,—шептал он торопливо.—Вдруг вижу: кто-то по ним из их же автомата чешет... Откуда такое? Ну, и поглядел я на вашу чистую работу... Гарнесенько,—добавил он по-украински, хотя, судя поговору, был русский, и уполз, пропал между деревьями.

Это мгновенное свидание, эти родные слова среди беспорядочного и чужого немецкого гама,—все это было неожиданным отдыхом. Вздохнув облегченно и успокоенно, Гриша прилачился стрелять. Вдруг совсем близко, откуда-то сбоку, откуда он совсем не ожидал, поднялась волна победоносного русского «ура», и тут же все стало происходить очень быстро. Немцы, продолжая отстреливаться, отходили в ту сторону, где залег Гриша. Подпустив их на расстояние, наиболее выгодное, он опять открыл прицельный огонь по этим черным курткам.

— Нате, получите,— мстительно и блаженно шептал Гриша, быстро меняя обойму автомата,— за то, что скитался по лесам; за то, что обходил горящие, стонущие, воюющие деревни; за то, что унижительно переползал через дороги, свои, советские шоссе́йные дороги, захваченные вами,— за все, что вы свершили и еще свершите на нашей земле, нате, получите...

Среди деревьев вдруг появились родные серые шинели, раскрасневшиеся, с открытыми ртами, грозные лица.

Один из бойцов, округлый в груди и широкоплечий, пробежал мимо Гриши. Только на секунду сверкнули из-под каски его серые выкаченные глаза, нос был наморщен, белые зубы оскалены... Этот богатырь страшным и точным движением выбросил вперед свой штык... Приостановившись на секунду и ловко выдернув штык из стонущего, теряющего себя тела, он опять кинулся преследовать.

Вот немец упал на колени, отбросил автомат и поднял руки. Богатырь пробежал мимо и пощадил сдающегося врага, но тот тут же схватил автомат и нацелил его вслед тому, кто оставил ему жизнь. Подбежал Дементьев и разнес немцу череп тяжелым прикладом.

— Здорово ты его, товарищ политрук!

Дементьев увидел Закоморного. «Ура» продолжало греметь по лесу, и как бы из этой победоносной волны возник Закоморный. В руках его была самозарядка; ее штык, светлый и плоский, был окрашен кровью, смешавшейся с водой.

— От батареи уже отогнали,— рассказывал Закоморный.— Теперь гнать, не давать зацепиться. Пройди, политрук, по лесу, собери раненых, погляди, не отстал ли кто из наших, и всех посылай вперед,— он указал в ту сторону, где лес редел, куда уходила схватка, и размашистым бегом кинулся туда.

Дементьев оглянулся, нашел взглядом застреленного им офицера и подошел к нему: надо обыскать. Взяв тяжесть этого тела, которое совсем недавно прыгало, налитое бешеной силой, поразила Дементьева. Документы? Гриша просмотрел их тут же: приказы, карты — это важно! На глянцеви́то чистых фото-открытках запечатлено обычное немецкое похабство — изодрать! Гриша успокоился. Переводя дыхание и вытирая пот с

лица, он мысленно перебирал все, что произошло. Сегодня ему повезло: раньше он убивал немцев по одному, а тут сразу столько, что счет потерял. «Наверно, наградят...» — подумал он вдруг, но тут же отогнал эту мысль — очень хотелось, чтоб наградили, но думать об этом было нехорошо. «А ведь успех потому, что внезапно. Надо это запомнить и бойцам рассказать. И всем не нужно было действовать прикладом, — думал он, переходя к тому немцу, которому он разнес череп. — Ведь опоздай я тогда на секунду, и убили бы нашего богатыря. Вот досада — никого по фамилии не знаю. У меня ведь в руках был автомат, можно было пристрелить». Но бить прикладом было приятней, разряжалась ненависть.

Вдруг все в мире содрогнулось. Это близко прогрехотало оружие. И Гриша, точно его позвал кто-то, пошел в ту сторону, откуда слышен был этот грохот. Он увидел длинный, несколько необычно приподнятый кверху ствол орудия; все тело орудия было скрыто разлапистыми ветвями ели, под которой оно стояло. Видно было, что здесь совсем недавно шла жестокая схватка. Люди лежали вповалку, некоторые еще шевелились и стонали. Но появились женщины, которые казались маленькими в больших мешковатых шинелях. Женщины раздвигали эти нагромождения тел, и то ли, чтобы дать о себе знать, то ли потому, что женщины, раздвигая мертвых, задевали раны живых, но стоны и жалобные проклятия усиливались. Женщины осторожно помогали вставать, они ободряли, они говорили те ласковые, бессмысленно-нежные слова, которые сказали бы впервые своим возлюбленным или детям... С тенью смерти на осунувшихся лицах, в шинелях, заляпанных шмотьями запекшейся крови, подымались раненые, и их уводили или уносили на носилках...

Но тут же рядом слышен был веселый смех... Смеялись артиллеристы. Их лица были задымлены, у одного голова перевязана и сквозь марлю розовела кровь, но по всему лесу раздавался этот веселый, ничего не признающий хохот, сверкали молодые зубы, точно не было рядом мертвых и раненых, точно беспорядочная стрельба и выкрики не доносились оттуда, куда ушла схватка.

А лес стоял спокойный, важный, и над ним плыло низкое белесое небо. День природы шел сам по себе,

как всегда, равнодушный к тому, что происходит у людей.

С досадой мотнув головой, отгоняя от себя эти, сейчас совсем не нужные, мысли, Дементьев пошел к де-вушкам-санитаркам, чтобы узнать о раненых своей роты. «Воздух, воздух!» — закричали опять. Земля взре-вела и дрогнула, упали бомбы. Дементьев увидел, что некоторые бойцы его роты, залегшие по краю лощины, в которой скрылись немцы, совсем прекратили стрельбу, другие то вскакивали, то опять падали на землю и жа-лись к ней, третьи беспорядочно метались, прячась в кустарниках, а один, очень рослый парень, отбросил винтовку. Дементьев кинулся к нему. Немцы, уже за-гнанные в лощину, ободрились, треск их автоматов стал жесточеннее.

Но среди рева и сотрясения взрывов попрежнему бы-ли слышны легкие лопающиеся выстрелы зениток.

— Сейчас же подними винтовку! — угрожающе ска-зал Дементьев.

Он видел, что за этим разговором следят другие бой-цы, он знал, что заставить этого парня поднять винтов-ку очень важно сейчас, сию минуту, — важно для роты...

Парень жалобно оглянулся и с таким усилием, точно руки и ноги у него стали ватные, нагнулся и поднял винтовку.

Обстрел лощинки, занятой немцами, возобновился, и тут же два орудия, ближнее и дальнее, почти одновре-менно дали еще по выстрелу в направлении вражеских окопов.

И Дементьев вдруг подумал, что ведь это капитан Стахеев (как давно было сегодняшнее утро!) откуда-то направляет сокрушительные силы своей артиллерии. Зе-нитчики только что оборонили работу артиллеристов, а эта, только народившаяся, рота отогнала фашистских автоматчиков от орудий, которые пробивают немецкую оборону, чтобы пехоте легче было овладеть городом. И на мгновение все происходящее — стоны, крики, ра-ны, кровь, смерть и эти все сотрясающие, разнообразно страшные гулы и грохоты — все слилось в одно, пре-красное и величественное, отчего сердцу в груди сде-лалось вдруг тесно. «Мы боремся, мы дружно боремся, и мы победим!» — так можно было бы выразить это чувство, слишком сильное для любых слов.

Командир орудия, рослый скуластый младший лейтенант, который выделялся своей особенно подчеркнутой воинской выдержкой и спокойным и ласковым благообразием, проводил Дементьева в тесную землянку. Там у коптилки сидел связист.

— Я — «Буря»... Я — «Буря». Это «Елка»? «Елка»! Слушайте, «Елка», — певуче и монотонно, точно заклинание, выговаривал он. — Капэ вашего полка слушает, — сказал он, подняв на Дементьева усталое бледное мальчишеское лицо с мазком глины на щеке. — Вам кто нужен? — спросил он Дементьева, который взял уже трубку. — Если нужен командир, спросите директора, если нужен комиссар, спросите главного садовника. — Он со вздохом облегчения передал трубку политруку, опустился на земляные, покрытые соломой, нары и тут же уснул.

Дементьев узнал голос адъютанта — Петруши Холодка и сразу перенесся в уютную землянку, где на столе расстелена карта.

— Ни директора, ни главного садовника нет. Кто говорит? — неприветливо отвечал Петруша.

— Я новый, я был у вас в конторе, — волнуясь, говорил Дементьев. — Мне дано было поручение.

— Не понимаю, — сухо ответил Петруша.

— И не понимайте, — рассердился Дементьев, — только передайте директору или главному садовнику: во-первых, поручение ваше мы выполнили, во-вторых, мне необходимо переслать вам кое-какие бумаги, а, в-третьих, самое главное, обед.

— Обед отправлен, но в объезд, — совсем другим, добрым голосом сказал Петруша. — Теперь я вас вспомнил: вы новый садовник на участке.

— Точно! — развеселившись, сказал Дементьев.

Растолкав связиста, который спал, как мертвый, Дементьев выскочил из землянки. Ему нравилось, что комиссар — главный садовник, а он — один из многих садовников этого боевого, грохочущего хозяйства. Улыбаясь и сам с собой говоря, Дементьев быстро шел к расположению первого и второго взводов, где продолжалась перестрелка с немцами, загнанными в ложбинку. Третьего взвода, вместе с которым он шел с утра, отсюда не было видно, но с той стороны то и дело слышались короткие, в два-три выстрела, очереди пулемет-

та. Выход из ложбины для немцев был закрыт. Они то отвечали вяло, то вдруг, точно взбесившись, открывали сильный огонь, вели его несколько минут и опять за-тихали. Батарея Стахеева продолжала свою размеренно грохочущую работу. После каждого выстрела видны были взлетающие к небу столбы земли; да, то, о чем говорили в землянке на КП полка, упрямо осуществлялось.

Вдруг все исчезло для Дементьева. Ничего не юстало от его разгоряченного благодушия. В мире было только одно: слева, из-за холма, ломая изгороди, по грядкам огородов быстро выползали огромные черные жуки,—точно вчера это было, когда они так же внезапно обнаружили в тылу их полка, и с этого началось окружение.

«Немецкие танки! Нет, сейчас непременно выдержать! Погибнуть, но чтоб выдержали люди, выдержала рота». Подбежал Касымов.

— Танки, товарищ политрук... танки,—задыхаясь, говорил он. Видно, танки ему были в новинку.

— Противотанковое отделение выделено? — размеренно-холодно, стараясь не выдать биения своего сердца, спросил Дементьев, и Касымов смутился.

— Выделено, товарищ политрук,—быстро сказал он.— И позицию уже заняли. Зарылись. Взвод держится молодцом.

«Как же, молодцом! Сам-то в панике прибежал», — подумал Дементьев, но вслух сказал:

— Нужно немедленно уничтожить немцев, которые сидят в ложбине, пока к ним на помощь не прорвались танки.

— Будет исполнено, товарищ политрук.

Дементьев опять бежал через жнивье. Из танков его заметили. Под пулеметными очередями врагов Дементьев ложился, вскакивал и снова бежал: то, что сейчас происходило, грозило участи всего сражения.

Он добежал до расположения третьего взвода и обрадовался: здесь все было в большем порядке, чем он ожидал. В этих окопчиках, только что отрытых, можно было лежать, и они были даже замаскированы дерном. Мелькнуло лицо Новодережкина, жалобное и заинтересованное. «Не до тебя», — подумал Дементьев. Засыпкин издали отчаянно махал Дементьеву и кричал:

— Ложись, ложись!

— Зачем, товарищ политрук, жизнью рискуешь? — укоризненно сказал Засыпкин, когда Дементьев добежал до него и лег рядом с ним. — К чему торопиться так? У нас здесь порядочек, как на Красной площади седьмого ноября.

Он старался говорить спокойно, даже весело и шутиливо, но струйка крови стекала у него с уголка рта. Он сам не замечал, что до крови прикусил губу.

Откуда-то торопливо, точно захлебываясь злым грохотом, били немецкие пушки, и снаряды с визгом один за другим пролетали над цепью, тяжело и глухо шмякались в мокрую землю сжатого поля. Одновременно с танков сыпали пулеметными очередями. В цепи то и дело раздавались стоны, ругательства. Вот кто-то ахнул, вскочил и упал, кто-то жалобно крикнул: «Ай-ай-ай... Шмырева заберите, ранен! Петрункевич убит».

— Товарищи! Москва! — звонко крикнул Дементьев, — Москва! Оборонить... За нами Москва...

Он кричал, ни о чем не помня. (Среди грохота боя вряд ли было слышно, о чем он кричал.) Но все видели его лицо и все поняли слово «Москва». Кто-то схватил его за руку и с силой потянул вниз. Это был Ивашин.

Один из танков задымился, подпрыгнул и быстро окутался дымом.

— На мину налетел...

Танки замешкались и стали стороной обходить минное поле. Позади цепи появилась какая-то наша противотанковая батарея. За короткое время подбила она два танка: один стоял неподвижно и горел, другой, как изуродованное насекомое, крутился на месте.

Но передние четыре танка все же спускались по ложному краю лощины, с минуты на минуту должна была вступить в действие цепь истребителей танков. Дементьев вглядывался и никак не мог разглядеть истребителей, хотя они находились не более чем в двадцати шагах от цепи. Танки уже перебирались на эту сторону лощины.

Дементьев отчетливо понимал этот план противника: прорваться и выручить своих автоматчиков, которые сидят в лощине, поднять их и — снова напасть на батарею... смять эти батареи и прекратить их губительный огонь.

Наступил момент, когда истребители должны войти в общий ход сражения и решить его.

— Я перейду к ним, — сказал Дементьев. Схватив связку противотанковых гранат и вплотную припадая к земле, он пополз по-пластунски, перебрасываясь с руки на руку и помогая себе ногами, прижатыми к земле.

Изредка для ориентировки он поднимал голову, но никак не мог сосчитать, сколько всего танков участвует в нападении. Досчитывал до пятнадцати и сбивался... Во всяком случае, не больше двадцати, и три уже выведены из строя. Передние пять были совсем близко. А еще ближе, в нескольких шагах от себя, Дементьев вдруг увидел возвышающиеся над землей зеленые каски. Это были истребители. Они сидели в ямках, вырытых попарно.

Дементьев свистнул. К нему обернулось несколько молодых лиц. Только в детстве, во время мальчишеских игр, видел он такие лица, страстно серьезные и увлеченные. Один, с татарскими черными, длинно прорезанными глазами, озорно улыбнулся Дементьеву, вскочил и одним прыжком переметнулся прямо к переднему танку. Раздался оглушительный взрыв, передняя часть танка поднялась и перекосилась. «Погиб вместе с танком», — подумал Дементьев о черноглазом. Но раздался второй взрыв, та же мальчишеская фигура, освещенная пламенем, снова поднялась и тут же ушла под землю. Был подбит еще танк.

Мир состоял из грохота и серо-розового удушливого дыма. Три танка были уже подбиты... Фашистские танкисты, полуодетые, выскакивали — одни с голыми плечами и руками, другие в нижних рубашках. У некоторых в руках были автоматы. Дементьев пристрелил двоих. Он не верил своим глазам, но это было так: фашисты выскочили из четвертого танка, хотя гусеница его быстро вертелась, видимо, на холостом ходу — танк стоял на месте... «Да, да, они нас боятся», — с восторгом подумал Гриша, утверждаясь в мысли, которая не раз волновала его в течение этого дня, длящегося и длящегося, точно целая жизнь.

У него уже горячо и мокро было на боку, и он знал, — почему, но старался не думать об этом, чтобы не отвлекаться от своей мучительной и счастливой жизни. Его наблюдательность, его сообразительность обостри-

лись, и, стреляя по танкистам, он одновременно видел все, что происходило вокруг, и первый заметил, что еще шесть вражеских танков появилось сбоку. Рядом с собой Гриша видел сейчас только четырех истребителей. Среди них был и тот первый смельчак с татарскими глазами. На его петлицах были два треугольника.

— Как зовут тебя? — спросил Дементьев, внимательно, чтобы навеки запомнить, вглядываясь в это молодое румяно-смуглое лицо, отмеченное опасным, недавно зарубцевавшимся, но еще багровым шрамом. Шрам пересекал щеку и уходил под воротник.

— Аркадий Забалуев, товарищ политрук. А тебя как звать?

— Григорий Дементьев...

— Владлен Косовский.

— Александр Гудзь.

— Дмитрий Фетисов.

Сбившись между черных бревен какого-то разрушенного строения, они наперебой, торопливо называли себя. Это были только имена, но каждому казалось, что они говорят друг другу и узнают друг о друге все, что можно сказать словами.

Аркадий Забалуев держал в руках бутылку и зорко вглядывался. Танки приближались...

— Начинай, друзья! — крикнул Забалуев, метнул бутылку, и опять все застлало дымом и чадом...

На какие-то мгновенья Дементьев вдруг забывался, ему казалось, что происходит чудовищная игра в городки. Розовая от заката пыль, поднимающаяся по улице станицы... пыль, жаркая, обжигающая... пыль вместе с дымом и удушливой тракторной вонью... Синее небо и слепящее солнце, беспредельные хлеба, урожай...

— Бей, ребята!

— Бей фашистов!

Еще три танка горели, и еще шесть немецких танкистов пристрелил Дементьев. Но неожиданно тяжелый удар по голове свалил его с ног... «Я живой», — думал Гриша и отползал, но танк надвигался на него, и Гриша близко видел шершаво-жаркую броню, чужие рога-тые цифры и буквы... От танка веяло жаром и смертью. Вдруг раздался грохот, танк дрогнул и накренился набок... «Мы бьем их», — подумал Дементьев и перестал ползти... — Мы бьем их, и, значит, все хорошо».

К вечеру пошел обильный и холодный дождь. Роту отвели с места боя. Прошлая ночь была белая от падающего снега. Но за день снег истаял, и ночь наступала непротлядная, черная... Люди шли молча. Порой вспыхивали тусклые багровые всполохи, слышен был гул... Что это? Даже Николай Федорович Моторин, который все знал, не пытался объяснить, что это могло значить. Шмякает грязь под ногами, дождь стучит по надетому на голову капюшону плащ-палатки, устали руки и ноги, устали плечи и сердце, но, как огонь свечи, колеблемый в темноте, живет в душе блаженное сознание: я жив. И тут же, вздрогнув, оглядываешься на товарищей, радуешься каждому, кто так же, как ты, молча шагает рядом. Но убит печник Горбыль. Перебегали вместе, вдруг печник упал. Николай Федорович кинулся к нему. «Домой... напиши...» — успел сказать печник. И придется Николаю Федоровичу писать скорбное письмо в Москву, во Всехсвятское, в маленький домик о том, что на руках его умер Горбыль, — знаменитый печник, которого старалась отбить одна строительная артель у другой.

— Эх, печник, плохи твои дела, техника тебя задумит: паровое центральное отопление, газовые плиты и электроприборы, — смеялся Николай Федорович.

— А что ж... — уступчиво отвечал печник. — Я сам подарил своей мамане электрические вещи: чайник и грелку. Но старой печке еще рано в отставку уходить — Москва ширится, на новом месте ставим временные бараки для нашего брата строителя. Пар вы туда сразу не проведете, вот и надо звать Горбыля, чтоб печку скласть.

Добрый, тихий, ласковый, уступчивый человек Горбыль, но была в нем эта гордость своим трудом, гордость, без которой человек — не человек. «В артели плотников много, печник один! — говорил он. — Как печник печку складет, так и жизнь в доме ладится: печка дымит, — муж на жену сердится, у детей глазки болят».

Еще жива была мать печника, шесть у него дочерей, красавицы, певуньи, — плач будет по всему Всехсвятскому.

Дождь струится, шмякает грязь под ногами. Рота вступила в лес, стало еще темнее.

— Где политрук? Кто видал политрука? — спросил вдруг громкий голос.

Моторин оглянулся и, хотя было очень темно, признал командира роты по его особенным, полным сдержанной силы, крутым и мягким движениям. Во время боя командир появился в их отделении в самый страшный момент, когда они, попав под огонь двух пулеметов, растерялись и стали ложиться и прятаться. Хуже всего, что командира отделения, молоденького сержанта, не было с ними: его через связного вызвал к себе раненый командир взвода. Сейчас, когда все спокойно, Николай Федорович отлично понимал, какая это была глупость ложиться под огнем, вместо того чтоб продолжать двигаться до соприкосновения с противником. Но он понимал это сейчас, тогда же, в бою, без своего рыженького сержанта, который был младше их всех и который только час назад принял их отделение, они почувствовали себя, как малые дети без отца. Стыдно вспомнить, но ведь и сам Николай Федорович спрятался в кустарник, хотя что для пули кустарник? Не растерялся только один человек — мариец Нолдин. «Вперед, товарищи! Здесь всех перестреляют... Вставай!»

Тут Николай Федорович первым пришел в себя, выскочил из кустарника и стал кричать: «Вставай! Вперед!» И он гордился, видя, что люди слушаются его: что значит голос старого солдата! Но тут увидел он командира, который подбежал к ним узнать, почему они остановились. Отделение двинулось вперед под командованием Нолдина, которого командир роты назначил командиром отделения. Что ж, это справедливо, ведь Нолдин один не растерялся. Вот и сейчас командир роты подошел к нему и идет рядом с ним. Вот и пулеметчик Рекстынь, он несет на плече свой «ДП».

— Нашли? — спросил Рекстынь.

— Нет, — с досадой и горем ответил командир.

Говорили о политруке. Моторин ни разу не видал его, но слух о нем прошел уже по всей роте, и так же, как о друге своем Горбыле, жалел сейчас Моторин об этом молоденьком политруке — в первом же бою потерять такого человека!

В первом и втором взводе никто не мог сказать, где политрук, но когда Закоморный и Рекстынь поровнялись с третьим взводом, люди наперебой стали расска-

зывать о Дементьеве — все видели его вместе с истребителями танков. Но что с ним стало потом? Дементьев мог быть ранен и попасть в плен, мог быть раздавлен немецким танком. Но Закоморный не разрешал себе так думать, — Дементьев должен быть жив. Единственно, на что соглашался он, это на то, что Дементьев ранен. И он спросил у командира взвода Засыпкина:

— Кто из твоего взвода хорошо знает в лицо нашего политука?

Тот назвал Новодережкина, и маленькая фигура возникла из темноты. Рекстынь осветил фонарем курносое лицо Новодережкина под капюшоном. Оно внушало доверие. И Закоморный послал Новодережкина обойти санитарные пункты и посты, на которые приносят раненых с поля боя, и поискать там политука.

Рота уже пришла на место. Попрежнему было темно и шел дождь, но отовсюду слышались громкие голоса, распорядительная команда. Торопливо обгоняя друг друга, ударяли топоры, с треском и шелестом валились деревья... Рота строила шалаши.

Еще до отдыха долго. Надо построить эти шалаши и только потом развести осторожный, — чтоб немец с воздуха не заметил, — огонь. Но люди повеселели. Слышно было, как покрикивает прибодрившийся Николай Федорович. Уж он-то знал, как строить шалаши!

Для этого совсем не надо было бестолково валить дерево на дерево. Нужно сначала поставить клеть, остоу будущего шалаша, стены сплести из гибких ветвей, потом класть потолок из хвои: вода по хвое стечет, как по крыше.

Нолдина вызвали в канцелярию роты. Он оставил вместо себя Моторина, чем Николай Федорович был очень польщен, и пошел в сторону лесной сторожки, где находилась канцелярия роты, ногой угадывая среди травы и хвои залитую водой тропку. Что-то далекое — прошлое, мирное напоминало Нолдину все это: черные сосны, выше их бледное небо и вода, струящаяся под подошвами сапог... Да, шесть лет назад каждый вечер ходил он к своей Вале — она дочь лесного объездчика. Он круто оборвал себя: в госпитале получил от Вали письмо — трудно с двумя ребятами, да ждет третьего. Об этом лучше не думать, в сельсовет написал, а думай ей не поможешь.

Третий раз Нолдин на фронте. То все не везло: как прибудет, так в первом бою ранят. Теперь — хорошо, бой кончился, он вышел из него невредим, сразу отличился. Произошло это непонятно просто. Кругом стреляли, а он отогнал от себя мысль, что его могут убить, — он думал только о товарищах, о своем отделении, но ведь послушали не его, Нолдина, и, конечно, не Моторина, хотя тот кричал зычно: людей привело в себя появление командира роты. Но командир роты пожал Нолдину руку, сказал:

— Молодец! Соображаешь! Прими отделение, веди людей!

Тогда говорить было некогда, но на всю жизнь запомнит Нолдин эти слова и разгоряченное молодое и самозабвенное лицо командира.

И вот сразу после боя командир роты вызвал его к себе — не забыл.

В сторожке было тесно, дымно, пахло махоркой и щами. Нолдин доложил командир, тот велел ему обождать. Командир был грустен и озабочен. Он разговаривал с каким-то бойцом, широкоплечим, могучего сложения. Его приятное, с крупными, на выкате, серыми глазами, лицо было все в капельках дождя или пота. Ватник — мокр и грязен.

— Нема, товарищ лейтенант, — произнес боец с мягким украинским выговором. — Лазил, лазил, каждого мертвяка перевернул, каждому в лицо поглядел, вон сколько оружия притащил, нема нашего политрука!

— Э-х! — закричал Закоморный. — Неужто немцы утащили?

— Я предполагаю, что это наши санитары, — сказал Рекстынь.

Закоморный помолчал.

— Ну, спасибо, товарищ Гаркун, — сказал лейтенант, обращаясь к бойцу.

— Какое спасибо, — ответил Гаркун, — вот если бы я нашел его, тогда было бы спасибо.

Закоморный отпустил Гаркуна и задумался. Перед глазами его стоял этот тоненький, затянутый в ремни мальчик, гордый, смелый и находчивый. Десяти слов не успели они сказать друг другу, но Закоморному казалось, что он знает его с начала войны. Как хорошо можно было бы с ним поговорить, рассказать ему о своем

и его послушать — ему самому, видно, есть о чем рассказать. Закоморный во время боя встретил давнишнего друга, младшего лейтенанта Велигура. Это был командир того орудия, на которое напали немцы. Удивительно складываются судьбы на фронте — Закоморного послали выручать Велигура. Но и встреча со старым другом не утешала Закоморного. Наоборот: потеря Деметьева напоминала о том, на каком хрупком стебельке держится радость встречи с Велигуром — сколько раз оба могли погибнуть! Нет, об этом не нужно думать. Вот перед ним Нолдин. Вчера он не знал этого человека, который сегодня поднялся из смертного гроба боя, рядовой боец, в бою ставший командиром.

— Ну, здравствуй, здравствуй, товарищ Нолдин, — крепко пожимая руку Нолдину, говорил Закоморный. — Садись, дорогой, и кури, — ну, закуривай.

Нет, не только о Нолдине думал сейчас Закоморный, когда так ласково встречал его, — он думал обо всей своей роте: обстрелялась, показала себя — не плохая будет рота!

Новодережкин бродил среди темноты и дождя. Он побывал уже в санпунктах двух батальонов и на санитарном пункте артдивизиона, который называли «околодок» — словечко, которое понравилось Новодережкину. Он видел множество искаженных болью и неподвижных, мертвеющих лиц, — политрука среди них он не нашел. Еще нужно было пойти в санчасть зенитного дивизиона, хотя каким образом мог их политрук очутиться у зенитчиков, имеющих дело с небом? Так думал Новодережкин, не зная, что в отражении танковой атаки сыграли решающую роль зенитчики, выдвинувшиеся вперед и прямой наводкой бившие по танкам.

В черноте ночи, пронизанной дождем, Новодережкин двинулся туда, где, как ему указали, должна была находиться санчасть зенитчиков. Порой перед ним вспыхивал тусклый синеватый свет, становились видны косые струи дождя, какая-нибудь ветка, по которой капались капли...

— Стой! Кто идет?

Новодережкин знал пропуск. Но, когда его пропускали, каждый раз удивлялся, что в этом мраке и дожде продолжал существовать все тот же грандиозный и

страшный порядок войны, который восхищал и ужасал Новодережкина.

Новодережкин очень устал. К тому же, он стер ногу и шел хромая. Сам себе представлялся он букашкой, ползущей по клавиатуре огромного рояля. На этой клавиатуре исполнялась какая-то грозная симфоническая вещь, букашку могли раздавить гигантские пальцы невидимого исполнителя, но, оглушенная, ослепленная, она случайно осталась жива. Рояль замолчал. Но это: «Стой! Кто идет?», пропуск, придирчивый расспрос и деловитое указание, куда ему нужно идти; то, что в черной дождливой ночи он неизменно находил нужное, доказывало ему, что он попрежнему в сфере этой тумолкнувшей клавиатуры и ползет по ее огромным белым и черным клавишам.

Он верил, что сумеет найти строгого, заботливого и требовательного кудрявого мальчика, который в бою был первым воплощением этого неизвестного и страшного порядка войны — подошел к нему и ободрил его. Новодережкин видел, как политрук кинулся вперед к танкам. Тогда это было страшно, сейчас воспринималось, как музыкальная фраза: надвигающиеся танки, их скрежет и грохот, и вдруг эта метнувшаяся вперед тоненькая фигурка, и сразу же вспыхнули взрывы, взвился огонь... «Р-а-ра-ра-ра-а...» — мурлыкал он, прихрамывая и стараясь осторожно ступать на стертую ногу.

— Стой! Кто идет?.. — еще раз окликнули его.

Он снова сказал пропуск. Но когда сообщил, что идет из роты Закоморного, часовой, ни слова не говоря, приложил свисток к усатому рту, свистнул. Через несколько мгновений послышались хлюпающие шаги, и перед Новодережкиным возникла фигура в плащ-палатке.

— Следуйте за мной! — сказал строгий голос.

Они прошли десятка три шагов. Новодережкину нужно было пригнуться, но он не пригнулся и больно ударился лбом о притолоку какого-то непонятного низенького строения. Шагнув несколько ступеней вниз, он очутился в маленькой комнатке, находившейся под землей. Красноватый свет керосиновой лампы показался ему ярким после тьмы и дождя. Тот, кто привел его, сдвинул со лба капюшон; это был смугло-коричневый человек, уже пожилой, но сухощавый и стройный. Они сра-

зу узнали друг друга: добровольцы, они вместе прибыли вчера из Москвы...

Шкляревич (так звали его) разбудил караульного начальника, сержанта Ивашина, крупного почтенного человека, который дремал полусидя, не распустив ремня на шинели.

Сначала Ивашин и Шкляревич оба отнеслись подозрительно к тому, что боец их роты блуждает под дождем, но простосердечный рассказ Новодережкина их успокоил. Участью политрука они оба были заинтересованы так же кровно, как и Новодережкин, что его несколько удивило: ему казалось, что только с ним политрук успел установить такие сердечные отношения.

— Человек идеи, — сказал о политруке Ивашин, — на таких у нас все держится.

— А вы как будто хромаете, — перебил его Шкляревич. — Ногу стерли? С этим шутить нельзя.

Новодережкин всячески упирался, говоря, что ему нужно идти искать политрука, но Шкляревич, авторитетно поддержанный Ивашиным, настоял на своем, и Новодережкину пришлось разуться; когда он отодрал носок от кровавой раны, образовавшейся на ноге, Шкляревич и Ивашин ахнули, да и сам Новодережкин, с испугом и жалостью смотрел на свою окровавленную, багрово-воспалившуюся ступню: он не знал, что она так страшно выглядит.

— Товарищ сержант, — обратился Шкляревич к Ивашину, — видите, потертость второй степени: ведь, если не принять мер, боец останется без ноги.

— Да... — протянул Ивашин строго, почесав под пилоткой свою кругло остриженную пестро обрастающую седыми, рыжими и коричневыми волосками голову. Приняв особенно важный и даже таинственный вид, Ивашин взял трубку полевого телефона, и маленькая комната наполнилась рокотом его голоса. Он соединился с командиром роты, доложил ему о Новодережкине...

— Слушаю... — сказал он в трубку и положил ее.

— Ну, что? Что он сказал? — спросили Шкляревич и Новодережкин.

— Приказал — отставить искать.

— Почему? — спросил Новодережкин. — Нашли? Да?

— Этого ничего не сказал. Только приказал отставить искать.

— Но почему?.. — начал Новодережкин.

— Спрашивать не полагается, — строго сказал Ивашин и поднялся взглянуть на ногу, которую Шкляревич осторожно обмывал горячей водой. — За такую потерю и под арест пойти можно, — сказал он.

Шкляревич вступился за Новодережкина.

— Недостаток воспитания, — сказал он. — Боец не виноват... Я сам получил такое воспитание. — Он быстро взглянул на Новодережкина, на Ивашина, видимо, для того, чтобы определить — стоит ли ему начинать говорить о себе... — Родители мои ничего не жалели для моего воспитания. Отец мой — аптекарь, не хозяин аптеки, а служащий — провизор. Заработок у него был не очень большой, но я единственное дитя, и совсем не надо быть богатым для того, чтобы до одурения избаловать ребенка. Вот и получилось, что гимназию я окончил, а беречь ногу и наворачивать портянку научили меня в Красной Армии. И представьте, друзья! Сегодня я узнал, что командиром нашей дивизии является Городков Николай Ильич, — я прямо не могу притти в себя от волнения: неужели это тот самый унтер-офицер Коля Городков, который был моим отделенным командиром в тысяча девятьсот восемнадцатом году?

— А что ж, свободное дело, — сказал Ивашин, вытягивая ноги на скамье и приняв ту же полусидячую позу, в которой он дремал, когда Шкляревич привел Новодережкина в караульное помещение.

Шкляревич ловко перебинтовал ногу Новодережкина, подвинул ему горячего крепкого чая; от сахара Новодережкин отказался — у него в кармане был свой кусок, и Шкляревич за это похвалил Новодережкина и снова сослался на Городкова: оказывается, это Городков научил его приберегать сахар, так как он возобновляет силы и уничтожает утомление.

— Да что сахар! Больше чем двадцать лет прошло с тех пор, и вот, снова попав на войну, мне приходится каждые пять минут с благодарностью вспоминать своего отделенного — Городкова.

Ивашин тихо всхрапывал. Новодережкин пил горячий чай, и этот чай, и то, что нога успокаивалась, и что кругом сухо — все это было блаженство.

Взволнованно блестя коричневыми живыми глазами, Шкляревич рассказывал о том, что произошло больше

двадцати лет назад, в восемнадцатом году, когда республика, только родившись, билась за свое существование на хвойном, зеленом Урале.

— ...Так очутились мы во второй резервной цепи. Впереди, значит, первая цепь. Мы должны были войти в бой по сигналу, а до этого времени лежать неподвижно в кустарнике,— как много земляники росло на этой густой, настоенной на хвое уральской земле! Но пули залетали в цепь все чаще, нам становилось не до земляники, а сигнала открывать огонь все не было. От нас уносили раненых, одного убило. Мы молча переглядывались — одна и та же мысль была у каждого: наша первая цепь перебита, нас обстреливает враг, почему мы не отвечаем? Я назвал это мыслью, — нет, это не было мыслью, это было горячее побуждение, какое появляется только в бою. Уметь бороться с такими побуждениями, продолжать в бою исполнять приказ командира — такова первая добродетель бойца. Я не помню, как выстрелил, но ведь у большинства молодых бойцов, моих товарищей, было такое же побуждение, и стоило мне только выстрелить, как беспорядочный огонь возник в нашей цепи. И тут же прекратился: прибежал наш отделенный командир с бледным от гнева лицом, которого я никогда не забуду. «Прекратить!.. Немедленно отставить, прекратить огонь!» — так приказывал он, и мы сразу подчинились. Но непоправимое совершилось. Фланги нашего наступления оберегались пулеметами. Обнаружив в тылу нашей наступающей цепи огонь, пулеметчики решили, что это действует пробирающаяся в тыл вражеская группа, и открыли огонь по тем кустарникам, в которых мы лежали. И вот, слыша, как смертоносные очереди, осыпая нас сбитой листвой и хвоей, то опускаются к нашим спинам, то поднимаются, нащупывая нас, изо всех сил старались мы влипнуть в землю. Пулеметчикам сообщили о происшедшем недоразумении, и они прекратили огонь.

Когда на следующий день мы, заняв вражеский окоп, наслаждались кратковременным отдыхом, Городков подошел ко мне: «Это ты первый начал стрелять, Шкляревич», — сказал он. Я промолчал и этим подтвердил правильность его обвинения. «Ты необученный, и на первый раз я тебя прощаю. В следующий раз пристрелю. Ты мог один сорвать успех всего вчерашнего дня.

Пулеметчики наши могли нас всех истребить, беляки могли обнаружить раньше времени нашу резервную цепь...»

Я знал уже тогда русскую и мировую историю, был начитан в литературе, знал физику, математику. К тому же, у меня были тогда необоснованные претензии: я предполагал, что буду великим художником. А стал всего-навсего — живописцем-вывесочником!

Шкляревич замолк, вопросительно взглянул на Новодережкина, но тот слушал внимательно и восторженно. Шкляревич закурил и продолжал:

— Городков был всего на два года старше меня. Он кончил церковно-приходскую школу в деревне и прошел учебную команду. Но я, разинув рот, слушал то, что он мне говорил о военном деле, о том, что дисциплину нужно считать основным креплением армии, о том, как недисциплинированность одного бойца может превратить в сумбур стройно задуманную операцию. Я дал себе слово, что покажу пример дисциплинированности, и случай предоставил мне эту возможность.

Я стоял на посту посреди железнодорожного моста. Моей задачей было проверять пропуска у людей, переходящих с одного берега на другой. Мне посчастливилось — белые открыли по моему мосту ожесточенный прицельный огонь из нескольких орудий. Снаряды падали в воду, почти под тем самым быком, на котором я стоял, и вверх взлетали пенные смерчи, обдававшие меня брызгами. Один снаряд попал между двумя быками, и часть моста со звоном и грохотом, заглушившим все в мире, рухнула в воду. Еще один снаряд попал в верхние перекрытия моста, несколько чугунных балок упало невдалеке от меня, и я на некоторое время оглох от этого грохота и лязга.

Чувство, которое я испытывал, нельзя назвать страхом. Я считал себя мертвым. Я глядел на темные, с рыжими стволами сосновые леса вдалеке, сочно-зеленый луг со стогами, совсем близко у реки, — точно с того света. Но одна мысль продолжала владеть мною с самого начала обстрела, что с поста я не уйду, что Городков, который был моим караульным начальником (наше отделение было в карауле), видит меня и одобряет.

Мне казалось, что я стою очень долго, но, оказывается, я простоял несколько минут, ровно столько,

сколько потребовалось караульному начальнику для того, чтобы добежать до меня. Я в оцепенении глядел ему в лицо и не понимал, что он говорит, пока он с силой не тряхнул меня за ремень. «Пошли!»—крикнул он.

Едва мы сошли с моста, как прямо в бык, на котором я стоял, с грохотом ударил еще один снаряд. Городков опять тряхнул меня за ремень (он так и вел меня все время) и засмеялся. «Чуешь? — сказал он. — Что ж ты не шел, ведь из-за тебя и меня чуть не пришибло». Я вздохнул, взглянул на него. «Ты молодец, — сказал он серьезно, — показал знание устава и неустрашимость. За это можно похвалить. Однако, дело прошлое, но я хочу заставить тебя пошевелить мозгами. С того момента, как мост разбили, скажи, пожалуйста: какой был смысл в том, что ты там стоишь? Пропуска проверять? Если бы ты проявил смекалку и не ждал, пока я тебя сниму, я б тебе слова не сказал».

После этого случая он изменил ко мне отношение, стал расспрашивать меня, стал рассказывать о себе. Он уже тогда твердо называл себя большевиком, хотя в партии, кажется, не был. И вот сейчас мне вспоминается один из наших разговоров. Я говорил ему, как буду жить после того, как победим белых. Я буду великим художником, изображу всемирное братство народов и гармонию труда и природы... Мысли все великие, и говорил я о них с жаром, но по тому, как абстрактно их выражал, можно было судить, что художника из меня не выйдет.

Городков слушал молча и помешивал угольки в костре. «Хорошее дело, — сказал он, — большой, видно, путь у тебя, Шкляревич». Я не возражал. «А ты что будешь делать, когда победим?» — спросил я. Он ответил не сразу. «Мечтаю, как бы мне подучиться военному делу. Вроде школы офицерской». — «Ну, а потом, после победы?» — «Ну, а потом... — он засмеялся, — ты будешь картины рисовать, а я останусь в Красной Армии охранять счастье и труд мирных людей».

Я начал ему объяснять то, что сам понимал тогда еще довольно туманно: что не за горами такое время, когда войн вообще не будет. «На мой век войн хватит!» — сказал он медленно и торжественно, и сейчас, словно въявь, слышу я его голос.

Шкляревич замолчал и взглянул на Новодережкина.

Тот спал блаженно и простодушно, пустив изо рта сонную слюну на свою шинель. И Шкляревич, поняв, что он говорил сам с собой, вдруг снова услышал свой голос, произнесший слова Городкова, которые благодаря этому приобрели особенную убедительность, — словно вновь были сказаны они!

V

Боль была последним его ощущением, и она была первым, что он почувствовал, когда стал приходить в себя. Теснило дыхание, — он был перевязан через грудь. Пробовал разжать веки, — искры заиграли в его глазах... Они изнутри жгли его голову... Он тронул ее и, вместо волос, ощутил марлю.

Вдруг его фуку отвела рука, женская рука, и во всем воющем, рычащем, скрежещущем мире эта рука была тишиной, отдыхом и выздоровлением. Он задержал эту руку в своей, почувствовал, что в голове его яснее, и вспомнил обо всем. «Где мой автомат?» — подумал он беспокойно.

— Сестра, — сказал он хрипло.

— Что вы хотите, товарищ политрук? — спросила она.

— Где мой автомат?

— Здесь, — ответила она, не удивляясь. Не впервой ей было отвечать на этот вопрос, который раненые бойцы задавали почти в беспамятстве.

— Что происходит? Я не могу раскрыть глаз. Мне глаза больно... Где танки? Где Забалуев?

Она молча выслушала эти вопросы, отрывистые и невнятные, и ответила на самый главный:

— Одиннадцать танков подбито, остальные отходят.

— Отходят! — воскликнул он.

Она положила руку на его лоб и не дала ему поднять головы.

— Да, отходят. Мы стали их бить прямой наводкой. Мы... то есть зенитчики. Вас притащили к нам на медпункт.

— Где Забалуев? — спросил Дементьев.

Среди красных вспышек, которые мелькали у него под веками, он все время видел эти черные брови, эти длинно прорезанные глаза... Взмах руки, кудрявые розо-

во-серые облака дыма, ослепительные всплески пламени, и среди всего этого—тонкая в поясе, широкая в плечах фигура, прямая мальчишеская шея и броское, точно при игре в городки, движение руки, страшное движение, рождающее пламя, грохот и дым.

— Где Забалуев? — спросил он еще раз.

— А он кто?

— Комсомолец. Командир истребителей. Сержант...

Она помолчала.

— Не знаю, — ответила она и вздохнула. — У нас там большие потери. Мне рассказали, что вас из-под танка немецкого вытащили... Вы—отчаянный...—сказала она опять и вздохнула.

— Потери? — он сразу отпустил ее руку, опершись на локти, поднялся и с усилием открыл глаза: чувство вины и ответственности заставило его подняться. Сквозь молнии, летевшие мимо его глаз, видел он над собой ее лицо, прямые русые волосы, выбежавшие из-под пилотки со звездочкой, бледные, точно подпухшие, раскрытые губы, остренький подбородок и смешной остренький нос.

Она старалась уложить Дементьева, осторожно прикасаясь к его плечам и к голове.

— Товарищ политрук, лежите спокойно, и вы скоро поправитесь. Ну, послушайте меня, ложитесь. Я опасаюсь, что у вас легкое сотрясение мозга, а оно проходит, если отлежаться. И вы поправитесь и скорей вернетесь в роту... где вы нужны...

Не с первым раненым она имела дело и знала, что нужно говорить смелым людям. Он послушал ее, лег, и ему сразу стало легче.

— Сестра, пошлите за командиром роты, — сказал он.

— Какой роты?

— Нашей, стрелковой...

— А как его фамилия? — спросила сестра.

— Фамилия... — Дементьев точно ввъяв видел перед собой это чистое, ровно румяное лицо, но фамилии не мог вспомнить. Множество лиц представилось ему. Это были лица людей его роты, но фамилий он не помнил. Аркадий Забалуев — это единственно было точно вырезано перед глазами — и как раз его эта девушка не знает, а ведь он, Дементьев, отвечает за все, за всех... что не разошлись, не рассыпались. Забалуев, он, может,

погиб?.. Нет, она не знает. Она только и может держать руку.

Он заснул так внезапно и глубоко, что сестра, чтобы понять, дышит ли он, наклонилась к самому его лицу, и ее губ коснулось слабое, но спокойное его дыхание.

Он проснулся оттого, что его пошевелили и сделали ему больно: не очень больно, и пошевелили его очень осторожно, но все-таки он проснулся. Лежать было мягко, тело отдыхало, но голова болела, был потревоженный бок.

— Тридцать шесть и семь, — сказал женский милый, уже знакомый голос.

И не успел он сделать усилие и вспомнить, откуда знает этот голос, как сразу же заговорило несколько человек.

— Ну, видишь...

— Я и говорю — отлежится...

— Конечно!

— Никуда мы его не отдадим. Отдашь в санбат и не получишь, дивизия велика! А у нас отлежится...

Все эти голоса были ему знакомы. Здесь был командир, старшина, еще какие-то люди: он не помнил, откуда знает, но он знал их. Женский голос возразил:

— Это эгоизм. Разве можем мы здесь предоставить ему настоящую медицинскую помощь?

Но ее перебили:

— Э-э, товарищ сестра, фальшиво говорите. Сами сказали, поставим температуру, а температура нормальная. Насчет эгоизма — это уж, простите меня, ерунда. Именно не о себе забота, а о пользе дела. — Это говорил командир роты, напористо и настойчиво. — Рота новая, нужен боевой политрук. Именно такой. Вчера наткнулся на немцев, залег, подкараулил и открыл огонь. Убил офицера, положил их несколько десятков и создал среди фашистов панику. Оттого немцы так быстро из леса драпанули.

Дементьев проснулся, сердце его билось тяжело и болезненно, и он, не открывая глаз, слушал, как его хвалили.

— Где опасное место — там он, — поддержал голос, в котором по твердому акценту Дементьев признал Касымова. — Понимает военное дело. Сказал лейтенанту Засыпкину выделить противотанковое отделение...

«Противотанковое отделение... Аркадий Забалуев...» Дементьев вспомнил все. «Где Аркадий Забалуев?» — хотел он спросить, но получился хрип. Все замолчали, он закашлялся, открыл глаза и поднял голову...

Он был в комнате, ярко освещенной электрической лампой. Стены были оклеены светленькими обоями, висели какие-то картины... Много людей было в этой комнате, и все глядели на него.

— Где Аркадий Забалуев? — спросил Дементьев, откашлявшись. Он чувствовал, что смерть Забалуева, которого он видел только раз, была бы для него тяжелым горем.

— Он в своем взводе, товарищ политрук, — наконец ответил Касымов. — Идет дождь, строим шалаши, обогреваем людей. Обед прислали, хороший, горячий, подвезли к самому переднему краю.

— Что с отделением Забалуева? — спросил Дементьев.

— От его отделения уцелела половина, — твердо и грустно ответил Закоморный. — Не считая самого Забалуева, еще трое. Да двое раненых. А тебя, товарищ политрук, мы еле нашли — тебя подобрали зенитчики. Это блиндаж друга моего — командира зенитной батареи, лейтенанта Самоварова. Он согласился взять тебя на излечение. А то отдашь тебя и не увидишь...

«Зенитная батарея...» Дементьев вдруг вспомнил то, что говорила сестра. Их выручили зенитчики: открыли огонь по танкам. А что после произошло?

— Расскажи, товарищ командир: как дела на нашем участке?

— Давай, — с готовностью сказал Закоморный.

Раскрыв планшетку, он вынул карту. Большой, широкоплечий, он сел на диван, на котором лежал Дементьев, диван затрещал, кто-то пошутил над этим. То и дело хлопала входная дверь, и рядом все время слышался голос связиста: «Береза... Береза»... Говорит «Смородина... Смородина»... Не обращая внимания на все это и все заглушая, Закоморный рассказывал, водя карандашом по карте, и Дементьев чувствовал, как с каждым словом Закоморного здоровье возвращается к нему. За время, пока он спал, большая часть дзотов и блиндажей противника была разрушена навесным огнем артиллерийского дивизиона капитана Стахеева, и стрелковые полки дивизии перешли в наступление. Задача, которая

дана была роте, — не позволить фашистам прорваться в расположение дивизии, — с честью выполнена.

— Какие у нас в роте потери? — спросил Дементьев, откинувшись на подушку.

— Восемнадцать убитых, двадцать два раненых, — ответил Закоморный.

Оба помолчали.

— Надо бы партийно-комсомольское собрание провести, — сказал Дементьев.

— Никаких собраний! — оборвал его вдруг сердитый голос. Сестра только что вошла. Большая дымящаяся кружка была в ее руках. Сейчас она стала совсем другая, только по голосу признал он ее. — Я под свою ответственность согласилась вас оставить здесь, товарищ политрук... — не только строго, но даже резко сказала она, — и никаких собраний! — Ее лицо, худенькое, с острым носиком, острым подбородком и припухлым ртом, побледнело и стало некрасивым, и все в комнате замолчали. — Выпейте, — буркнула она. Неужели это она была так ласкова? Так возилась с ним?.. — Выпейте, — сказала она сурово.

Он ожидал, что ему придется испить какого-то горького лекарства, но это было горячее сладкое какао. Он пил под сердитым взглядом ее синих, очень темных глаз. «Вот бы она Гришей меня назвала», — подумал он. Единственный сын у матери, забалованный и любимый, он с детства привык к своему ласковому имени. Быстро освоившись в армии, он стал на фронте мужественным солдатом. Но в грудные минуты, как сейчас, когда лежал он раненый, все слышалось ему: «Гриша, Гриша...» Он поднял глаза, но ее уже не было в комнате.

Он просыпался и опять засыпал... Какие-то события врывались в землянку, доносились до него в разговорах, возбужденных и громких. Люди приносили с собой запах земли, порохового дыма и сырых шинелей и снова уходили, снова хлопала дверь — они уходили в бой. Ему казалось, что он пробуждался бесчисленное количество раз.

Вдруг, проснувшись, увидел он, что комната пуста. Только связист кричал по телефону: «Восемнадцать самолетов! Один сбили! Нападение продолжается». «Опять нападение», — тревожно подумал Гриша и стал

подниматься. Но в это время вошла сестра, за ней санитары внесли носилки.

— Ставьте вот сюда... осторожней ставьте, — говорила она. На носилках лежал молодой боец, его брови были сведены, губы закушены. — Осторожней, осторожней, — говорила она и вдруг увидела, что Дементьев сидит на диване.

— Я уже ничего себя чувствую, — виновато ответил Дементьев на ее строгий взгляд и тут же быстро лег.

Эта испуганная быстрота, очевидно, ей понравилась. Не усмешка, только тень усмешки мелькнула по ее лицу, остренькому, с полными бледными губами, странному и чем-то привлекательному лицу. И вот она склонилась уже к раненому на носилках.

— Ну, как, Фочка, что у тебя? — спрашивала она раненого.

Заботливая нежность ее голоса была обидно знакома Грише... Она что-то делала с ногой паренька, по движениям локтей видно было, как осторожны ее касания, но раненый вдруг взвизгнул и свирепо обматерился, — у него был петушиный, ломающийся голос.

— Фочка, — сказала сестра, — перелом кости есть, сейчас тебя унесут в санбат.

— Иринка, послушай, ты не думай, что я на тебя ругаюсь...

— Погоди, Фокин, — деловито говорила она, записывая что-то в блокнот. — Как твое имя-отчество? А то все — Фочка, Фочка...

— Послушай, Ириша...

— Нечего слушать, Фокин. Я командирский блиндаж в санбат превращать не буду. Давай твое имя-отчество.

— А вот не скажу. Чужого-то дяденьку здесь оставила, — сказал Фочка.

— Ах, ты вот как... Товарищи, уносите Фокина без имени-отчества.

Санитары, посмеиваясь, подхватили носилки.

— Ириночка, прости... Ой! — он сделал резкое движение и опять выругался. В голосе его слышны были слезы.

— Прощаю. Все прощаю. До свидания.

Носилки унесли. Слышно было, как сестра моет руки, звеня рукомойником. Вот она пошла к выходу. Она высокого роста и очень легка в движениях. Сейчас она уйдет.

— Сестра, расскажите обстановку.

Она взглянула на него своими темными глазами.

— Они опять налетели. Этот паренек Фокин сбил самолет. В сороках метрах от его орудия упала фугаска. Ему осколком перебило ногу. Но он не ушел. Отказался. Пока не сбил самолет, — говорила она медленно, точно раздумывая. Потом помолчала. — Настоящий гвардеец... — сказала она протяжно. — Да что это за разговоры! — прервала она себя. — Спать! — приказала она, уже чувствуя свою власть над ним, забавляясь ею.

Он послушно закрыл глаза. Слышно было, как она хлопнула дверью.

«Гвардеец» — опять это слово! Им отмечают здесь лучших, им поощряют на подвиги... Конечно! Гвардия — это отборные, самые надежные войска... В гвардии служил дед Васенька. Высокий, костлявый, в блекло-голубой от многих стирок ситцевой чистой рубаше и с такими же, как рубаша, блекло-голубыми глазами, дед Васенька возник, как живой, и Гриша засмеялся от радости: как в далеком детстве, голосом низким, глуховатым, точно издавека, вел старик любимую Гришину песню, воинственную и забавную: «Гриб-боровик, всем грибам полковник, повелел-приказал грибам на войну итти». Грибы — к войне. И вот она идет, эта война, славная и страшная, и все, что происходило сейчас в землянке, входило в этот сон, и не всегда мог Дементьев отличить, что происходит во сне и что наяву.

Три молодых командира сидели за столом. Они подносили ко рту большие стеклянные граненые бокалы, рыжие пивные огни играли в гранях. Пиво пахло на всю землянку. Дементьеву очень хотелось пива, но он смиренно лежал на диване и не просил: в детстве самые интересные сны пугливо рассеивались, когда он желал вмешаться в их причудливый ход, и сейчас он тоже боялся, что, как только подаст голос, сразу все очарование происходящего рассеется.

У края стола сидел лейтенант Закоморный. Он снял шлем со своей коротко остриженной головы, и продолговатое раздумывавшееся лицо его сейчас походило на большой розовый боб. Второго командира Гриша Дементьев видел с полуоборота: вялый ус, полная щека и упрямый молодой затылок. Когда кружки опоражнивались, он, кряхтя, исчезал под столом, — оттуда слышен

был звук льющейся жидкости, в землянке сильнее начинало пахнуть пивом. Это был, конечно, хозяин землянки, командир зенитной батареи Самоваров. Третий был командир того орудия, которое рота Закоморного выручила от нападения фашистов. На зеленой гимнастике его была большая красная звезда, которой отмечают лучших командиров, — очень шла она к этим широко и без напряжения развернутым плечам, к этому скуластому лицу, устойчивую ласковость которого колебали то раздумье, то грусть, то гордость, то веселье. Он рассказывал — говорил по-украински. Гриша Дементьев любил этот родственно-близкий певучий язык, и с яркостью сновидения рисовалось ему все, о чем рассказывал командир.

Звездная строгая ночь, пылающий за рекой, вчера еще мирный советский город; около старого булыжного шоссе, в глубоком, поспешно расширенном придорожном рву — одно орудие, и при нем орудийный расчет... Дивизия прибыла на фронт прямо из Москвы. При отъезде на вокзале был митинг, женщины плакали и дарили цветы, поезд тронулся под звуки духового оркестра — и вот он, фронт. Зарево пожара, неприятельские ракеты и кучка бойцов, которым предстоит кровью скрепить свои обещания...

— А нужно сказать, хлопцы, что у меня, командира орудия, с расчетом моим не все тогда было ладно...

Нет, я не могу сказать, что они меня не слушали. Слушали, и все, как полагается, по уставу, по форме и навтыжку. Москвичи. Все среднего и выше среднего образования. И не заморыши какие городские, а физкультурники, значкисты. Между собой у них смех, вольный разговор, а как я пойду, сразу замолчат. «Товарищ командир, товарищ младший лейтенант...» На лицах уважение... Но кто их знает, может, я по-деревенскому слова выворачиваю, может, они надо мной сейчас смеялись. И я думаю: мальчишки! Каждое утро начинаем мы боевой зорей. В любой час на нас могут напасть. А вы с утра до вечера резвитесь, забалованные, заласканные советской властью! Я их тянул, беспощадно, жестоко тянул. Кому трудно, над тем еще посмеешься, а кто хорошо выдерживал, так, верите, хлопцы, против того еще сильнее растревался и тянул — с каждым днем тянул все свирепей.

... А результат получился такой, что на весенних маневрах, за месяц до войны, наше орудие показало себя на «отлично». Добился того, что каждый номер стал делать свою часть операции с отчетливостью и точностью автомата, что по стрельбе из винтовки в нашем расчете стало несколько сверхметких стрелков-снайперов. Но я не удовлетворялся этим. Вокруг все мирно цвело и сияло, а у меня в голове была война. Вот мое орудие вступит в бой. Ранят одного, убьют другого из моих номеров, нужна будет замена! И в учении я ставлю задачу, чтобы любой из моих людей мог любого заменить. Моему расчету очень пришлось по душе эта самая взаимозаменяемость... (Велигур махнул рукой, засмеялся, сделал вид, что не может выговорить...), тьфу, какое слово, чтобы его выговорить, придется глотку пивом смочить: бувайте здоровеньки, товарищи! Взаимозаменяемость... Когда еще совсем молоденьким работал на Сталинградском тракторном заводе, был у нас в тяжелой кузнице волшебный бригадир на двенадцатитысячном молоте. Звали его Ваня Кубасов. В его бригаде любой мог стоять на любой операции, оттого люди работали с особым интересом и воодушевлением.

... Так же пошло и у меня. На орудии добился и я взаимозаменяемости. Командир нашей батареи, Стахеев Юрий Иванович, всегда нас предупреждал, что главное в бою — это выручка товарища. Держись дружнее. За друга-соседа — глаза вырви. Я старался своему расчету это понимание передать. Они слушают, повторяют, но по-своему повторяют, более богатыми словами, красивыми, точно меня поправляют. И тогда я злюсь, придираюсь, требую повторять по уставу, так, как я сказал. Раз приказано, они повторяют, но переглядываются. И опять приходит мысль, что они между собой или со своими бойкими городскими девушками надо мной смеются. «Есть-де у нас командир батареи Велигур. Чурка с глазами. Так вот он как по-хохлацки слова выворачивает и нас же еще поправляет...» И я придумал им ответ: как бы я слова ни выворачивал, но то, что я требую, ты будешь выполнять, иначе противник разнесет нас в дым в первом бою...

... И вот оно настало: противник, первый бой. Старший лейтенант Стахеев указал нам огневую позицию и уехал к другим орудиям. Мы окапываемся, готовим бое-

припасы. Ребята мои все делают бодро, весело. Не намного они моложе меня, — кто на два, кто на три года, и все меня образованнее, но дурее они меня лет на десять. Гляжу я на них, досада берет, и точно они сыновья мне: «Эх, ребята, скольких из вас не досчитаюсь в эту ночь». И тут у нас произошел дружественный разговор, такой, какого у нас никогда раньше не бывало. «Товарищи! — сказал я. — Приказываю зарядить винтовки. Наверное, придется вам действовать не только снарядом, но также штыком, прикладом и пулей. Только позавчера мы на митинге поклялись жизнь отдать за родину. Слово это серьезное, потому что помирать, может, сегодня придется». Тут взял слово самый младший из нас — чемпион-конькобежец Смагин Алеша, чернявый такой. Его ранили сегодня в руку. Отец его — знаменитый профессор математики. Алексей — комсомолец, как и я. Но никто у нас в батарее не был дальше от меня, чем он. Болтун, прыгун, всегда веселый... Я пас скотину, а он бегал в школу. Я добрался до трактора, а он кончил среднюю школу. Он учился в университете, а я работал на тяжелых молотах, у жарких печей. «Баловень ты», — так я думал о нем. И как раз именно это он о себе сказал. Как он сказал?.. — Велигур замолчал и даже глаза прикрыл, точно вслушиваясь в эти отзвучавшие слова. — «Сад, — так сказал тогда Алеша, — ...мы жили, как дети в саду...» Так говорил он, и часто приходилось ему повторять одни и те же слова, оттого что стрельба заглушала... И он сказал мне: «Товарищ младший лейтенант, я знаю: вы глядите на меня отрицательно за то, что я иногда дую, но я очень вас уважаю, товарищ младший лейтенант. И все мы гордимся вами. Я был на собрании, когда вы рассказывали свою биографию: подпасок, обучившийся грамоте в шестнадцать лет, в двадцать пять уже стал командиром и таким командиром, как вы. Слова ваши о дружбе в бою, которые вы так настойчиво нам твердили, мы запомнили навсегда». Вот, примерно, он так сказал. И после его слов я к каждому подошел и пожал руку, а с ним поцеловался...

... В это время, примерно, слышим — тарыхтит что-то по шоссе. Наш часовой окликнул, задержал: легковой газик, и выходит из него сам командир дивизии. Тогда-то мы еще не так его знали, как сейчас. Я к нему

с рапортом. Сам он маленький и на меня снизу, как на колокольню, смотрит, шурится. По лицу его видно: забот у него, забот...

Я стараюсь докладывать ясно: «Командир орудия, младший лейтенант Велигур, батарея старшего лейтенанта Стахеева готовится к стрельбе...» — «Не так все будет, — прервал меня полковник. — Немец обходит справа большими танковыми массами, следом движется его мотопехота. Под утро будут здесь. Сумеете встретить?» — И опять на меня снизу вверх, как на колокольню.

Я к своим, спросил тихо: «Как, сумеем встретить, товарищи?» И они все вразнобой и не по-военному, а по-штатски, по-городскому: «Об чем речь! Конечно! Что за вопрос...» Тогда полковник обращается ко мне: «Товарищ лейтенант, командуй и следуй за мной».

...Я скомандовал. Мои работали прямо как акробаты в цирке, и вижу, полковник заулыбался, даже забота, видать, отошла. «С такими не пропадешь, — весело сказал он. — Двух минут не прошло, орудие готово к движению. Какие у тебя молодцы!» — произнес он задумчиво и грустно. Я знал, что грусть у него о том, о чем и у меня: кто из вас уцелеет!

Он сел в машину и тут же перешел на строгость: «Следовать за мной!»

...Едем не назад, как я думал, а вперед, к самому городу. Едем без огней. Вот черные затаившиеся домишки городской окраины — по ту и по другую сторону шоссе. Вокруг чистое ровное место и многое множество звезд на небе.

А ночь страшная, в городе крики, пожары. Кругом стрельба, взрывы то близко, то далеко, — бедная, бедная наша земля! И эти проклятые немецкие ракеты, то зеленые, то желтые, то красные.

Прошло немного времени, и нас стали обстреливать с чердаков, из-за заборов. Помощника моего звали Зяма. Еврей, но по-русски говорит хорошо, только быстро так, круто... Маленький, рыжий, кудрявый (где-то он сейчас, жив ли?..). Посоветовались и приняли решение — пушку скроем. До утра в дело вводить не будем. Поставим пулемет на огневую позицию, расставим посты снайперов и подавим огневые точки врага, не тратя снарядов...

Так сделали: как вспышка с чердака, сразу снайпер по вспышке посылает свою пулю. Не затихает, — подбираемся поближе и залпом. Они стали бить по нас пулеметом. Мы им тоже ответили пулеметом.

Стало тише. Ребята опять стали шутить и смеяться.

Вдруг часовой наш снова кричит: «Стой!» Гляжу: на шоссе три начальника, судя по кожаному обмундированию — танкисты. Один капитан и два лейтенанта. Капитан строго спрашивает меня: «Какой части, сколько вас здесь?» И не успел я ответить, как Зяма вдруг ответил за меня: «Сколько нужно, столько и есть». Ну, — думаю, — сейчас покажет ему этот капитан! Но нет, ничего. Капитан промолчал. Только взглянул на Зямку: недобрый такой взгляд... Висячий нос, усы такие толстые. Тут юдин из подошедших лейтенантов хочет закурить. Я сразу отвел его руку с папиросой. «Демаскируете», — говорю ему. Он так вежливо руку к козырьку, но ничего не ответил. Мне стало странно. Получается все время так, что капитан говорит, а эти лейтенанты даже голоса не подают: к кому ни обратишься, отвечает он один. Капитан рассказывает, что они из танковой бригады, что танки их разбиты, а они спаслись.

Я знал, что танковая бригада на той стороне реки.

«Вам пришлось в брод пройти через реку?» — спрашиваю я. «Да, нам крестьяне брод указали», — отвечает он. У меня в руках был карандаш. Я будто невзначай уронил его, нагнулся поднимать и тронул сапоги капитана: сухие. Как же они в брод переходили? Обман! Немцы! Я толкнул под локоть Алешу Смагина, а сам завел длинный рассказ о реке. Тут болото, там заводь, здесь омут. Все вру. Они уши развесили, слушают, ждут: вдруг нужно что скажу! И вдруг Алеша Смагин: «Руки вверх, кончай базар!» Со всех сторон на них направлены винтовки... Один, оборотясь в сторону немецкого расположения, хотел что-то крикнуть, — его по башке прикладом... другие руки подняли. Капитан нам: да что вы, да как вы... а сам глазами во все стороны.

Но Алеша вынимает из его кармана немецкий пистолет и ракетницу. «Это трофей», — сказал капитан. «Наши трофей», — ответил я ему. Зяма ему сразу кляп в горло. Он только глаза выкатил. Связали мы их, как

баранов, свалили в уголок и приставили часового. По нашему винтовочному и пулеметному огню немцы, верно, решили, что здесь стоит стрелковая часть, и послали разведку, чтобы узнать, много ли нас. Да, нас мало и кругом враги, но мы под своим небом и на своей земле.

Посоветовавшись с Зямой, высылаю разведку. В одну сторону — Алешу Смагина, в другую пошел Валентин, молодой художник. Сначала с той стороны, куда ушел Алеша, началась стрельба и ударили минометы. Через минуту такая же кутерьма поднялась там, куда ушел Валентин.

Алеша прибежал, Валентина мы больше не видели. Алеша рассказал, что немцы расположились вдоль заборов, установили пулеметы и минометы. Очевидно, окружают нас. Понятно. Ведь послали они разведку, а она не вернулась. Вот они ждут... Но мы ждать не будем. Скоро рассвет. Увидят они нашу пушку и нас при ней. Мы с Зямой отложили аварийный запас снарядов и сразу открыли огонь из орудия.

Даем несколько выстрелов и сразу отъезжаем метров на сорок... Не плохо учил я своих ребят! С первых же выстрелов мы подожгли сарай с сеном! Немцы стали видны. Переполошились, кричат, перекликаются. Тут-то и поработали наши снайперы.

Однако немцы скоро пришли в себя и стали отвечать нам отчаянным минометным огнем. Убило у нас двух, ранены были все мы и многие по несколько раз...

Стало светать. Нет-нет да и погляжу налево, туда, где уже зарумянилась чистая зорька. Пожары полыхают во-сю, они много ярче зари, но она все разгорается, оттуда встанет наше солнце... Солнышко, солнце, московское солнце... Светает, вижу лица ребят, осунувшиеся и закопченные. Я доволен ими, доволен собой. Строго учил, крепко выучил.

...Вдруг слышу, кто-то скачет верхом: звонко так по мостовой получается. Соскочил с коня, прямо ко мне. Молодой сержант, конник. «Где здесь младший лейтенант артиллерист, командир орудия?» — «Я».

Передает мне пакет, в пакете записка.

Велигур бережно вынул из бокового кармана листочек и прочел:

— «Испугавшись твоего пожара, немецкие танки

свернули. Твоя настойчивость и стойкость позволили нам быстро сосредоточиться. Выходи из боя. Тот, кто вручит тебе этот пакет, будет провожатым. Усвой: мы в тылу у немцев, потому действовать придется осторожно, решительно и дерзко, так, как действовал ты. Представляю тебя к правительственной награде. Когда будешь жать руку Калинин, скажи ему привет от меня. Он мне тоже ее вручал. Полковник Н. Городков».

Велигур замолчал. Слушатели тоже молчали.

— Передал привет Калинин? — спросил лейтенант Самоваров.

— Какое там... застеснялся, — забыл, как папу-маму звать, — огней кругом, народу... Михаил Иванович, ласковый, невозможно выдержать, — сказал Велигур.

Его широкоскулое, строгого склада лицо поразило Дементьева выражением сдержанной нежности.

— Нет, я бы передал, — задумчиво говорил лейтенант Самоваров, — я бы непременно сказал: кланялся полковник Городков, Николай Ильич. — И видно было, как приятно ему произносить это имя.

— Да разве ж он всерьез, — засмеялся Закоморный, — он всегда так. Думаешь — всерьез, а он шутит. Думаешь — он шутит, а он всерьез. Николай Ильич! Когда в ту ночь ты отбивался на левом фланге, я был на правом... Нам передали его приказание: отходить, но в час не более чем на сто метров. И вот держу часы в руках, и мы отходим, — а немцев раз в десять больше. Мне поручен был фланг; у меня четыре пулемета и одиннадцать автоматов, и мы положили сотни фрицев. Десять часов отходили и норму выдержали: отошли на километр. Не ели, не спали — в чем только душа держалась... И вдруг к вечеру сам Николай Ильич: прямо ко мне в передовую линию. «Львы! — говорит. — Суворовцы!» Как он сказал, мы сразу — точно живой воды испили. Кругом рвутся немецкие мины, а он хоть бы что. Боишься за него, чтобы не убило, и являются глупые мысли: нет, не может его убить!

— Он душа наша, — после некоторого молчания сказал Велигур. — Мы дрались не плохо. Но были ведь геройские ребята и в других дивизиях? Почему же наша дивизия не только сохранила себя, но еще в этих боях собирала разрозненные части других дивизий? Потому, что он — наша душа с того страшного первого

боя. Он себя не щадил, о себе не помнил, чтобы были мы попрежнему боевой частью Красной Армии и наносили удары врагу. Даже тогда, когда немцам удавалось нас обходить и вклиниваться в наши боевые порядки, все равно мы чувствовали его руку...

С той ясностью мысли, которая бывает при ночном пробуждении, слушал Дементьев этот разговор, и весь смысл сегодняшнего трудного, наполненного смертельными и кровавыми событиями дня с предельной отчетливостью выступал перед ним. Да, эти молодые командиры говорили сейчас о дивизии примерно то же, что комиссар Язев говорил о роте, когда передавал ее, — собирать, сколачивать, чтобы был единый боевой организм. И снова Гриша вспомнил те горькие дни, когда он шел по своей земле, но шел как чужой, прячась в запоздалой, необранной ржи, укрываясь по лесам и болотам, а немцы установили везде свои порядки, оскорбительно господствовали в селах и на шоссе и надо было их опасаться так же, как зверь опасается охотника. Нет, Гриша не падал тогда духом. Они вместе с товарищем забросали гранатами штабную немецкую машину — в ней оказались ценные документы. Так добыл он свой автомат, который с тех пор ему верно служит. Да, он шел тогда вооруженный, и все-таки как нехватало ему главного оружия — оружия всех оружий, — своего места в роте, в полку, дивизии, во всей боевой армейской машине. И он счастлив был сейчас и гордился тем, что находится здесь, в землянке, вместе с товарищами, которые, как и он, проверены и отобраны в боях... Николай Ильич — полковник Городков. Доселе это было для него только имя. А сейчас разговор молодых командиров сразу сблизил его с командиром дивизии. «Наша душа...» Да, именно так.

— Я, Филька, никогда не верил, что тебе конец, — говорил Велигур. — Из нашей газеты меня попросили: ты был другом лейтенанта Закоморного, напиши о нем, о его подвиге и героической смерти. Я написал. Но о героической смерти писать отказался. Кто его видел убитым? — Велигур тряхнул головой, взял кружку со стола и поднял ее. — Так выпьем, ребята, за дружбу, за боевое наше товарищество.

И получилось у него это красиво, как все, что он делал. Кружки стукнулись одна о другую. Самоваров

стоял в одном носке и одном сапоге: он уже собирался лечь спать. Допил, оставил кружку и сказал:

— Война тратит людей. Прислали нам в августе на батарею троих пареньков-добровольцев. Я еще взбунтовался, но не возразишь, — рождения тысяча девятьсот двадцать третьего года. А сегодня из них последнего уволокли: Фокина. И я очень скучаю. А ведь сначала у меня голова от них пухла. Чего, кажется, три мальчика, а беспокойства, как будто их три десятка... Голоса крикливые. Все время пересмешки и дерзости. Но вот в первый раз испытали мы звездный налет — это в том нашем первом бою, о котором оба вы говорили... Конечно, я не убежал, но думал — скорей бы разорвало меня к чорту. Гляжу на парней... Они были на одном оружии: Фокин, Ласточкин, Сублик. Фашист вокруг них то вверх, то вниз, и пулеметом, и бомбами, а они вертят пушку и садят, садят по нему снаряд за снарядом. И фашист отлетел — нервы не выдержали. Ребята визг подняли, кричат, пилотками машут: понравилось.

У Ласточкина законченное среднее, его взяли в школу младших лейтенантов — герой командир будет! Сублик — до сих пор ужасно мне вспомнить — на руках моих умер, все маму звал. Орден пришел к нему после смерти — два самолета сбил парень. Остался Фочка. Это был гвардеец...

«Гвардеец!» — и Дементьев не выдержал.

— Друзья, — спросил он, и командиры, вздрогнув, обернулись к нему. — Я слышу все время, как вы говорите это слово «гвардеец»: в образец, в похвалу. Никогда я не слышал, чтобы его где говорили так, как у нас в дивизии.

Закоморный встал и почему-то на цыпочках, смешно раскачиваясь, подошел к дивану, где лежал Дементьев.

— Грыць, — спросил он, — как головушка твоя? — И в его мужественном голосе смешно звучала какая-то особенная, бабья нежность: наверно, с ним самим в детстве разговаривали так мать или бабушка.

— Так ведь наша дивизия гвардейская, — сказал Велигур. — Или ты этого не знал?

— Гвардейская? — переспросил Дементьев недоуменно.

— погоди, — перебил Закоморный, садясь возле него и положив на его плечо свою большую теплую руку, — разве ты приказ Сталина не знаешь?

— Какой приказ?

— О гвардейских дивизиях. Не знаешь?

— Наверно, этот приказ вышел, когда я бродил по немецким тылам,— вслух подумал Дементьев.

Он вдруг вспомнил, что их, политработников, направленных именно в эту дивизию, особенно тщательно отбирали. С ними должен был о чем-то беседовать начпоарм. Но беседа не состоялась, их срочно направили в дивизию. В политотделе дивизии была горячка, кругом прохотала артиллерийская канонада, весь политотдел был на передовых позициях, молоденький секретарь политотдела с перевязанной головой быстро просмотрел его документы и тут же послал его в полк. Разговор с комиссаром полка оборвался нападением фашистов на батарею... «Язев, очевидно, не предполагал, что я не знаю, куда прислан, — думал Дементьев. — Приказ Сталина нужно достать, нужно прочесть».

— Выходит, ты дрался вчера весь день и не знал, что гвардеец? — говорил Закоморный.

— Доказал, что гвардеец,— сказал Велигур. Он твердо и ласково, точно досказывая взглядом, что не сказал словами, взглянул на Дементьева, неторопливо достал часы, посмотрел на них, покачал головой, усмехнулся и стал надевать шинель.

— Который час? — спросил Дементьев.

— Пять сорок две,— ответил Велигур,— в шесть ноль-ноль я должен быть у орудия. До свиданья, Филя, будь здоров. — Он ударил Закоморного по плечу, поглядел на него долгим пристальным взглядом, точно чтобы запомнить, и ушел.

В двери мелькнул бледный свет, сутки прошли, настало второе утро, второй день.

VI

Гриша давно не чувствовал себя таким выспавшимся и отдохнувшим, как сейчас. Хотелось встать и пойти к своей роте.

Но рота пришла сама. Старшина Касымов, чисто выбритый, свежий,— даже морщинки его смуглого коричневого лица казались молодыми — рассказал, что за ночь рота получила номер, стала второй ротой первого батальона. Прошла утренняя поверка, подвезли горячий

завтрак. Выделена походная кухня и обоз — шесть подвод. «Лошадка подходящий, а один кобылка есть белоногий, кличка «Франтиха», может под седло итти...» Касымов, видно, любил лошадей, волновался и, как это иногда бывает даже у обрусевших татар, в речи сбивался с женского на мужской род. Он торопился, нужно было принять и проверить сбрую и тут же съездить за боеприпасами; от него веяло тем будничным, деловым оживлением, которое так любил Дементьев.

В десять ноль-ноль Дементьев назначил партийное собрание, в двенадцать ноль-ноль — партийно-комсомольское собрание, в четырнадцать ноль-ноль командир роты созывал командиров взводов, — все это должно было происходить здесь, около постели политрука.

Старшина быстро ушел.

— Деловой дядька, — одобрительно сказал о нем Закоморный.

Дементьев ничего не ответил. Сегодня старшина ему нравился, но вчера он растерялся при появлении танков. Не надолго растерялся, а все-таки... Закоморный склонен был в людях видеть только хорошее.

— Одного гада пришлось пристрелить, — неохотно и с мрачным отвращением сказал Закоморный. — Да что тут рассказывать... — Но Дементьев настаивал. — Как только сблизилась с фашистами, он сразу бежать. Вижу: глядя на него, еще кое-кто заколебался. Тут и пришлось... — Он поморщился и замолчал.

— А еще случаи были? — настаивал Дементьев.

— Когда в штыковую атаку пошли, тоже была заминка. Но тут ничего.

— Ты фамилии этих людей знаешь?

— Да они ничего ребята. Двух я потом в бою видел. Хорошо дрались.

— Все равно. Нужно знать фамилии, — сказал Дементьев. — Мне тоже пришлось одного приободрить: при воздушном налете винтовку бросил. Фамилии я не знаю, но самого запомнил — верзила такой. Имей в виду, командир, с этого сорта людьми придется нам вести особую работу, чтобы не подвели нас в трудный момент. — Дементьев вспомнил о Новодережкине, но не назвал его: нет, Новодережкина нельзя было причислять к трусам. Но... растяпа! может подвести в бою.

Когда разговор перешел на отличившихся, Закоморный сразу заговорил охотно и весело. У него, оказывается, были не только записаны фамилии лучших людей роты, но он даже успел кое-что узнать о каждом. Богатыря, которого Дементьев спас вчера от предательской пули немца, звали Гаркун, Афанасий Петрович: рабочий-стахановец завода имени Латышева, добровольцем пошел в ополчение, беспартийный.

— При мне погиб один: Горбыль, Сергей Петрович. Московский житель, печник. Как дрался! — троих убил, — говорил Закоморный: он и печалился и восхищался.

Закоморный назвал еще с десятков фамилий: колхозники из Подмосквья, рыбаки с Нижнего Поволжья, двое армян-пастухов. Назвал он также и Забалуева: сибиряк, прислан в полк после госпиталя, уже представлен раз к правительственной награде.

— Но я хочу и его и всех комсомольцев его отделения тоже представить, — говорил взволнованно Закоморный. — Одни герои!

— Сколько их уцелело?

— Вместе с теми, кто ранен, шесть человек... Но награды достойны также убитые. Тебя, товарищ политрук, я тоже представляю.

Во время этого разговора в комнате была сестра. Она появлялась раньше. Поставила Грише градусник подмышку и ушла, вернулась, посмотрела на градусник и снова ушла. Принесла горячего какао, подала его Грише и теперь стояла за спиной Закоморного и слушала... Закоморный не видел ее, но Дементьев видел, и потому последние слова Закоморного смутили его.

— Я политрук, — сказал он. — Интересно, где бы мне было находиться во время атаки танков, как не с истребителями... — Он быстро взглянул на нее. Что-то дрогнуло в ее глазах, и она ушла.

Разговор продолжался. Закоморный сказал, что одного из комсомольцев-истребителей он назначает командиром отделения разведчиков в первом взводе.

— Фетисов, Димитрий Михайлович, двадцать второго года рождения, комсомолец с завода имени Латышева, доброволец, — прочел он из записной книжки.

Пришли коммунисты. Разговор с командиром так и не кончился. Да и есть ли конец у такого разговора? Он продолжается все время, пока люди вместе работают.

Новодережкин застенчиво поглядывал на политрука, записывал собравшихся. Дементьев прислушивался к скупым анкетным данным, и они оживали — лица людей, их повадки и движения досказывали то, на что скупое намекали анкеты.

Вчера в роте было одиннадцать коммунистов, а сегодня на собрание пришло только восемь.

Ивашин встал, снял пилотку со своей круглой ершистой головы, предложил почтить память погибших товарищей и среди них троих коммунистов...

— На место убитых придут новые товарищи, — сказал Ивашин и тут же, не надевая пилотки, назвал несколько фамилий.

Дементьев ждал, что он назовет Афанасия Гаркуна, богатыря, мастера штыкового боя. Но Ивашин не назвал этой фамилии, и это удивило и заинтересовало Дементьева. Однако Гаркуна назвал его взводный командир, и опять упрямо промолчал Ивашин. Девять человек записал Новодережкин, девять человек, достойных стать в ряды партии. Секретарем партколлектива Дементьев назвал Рекстыня.

Все внушало доверие в этом человеке: доброта и мужество, сила и скромность.

— Продумай, как расставить коммунистов по взводам, и доложи мне, — сказал Дементьев.

— Есть продумать, — ответил латыш, несколько подчеркивая военную отчетливость своего ответа и этим внося в нее шутливость.

Еще не кончилось партийное собрание, как стали подходить комсомольцы. Пришел и Забалуев, чисто умытый и веселый. Дементьев так обрадовался ему, что смутился, когда тот встал навытяжку. Комсомольцы со смехом и шутками рассаживались на полу, и в землянке сразу стало светлее от этих молодых лиц.

Говорить лежа было трудно, но Дементьев говорил, и его слушали в полном молчании. Он сказал, что рота вчера приняла боевое крещение, но главные боевые трудности впереди.

— За нами Москва. Перед нами захваченное фашистами старое рабочее гнездо. Отбить его — все равно что зная отбить!

Коммунисту нужно в совершенстве владеть боевым оружием, но этого мало: коммунисту нужно быть пер-

вым в бою, но это тоже не все: коммунисту и комсомольцу нужно быть организаторами масс, а в армии — это значит быть креплением боевой части, тем, что ее вяжет воедино и неразрывно. Хороши наши винтовки, беспощадны штыки, страшны пулеметы, испепеляющи гранаты, крепки наши руки, бесстрашны сердца... Но есть еще оружие, оружие всех оружий — это боевая наша машина, наша рота, которая скрепляется сплоченностью, единством, спайкой, дружбой. Дружба! — Он говорил и сам радовался своим словам, только сегодня, во время ночной беседы молодых командиров, понял он то, о чем говорил. — Вспомним, товарищи, старое русское слово «дружина», — так в старину князь, военачальник, называл свое отборное войско, свою гвардию... Мы скреплены дружбой, мы — сталинская гвардия, сталинская дружина.

Хотелось ему поднять голос, произнося эти слова, но с каждой секундой тратил он силы, накопленные за ночь, и закончил почти шопотом, но все его слышали. Тишина была в землянке. Дементьев замолчал, а тишина еще продолжалась, хотелось еще его слушать.

Первым заговорил Рекстынь.

— Вот что, хлопцы, — сказал он, — на этом надо прекратить собрание. Ты, товарищ политрук, еще слабый, тебе нужно отдыхать. Отдыхай спокойно, то, что ты сказал, мы поняли. Набирайся сил, дорогой товарищ..

Как сквозь гул морского прибоя, все нарастающего, слышал Дементьев этот голос и не помнил, как перестал его слышать, как впал в сон, свинцовый сон, без сновидений.

.....
Проснулся он от грохота и спросонок подумал, что вблизи разорвалась фугаска.

— Какой вы неловкий, право. И так ему, больному, сегодня покоя не давали, — с упреком сказала сестра.

Дементьев хотел уже отодвинуть стул, спинкой которого он был заботливо загорожен от света, хотел подать голос, как вдруг сестра, совсем по-иному, изумленно ахнула и очень ласково сказала:

— Васенька, это вы?

— Я, Ириночка, — ответил голос Новодережкина. — Я вас на собрании признал. А вы меня — нет. Вот я и зашел, мы ведь тут рядом стоим.

— Как же признаешь вас... Господи, как все на вас мешковато сидит... Ведь вы освобождены были от армии.

— Так уж я устроил,— важно сказал Новодережкин. Он усаживался, стуча сапогами и грохоча винтовкой: ее-то он, наверное, и уронил, когда вошел в землянку.— Ваш пример, Ириночка, на меня очень подействовал. Это было в один из самых страшных московских дней. Я зашел к вам и узнал, что вы на фронте...

— Вам кто сказал?

— Мама ваша. Андрей эвакуирован?

— Да.

— Ну, как он? Что пишет? Они где? Во Фрунзе? Удалось развернуть театр?

— Не знаю, я не получаю от него писем.

Наступило молчание. Дементьев слышал, как недоуменно посасывает Новодережкин. В свои слова Ирина никакого живого выражения не вложила, точно они были не сказаны, а напечатаны.

— Андрей, наверное, пишет на городскую квартиру,— сказал наконец Новодережкин,— потому что — пока к нему дойдет адрес полевой почты...

— Я не дала ему адреса полевой почты, и я...— она замолчала, вздохнула.

Грише была уже знакома присущая ей особенность — этот посредине речи выразительный вздох. Они молчали, слышно было только, как побряхтывает Новодережкин.

— Я его ни в чем не обвиняю,— злым голосом сказала она,— Да и что произошло? Группа театральной молодежи не захотела эвакуироваться вместе со своим театром. Пошли в рабочие батальоны, в агитбригады, в санчасть. Правы те, кто уехал, правы те, кто остались. И я бы, конечно, молчала, если бы вы не возникли тут неожиданно, такой милый и нелепый. Андрей ведь куда здоровее вас. Гимнаст, фехтовальщик. А у вас и сердце плохое, и плоскоступие, и зрение...

— Ш-ш-ш,— испуганно зашипел Новодережкин,— я снял очки и, представьте, все вижу.

— То-то вы и сверзились в землянку.

— Ирочка, вы так громко говорите, а тут наш политрук...

— Ваш политрук в обморочном сне. Он не проснулся, когда вы тут грохотали, значит, и сейчас не проснется.

Читала я о Николае Островском и раньше не могла себе представить этого чуда. А здесь я все время вижу таких людей. Ах, Васенька! Я завидую вашей Леле: ее муж настоящий гражданин и мужчина. Не машите руками, это так. И радуюсь за ваших маленьких Андрюшу, Иру, что у них такой отец, и радуюсь, что у меня и Андрея Николаевича нет детей.

— В ваших словах, Ирочка, есть что-то неправильное и, простите меня, даже изуверское. Вот я, друг Андрюши, не только не чувствую к нему никакого отвращения, но попрежнему люблю его и даже радуюсь, что такого замечательного художника, как он, вывезли...

— Именно — вывезли. Лучше не скажешь. Хватит, Вася. Я не хочу, чтобы моего мужа вывозили. Пусть вывозят всех, но не его. Я скажу вам, о чем никому не говорила. Когда я увидела Андрея первый раз на сцене в пьесе «Декабристы», он всем — ростом, поведением, даже цветом лица — казался схож с Андреем Болконским, любимым героем моим. У него даже имя и отчество с ним одно... Видите, глупости какие, но ничего не поделаешь, — так я полюбила и так любила... Помните, Вася, что Кутузов сказал Андрею: я знаю, твоя дорога — это дорога чести. Я ошиблась, Васенька. Мой муж честный, добрый, благородный, но, оказывается, — я это только во время войны узнала, — оказывается, я хочу, чтобы мой муж был героем... Сумасбродство? Но что мне с собой делать!.. Вы к политруку Дементьеву? — вдруг сказала она совсем по-другому, спокойно, точно не она сейчас говорила так неистово. — Он спит, и, право, его не нужно будить.

— Так я подожду.

Дементьев узнал голос Забалуева.

— Я не сплю, — сказал Дементьев, отодвигая стул.

Она взглянула изумленно. Новодережкин успел выскользнуть из землянки.

— Извините, товарищ политрук, что я пришел, — сказал Забалуев. — Но есть у меня предложение, может, через вас удобнее будет довести до командира. Митя Фетисов из моего отделения принял сейчас отделение разведчиков первого взвода. Парень он ловкий, неустрашимый, да и ум у него для разведки достаточно хитрый. Но на расставании вышел у нас один разговор, и вот какое отсюда вытекает последствие. Он, значит,

будет командиром разведывательного отделения первого взвода. Так. А я командиром истребительного отделения третьего взвода. А может, лучше нам сделать, чтобы в каждом взводе у нас было одно отделение разведывательно-истребительное? А то, как ему поручил командир роты подбирать разведчиков, и сразу мне стало завидно; хочется тоже подбирать разведчиков. А он мне говорит: «Эх, Аркаша, я мечтал, что ты меня обучишь своему методу уничтожения танков».

— А у тебя есть свой метод? — спросил Дементьев, разглядывая Забалуева и любясь им. Он чувствовал себя старше Забалуева: это было приятное чувство.

— Есть, товарищ политрук, — серьезно, с достоинством ответил Забалуев. — Ведь я двадцать четыре танка подорвал. Это опыт. Вот! — и он вдруг достал из своей сумки гирию и маленький деревянный обруч. — Этот снаряд выдумал я, когда после первого ранения лежал в госпитале. Попросил — мне его и приготовили. Когда стал выздоравливать, приступил к тренировке. Сегодня я уже показывал моим: колечко подвешивается на сучок дерева, и нужно бросать в него эту гирию с разных дистанций так, чтобы она пролетала через колечко. Я попадаю с любой дистанции из десяти десять. Это и значит, что боец, который так натренирован, будет попадать именно в ту часть танка, в какую наметит попасть. В шутку я назвал это упражнение: «игра в колечко».

— Вот если бы фрицы уразумели, что это значит, когда наша молодежь стала играть в подобные игры! — воскликнула Ирина.

Дементьев изумленно взглянул на нее — не ожидал он, что Ирина может так звонко и весело воскликнуть. Глаза ее блестели, она разругивалась:

— Простите, товарищ политрук, я не выдержала, вмешалась в ваш разговор. Право, я бы сама не прочь поиграть в эту игру!

— А что, — живо сказал Забалуев, — приходите, сестрица, сегодня вечером. Я вам покажу. На фронте может всегда сгодиться. Но это — самое простое упражнение, товарищ политрук. Я имею еще ценный опыт. Я ведь так делаю: подорвав немецкий танк, обязательно, если горячка боя позволяет, в него залезу и рассмотрю, как он устроен. Ничего, я свои шестьдесят танков возьму!

— Почему же именно шестьдесят? — спросил Дементьев.

Как будто проговорившись, Забалуев сконфузился, оглянулся, но Дементьев и Ирина выжидательно-ласково глядели на него, и он решился.

— Дедушка есть у нас в селе, — сказал он. — За свою жизнь один-на-один шестьдесят медведей положил... Конечно, он и других зверей стрелял — волков, рысей и росомах, но на них он счета не вел. Маленький такой старичок. Мне еще с детства глядеть на него было завидно: вот так старичок! И все я думал: ладно, вырасту — своих шестьдесят возьму. Когда началась война, я был уже в армии. И вот как полез на нас фашист со своими танками, тут я подумал: что такое медведь? Танк — куда как солиднее! И я себе сказал: шестьдесят танков, или я к себе домой, в Усть-Покровское, не вернусь.

— Понятно, — ответил Дементьев. Он вдруг вспомнил, как вчера фашистские танкисты выскочили из танка, еще не подбитого. Испугались. Чего? Страшно, когда против пышущего огнем и смертью чудовища, вооруженного пушкой и пулеметом, выходит такой вот мальчик... Три разведывательно-истребительных отделения, по одному в каждом взводе, — это нужно подготовить! Да, мы будем бить немцев!

— С командиром я поговорю, — сказал Дементьев. — Вижу, что с истребительным делом у нас пойдет... А разведка? Ты отдаешь себе отчет, что такое разведка?

— Я без данных никогда из разведки не возвращался, — живо ответил Забалуев.

— Молодец! — с некоторой насмешливостью сказал Дементьев. — А если бы пришлось без данных вернуться, тогда что?

Недоумение и даже некоторый испуг появились на лице Забалуева, он чувствовал в вопросе Дементьева какой-то подвох. Но в чем?..

— Ты не понимаешь моего вопроса? — ласково спросил Дементьев. — Ну, вот, например, ты ушел в разведку, пробыл в ней несколько часов, а может быть, дней, подвергался опасности, лазил, лазил и ничего не узнал. А в штабе тебя ждут, каждого слова твоего ждут! Ты вернулся, и появляется у тебя соблазн сказать то, чего ты не видел. Не то что бы решил: «дай-ка я обману».

Нет. Но ведь, пока ходил, ты думал, предполагал... И вот тебе кажется, что твои мысли и предположения есть уже факты. Та сочиняешь, ты рисуешь картину, какой не было, ты сам уже веришь в нее... Но товарищи твои по твоим указаниям пошли в бой и попали впросак. Из-за твоего сочинения погибли десятки и сотни твоих товарищей. Бывают такие случаи? К сожалению, бывают.

Чтобы этого не было, нужна не только боевая смелость, которая у тебя есть, нужна другая смелость, я называю ее смелостью совести. Встань перед начальником и бесстрашными словами скажи ему правду. Начальник — живой человек. Он ждал тебя сутки, а ты принес ему шиш. Он рассердится, он может сказать: ты, Забалуев, ни к чорту не годный разведчик. Выгнать Забалуева из разведки! Что ж, иди на это. Но если не знаешь, говори: не знаю. Помни, что каждое твое слово может стоить сотен и даже тысяч жизней. Понял?

— Понял, товарищ политрук! — сказал Забалуев. — Вот так все понял!

— Все, что разведчик говорит, он должен говорить ясно: да — значит: да, нет — значит: нет. Знаю — это значит: знаю. Не знаю — значит: не знаю.

Второе, что требуется от разведчика, — это преданность делу до конца. До конца, дорогой, — это серьезное слово. Вот попал ты к фашистам. Ты будешь просить скорей этого конца, а его тебе не дадут. Тебя пытать будут, тебя замучают до того, что с ума сойдешь, но, если ты предан до конца, ты тайны не выдашь. Вот таких людей надо подбирать в разведку.

Ты пошел с энтузиазмом в армию, и сразу перед тобой оказался ясный выбор: жизнь или смерть. Здесь начинается то, что я называю разговор по прямому проводу со своей собственной душой. Вот ты попал к врагам, и тебе предстоит умереть одному, далеко от своих, в мучениях. И, может быть, даже тела твоего, истерзанного фашистами, не найдут, и мы никогда не узнаем, что ты бесстрашно держался и умер непобежденным. Но ты идешь и на это. Значит — прямой провод в твоей душе работает, ты годишься для разведки. В мирное время мы об этих проводах не думали: работала обычная гражданская связь. Но вот настала война. Гражданская связь прекратилась, и тут пришло время разговаривать по этому самому страшному, самому серь-

езному прямому проводу. А вдруг в душе человека этот прямой провод не работает? Ведь он, может, сам обнаружил это только перед лицом смерти. И вот ради своей презренной жизни он губит тысячи жизней, он предает нашу великую борьбу... Приглядывайся внимательно к тем, кого берешь в разведку. В разведке должны быть сильные, прямые, преданные натуры. Ты годишься в разведку, если идешь победить или умереть, потому в разведку можно идти только добровольно. Разведчик должен ясно отдавать себе отчет, на что он идет.

И еще... Есть у нас в роте товарищ один, коммунист и, по всему судя, хороший человек. Но он близорукий, неловкий. Он, может, от души хотел бы в разведку, но мы такого не возьмем. Сам не желая того, подведет. У него винтовка из рук валится,— сказал Дементьев и краем глаза взглянул на Ирину. Она вспыхнула и смутилась.

Забалуев ничего не ответил на все, что сказал ему Дементьев. Он только взглянул своими черными блестящими глазами. Помолчал, вытянулся, безмолвно поклонился, поднял руку к пилотке и ушел.

— Значит, он все-таки разбудил вас, когда уронил винтовку? — спросила Ирина, подходя к дивану и становясь перед Дементьевым.

— Еще бы не разбудил! Я думал, что фугаска упала.

— Значит, вы слышали наш разговор?

— Слышал,— сказал он, краснея и не отводя взгляда от ее темных и пасмурных глаз.

— Скажите... о прямых проводах в душе, то, что вы здесь говорили,— это вы в книжке вычитали? — требовательно спросила она.

— В книжке? — удивился он.— Нет... А разве вы это читали где?

— Нет-нет, но это мне знакомо, точно я думала так сама... Когда я об этом думала? — спрашивала она себя, некрасиво сморщив лицо.— И то, что Забалуев говорил об этой игре в колечко...

Дементьев молча слушал. Очень ему нравилось, как она вслух думает, строго, правдиво и неожиданно: при чем-то здесь Забалуев?.. Он хотел уже спросить ее, но она вдруг снова рассердилась, нахмурилась, вспомнила.

— А это нехорошо так потихоньку затаиваться и подслушивать чужие тайны,— сказала она.

«Нехорошо? Конечно, нехорошо,— подумал Дементьев.— Но мне нисколько не стыдно, точно так быть должно». Он продолжал глядеть в ее пасмурные глаза до тех пор, пока в них опять что-то дрогнуло. Она отвернулась и ушла, с такой силой хлопнув дверью, что некоторое время слышно было, как осыпается земля.

«Ведь если бы я не подслушал, я не знал бы, какая вы». Такой ответ придумал он, но ее уже не было.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Трое разведчиков — ефрейтор Димитрий Фетисов и два рядовых бойца — лежали в заваленном нечистотами овраге на самом краю города и ждали ночи. Поблизости тяжело и глухо шмякала сырая, бросаемая лопатами земля, иногда слышен был скрежет железа, уходящего в песок, дребезжанье лопаты, ударявшейся о камень, резкие звуки чужого говора. Это работали немцы — совсем близко, в пятнадцати—двадцати шагах...

Выбитые из пригородных деревень, они сейчас торопливо укрепляли город.

Низкие сизые тучи на закате мгновенно вспыхнули и стали погасать. Стемнело. И тогда ефрейтор Фетисов шопотом приказал обоим бойцам отправиться с донесением к командиру роты, лейтенанту Закоморному.

А он что: останется здесь? В глубине неприятельского расположения? Оба разведчика — и широкий темнолицый Галиуллин, казанский татарин, и большой румяный Стоцких, алтайский охотник, — были намного старше своего командира.

— Это, Митя, совсем не по обычаю, — рокочушим шопотом начал Стоцких.

— Кругом марш! — прошептал Митя. Его продолговатое лицо сейчас казалось очень бледным, а глаза — твердыми, как синие камешки. — Гешвинд! ¹ — подкрепил он бешеным и непонятным немецким словом свое приказание.

И разведчики послушались и уползли.

Задание свое разведывательная группа Фетисова вы-

¹ Гешвинд! — живо!

полнила. Очертание вражеской линии обороны, расстановка минометных багарей и пулеметных гнезд, расположение основных дзотов — все было известно: недаром разведчики целые сутки ползали по оврагам, огородам, пустырям и крайним дворам. Командир роты получит ясные сведения, которые помогут вести бой, может быть, и батальону и полку.

Но в то время, как они лежали в мусорном рву, и ждали темноты, чтобы вернуться к своим, Мите пришла в голову мысль, которую он сначала тут же отбросил, до того она показалась ему неосуществимой и дерзкой.

Немцы с особенной тщательностью укрепляли самый крайний, окруженный садом и большим двором, обвитый хмелем, побуревший от времени кирпичный дом с деревянным мезонином; дом этот стоял над оврагами, а за ними начинались пригородные неубранные капустные и картофельные поля. Леса — сумрачно-зеленые еловые и ярко-багряные или дымно-сквозистые лиственные — видны были отсюда; кое-где, неправдоподобно-зеленая, лежала озимь. Значение этого дома в системе немецкой обороны было очень велико: овраги стали естественными рвами, немцы соединяли эти рвы и, где нужно, углубляли их, строили дзоты, пробивали бойницы в стенах дома и в низкой кирпичной оgrade, которая окружала усадьбу.

Пройдет несколько часов, и дом этот в руках немцев будет бастионом, за который придется платить сотнями драгоценных жизней. Отсюда можно будет минометным и пулеметным огнем покрывать все эти огороды и поля, простреливать все близлежащие рощи... Нужно захватить этот дом... Невозможно? Дерзко? Но именно это слово — «дерзость» употребил командир роты лейтенант Закоморный, беседуя с младшими командирами. «Дерзко задумай, трезво выполни», — так сказал он. И неужто отказаться от этой мысли, не прикинув трезво и деловито, как ее осуществить? Невозможно? А если невозможное обдумать по-деловому, «трезво», как сказал командир, и обернуть возможным? Как обрадуется (и позавидует!) дружок Аркаша Забалуев! Как взглянет на него политрук! И какое слово, особенное слово скажет ему сам командир!

Час за часом лежал Митя в этом овраге, служившем свалкой. Немцы проходили в нескольких шагах —

и не замечали его среди мутной пестроты тряпья, рваной обуви и консервных банок. Зловонная жижa насквозь пропитала его одежду, белье, добралась до тела: он весь продрог. И эта влажная холодная вонь так его измучила, что ему все вспоминались страшные картинки на сумрачных страницах большой книги, перелистанной в детстве,— мучения грешников в аду, тем более ужасные, что они бесконечны. Но он замер, окаменел, он весь превратился в одно чувство. Терпением можно было назвать это чувство, но это напряжение нервов, трепет натянутой тетивы, неподвижность зверя перед прыжком, охотника перед выстрелом,— нет, не уместалось все это в слово «терпение»...

Иногда немцы, громко разговаривая, проходили мимо, и он сжимал гранату. Он понимал почти каждое ненавистно-чужое слово их разговора, хотя в школе еле-еле вытянул на «хорошо» по немецкому языку. На фронт он взял с собой маленький немецко-русский словарь. И когда они, группа ополченцев с московского завода имени Латышева, пробивались из немецкого окружения, получилось так, что лучшие данные из разведки приносил он, Митя Фетисов. Он мог пролезть в любую лазейку, мог, забравшись в глубь немецкого лагеря, часами лежать, слушая немцев. С начала войны его внимание все время было обращено к немцам — внимание враждебное, но постоянное и страстное. Порою он даже мысленно произносил немецкие слова — особенно вот, как сейчас, когда мысль его была обращена к врагам; и он сжимал гранату, готовый в случае, если его откроют, швырнуть ее — и потом: шнелль! штиль! и пусть они будут зухен — зухай, зухай! — а я буду векь¹. Теперь он сдал бы немецкий язык на «отлично»...

Возможно, что зловоние выпребной ямы ограждало его, немцы сюда не сунулись, и он остался незамеченным.

Дождавшись черной осенней темноты, Митя дополз до заветного дома и стал осторожно оползать кирпичную его ограду, но она всюду была непроницаема. Так дополз он до угла. Вдруг из-под самой стены выскочила белая кошечка. Она испуганно фыркнула и пропала так же бесшумно, как показалась.

Сестра Митина, Клава, любила кошек. Она была не

¹ Шнелль — скоро; штиль — тихо; зухен — искать; векь — прочь.

из тех девочек, которые растут, как мальчишки, лазят по деревьям и заборам, дерутся и любят собак и лошадей. «Ленты-кружево-ботинки» — называл ее Митя и с презрением относился ко всем предметам Клавиного обихода — одуряющей игре в камешки, туфелькам на высоких каблуках, туалетным безделушкам и гадалочной колоде карт... При других обстоятельствах Митя не считал бы нужным обратить на эту беленькую кошечку никакого внимания, но сейчас его настороженная мысль мгновенно кинулась по кошачьему следу.

Хозяев, конечно, нет: ушли или убиты немцами. Но кошачий рок, привязанность к месту, держит кошку при доме. Конечно, есть у нее свой тайный лаз со двора, чтоб ночью можно было уходить по своим кошачьим делам, может быть, на охоту...

Митя полз вдоль стены, ощупывая каждый кирпич — и нашел этот лаз: сквозь стену здесь пробивался ручей, естественный сток дождевой воды. Запустив руку в отверстие между кирпичей, Митя обнаружил, что они расшатаны. Ограде этой, наверняка, было несколько десятков лет, и все-таки Мите не мало пришлось повозиться, раскачивая кирпич за кирпичом, — кладка была основательная. Он работал неистово и бесшумно, один в этой ночной враждебной черноте. Порой белая струя проекторного света подымалась от земли и упиралась в низкие клубящиеся тучи. Погасала — и ночь становилась еще чернее. Потом, ближе к утру, вдалеке начался гул и грохот. На севере, северо-западе все вспыхивали красные угрюмые огни: там что-то началось, с той стороны захваченного города, а здесь все было тихо.

К концу ночи Митя в кровь разодрал пальцы, но смог пролезть в образовавшееся отверстие. Ноги его еще оставались по ту сторону ограды, а голова наткнулась на что-то влажное. Он ощупывал какие-то скользкие сучья, прелую листву, землю. Он осторожно разгребал, стараясь, чтоб не затрещало и не зашуршало у него под руками. Это был самый опасный момент. Не сразу понял он, откуда взялся этот мусор, но потом сообразил — все это нанесли дождевые потоки, пробившие дорогу сквозь стену. Так образовалась довольно большая куча, она представляла собой естественную маскировку, лучше которой не выдумаешь. Медленно раздвигая особенно опасные, хрусткие верхние сучья,

Митя сделал дырочку, через которую можно было на-блюдать весь двор, большой, темный, наполненный глуховатыми шумами, шагами, приглушенными голосами... Прошло некоторое время — и он разглядел кучи земли, людей, тянущих бревна. Они то будто бы проваливались сквозь землю, то вновь из нее появлялись. Начинаясь рассвет, все медленно выступало из темноты. Митя видел, как мирная усадьба превращается в крепость: ходы сообщения снизу, из подвала дома, направлялись по радиусам во все стороны двора, траншея опоясывала кругом всю усадьбу вдоль ограды, сквозь которую он пролез, — эта ограда должна была, очевидно, служить первым поясом огневых точек этой маленькой, но грозной крепости. Подземные ходы сообщения были перекрыты несколькими накатами бревен и сверху засыпаны землей... Неподвижный, как камень, забыв о себе, Митя наизусть запоминал расположение огневых точек, направление ходов сообщения. Но светало все сильнее, начиналось белесое утро, ему еще предстояло пробраться к своим.

Осенние утренники всегда кажутся особенно холодными, и от холода, от голода, от волнения у Мити зуб на зуб не попадал. Заложив лаз кирпичами, словно бы его тут и не было, он глотнул из походной фляжки дерущей глотку холодной, но душистой водки, заел ржаным хлебом и отправился в опасный обратный путь...

II

Дементьев встал с постели и объявил себя здоровым, как только его известили, что рота получила приказ занять исходное к бою положение. Ирина сухо-официально возразила: преждевременно поднявшись с постели, он мог замедлить ход своего выздоровления. Ничего ей не отвечая и склонив голову так, чтобы она не видела его лица, он затягивал ремни на своем ватнике. Во всем этом было смущение, упрямство и несомненное ребячество... Он вдруг поднял голову: в глазах его была неожиданная и настойчивая серьезность. Он, видно, решил что-то сказать ей, но она не стала его слушать и ушла. Так и не пришлось ему попросить у нее прощения за то, что он подслушал ее разговор с Но-

водережкиным, а сколько раз он собирался... И попроситься толком не смог, а когда еще придется увидеться, да и придется ли?

Как же хорошо было выйти в ненастное, белесое утро из пропахшего керосином подземелья, в красновато-мерцающем свете которого он пролежал эти дни. В отдалении все время слышен то короткий острожно-коварный прошив пулемета, то быстрое нагромождение ружейных выстрелов, то взвизги разрывающихся мин. И все же как неподвижно и тихо стоят ели!

Быстро шел Дементьев по утоптанной тропке в глубь леса, — там в лесной сторожке помещалась канцелярия второй роты, его роты. Планшетку он держал раскрытой и порой взглядывал на карту, интересно — сумеет ли он найти роту, руководствуясь только картой? Голова его еще кружилась немного, и при крутых поворотах где-то вспыхивали искры, от которых внутри головы больно покалывало. Но как радостно было ощущать себя по-фронтовому подобранным, итти, оглядываясь и прислушиваясь, держать наизготовку немецкий, добытый в бою, автомат, казавшийся тяжелым после болезни, — горделивое чувство вызывала его тяжесть. Главное, что отхлынули те тревожные и беспокойные мысли, во власти которых он был, когда лежал в постели и, шаг за шагом перебирал весь ход войны и свое участие в ней. Военные действия все время переносились в глубь страны, на восток, — и вот он участвует в сражении, которое происходит в семидесяти километрах от Москвы! Но как же так — в семидесяти! — с ужасом спрашивал он, — и снова перебирал все сначала: в первых числах сентября попал он на фронт. Они сражались и были окружены; повернули и пошли на восток, чтоб соединиться со своими. Но, может быть, не нужно было поворачивать? Может быть, нужно было драться до конца и погибнуть? На этот вопрос он не мог ответить — ни оправдания, ни обвинения не слышал он в душе своей, только молчание. Драться, бить немцев — таков был смысл этого молчания. Пустяки, что голова кружится, пустяки — эти большие искорки сбоку, ведь вот он может итти, может ясно соображать и держит на руке свое дорогое, тяжелое, в бою добытое оружие.

Он вышел к лесной сторожке. Около нее стояли запряженные подводы — разномастные и пестрые лошади,

как это всегда бывает в обозе, но все хорошие, веселые коньки. Шла спешная укладка драгоценных ящиков с патронами, гранатами и минами, и без старательного рапорта старшины Касымова было ясно, что патронный пункт передвигается на новое место.

По чисто выбритому желтовато-смуглому лицу Касымова бегут капельки пота: упарился человек.

— Значит, на поправку, товарищ политрук? Хорошо,— шопотом добавил Касымов, окончив рапорт; приятно видеть радость на его лице.

— Наступать ведь будем, соображаешь? — в тон ему, тоже шопотом, спросил Дементьев и выслушал подробный рассказ о том, как Касымов думает снабжать боеприпасами и горячей пищей роту в предстоящем наступательном бою.

— Главное — чтобы с командиров заботу о патронах во время боя снять, я буду об этом думать! — сказал он и, проследив за направлением взгляда Дементьева, перешел на другой, добродушно-веселый тон. — Это вот санинструктор наш новый, Мокшанцева Катя... то есть Екатерина Максимовна.

Невысокая девушка в шинели, вся подобравшись, забавно топая, подошла крепким шагом, за три шага откозыряла и отрапортовала. Рапортовать было, собственно, не о чем, и они поздоровались.

У Кати была горячая, жесткая и маленькая рука. Шинель очень ладно сидела на ней и крепко была заправлена под ремень: видно было, что девочка прошла серьезную строевую выучку. Белая меховая шапка-ушанка хорошо выделяла ее молодое взволнованное и нежное лицо: бледный румянец на широких щеках, светлые, с рыжеватинкой, тонкие брови, веселые ноздри, маленький смелый рот — все точно кончиком акварельной кисточки наведено, все молодо, чисто. В ее небольших, очень ярких, светлозеленых глазах было застывшее выражение торжественности, благоговения, Дементьеву было это смешно и, хотя он старался подавить в себе это чувство, приятно.

«Красивая девочка. Но мне это не нужно... — И тут же ему вспомнилась Ирина — ее быстрые, легкие движения. — Вот что мне нужно, но и о ней сейчас не надо думать».

Касымов довольно сбивчиво рассказал Дементьеву то, что знал об общем положении: мерный гул и грохот, доносившийся слева, означал артиллерийскую подготовку, одновременно начали наступать главные силы дивизии. Город будет взят оттуда, с левого фланга, а задача полка, в который входит их рота, — сковывать противника на правом фланге. Задача роты — взять основую рощу и в ней закрепиться. Ночью Закоморный вместе с командирами взводов ходил на рекогносцировку. Установлено расположение минных участков врага, — сейчас многие уже разминированы, — намечены пути наступления для каждого взвода.

Закоморный в штабе батальона. Рота принимает присягу. Дементьев уже видел под густыми ветвями громадных елей, вершины которых таяли в тумане, принимающих присягу бойцов. Они были построены по отделениям, одно отделение недалеко от другого, и слова присяги раздавались то ближе, то дальше, и снова повторялись. Когда в одном отделении принимающий присягу боец громко читал середину, в соседнем отделении другой голос начинал читать первые слова, а издаleка глухо слышен был торжественно грозный конец присяги. Одни читали медленно и раздельно, другие торопливо и взволнованно, одни, не очень грамотные, старательно выговаривали слог за слогом, а рядом в то же время слышался интеллигентный, свободный выговор. Слова присяги еще раз и еще раз повторялись, каждый раз другим голосом и снова те же, точно для того, чтобы войти в самую глубину души каждого из этих неподвижных, слушающих присягу людей, чтобы стать их плотью, их жизнью. Иногда на переднем крае возникала трескучая перестрелка, характерные визгливые звуки летящих и взрывающихся мин, но люди продолжали стоять спокойно-непреклонно, продолжали произносить слова присяги, которые снова выступали с мерной силой морского прибоя. И, слушая торжественный гул, который шел по лесу, вглядываясь в эти взволнованные и серьезные лица, Дементьев становился спокойней. «Да, вот и этот человек маленького роста, головастый, пожилой, москвич-доброволец, наверное сапожник — почему сапожник? — и этот широкоплечий, крепкий, рыжеватый, — какой у него чистый, красивый, на «о», выговор! — может быть, колхозник или рабо-

чий с какого-то заброшенного в лесную заволжскую глушь завода, и те, что стоят и ждут своей очереди, и те, что уже свое сказали, у всех у них на душе то же, что и у меня...» И, точно ища подтверждения тому, что происходило у него в душе, Дементьев то взглядывал вверх, видел ушедшие в белесый, медленно плывущий туман вершины елей, то оглядывался и видел ярко-зеленый, живой и радостный среди желтизны и серости кусок озими — непобедимая, неистребимая надежда родины, ее суровая скорбь, ее негодующая мощь. Хотелось каждого, принявшего присягу, проводить еще какими-то словами. Но парторг Рекстынь, неслышно переходивший от отделения к отделению, озабоченно покачивал головой, торопил. Принявшие присягу отделения быстро проходили в глубь леса. «Поздравляю вас с принятием присяги!» — говорил Рекстынь каждому бойцу, пожимая руку, и человек отходил взволнованный и довольный. Никаких слов больше не требовалось, все было сказано в самой присяге.

— Я почему торопил... — оправдываясь, говорил Рекстынь, когда все отделения разошлись по лесу и стало тихо, — командир велел поскорей кончать и расположить взводы боевым порядком. Разведка впереди, там Забалуев, Фетисов... — И вдруг точно тень покрыла мужественное, широкое, со светлыми усами лицо Рекстыня. — Эх, товарищ политрук! Забалуев — он цел! А вот Фетисов... ушел вчера в разведку и... не вернулся.

Дементьев ахнул. Он очень хорошо запомнил Фетисова с того первого раза в бою, когда они вместе были окружены немецкими танками: продолговатое бледное мальчишеское лицо и особенный взгляд темносиних твердых, настойчивых глаз.

— Нет. Нет... Он — живой, — торопливо сказал Рекстынь, точно боясь, что Дементьев, подумав о смерти Фетисова, может накликать ее. — Сегодня разведчики вернулись. Услал их Фетисов с донесением, а сам остался. Сведения, командир сказал, они очень ценные доставили, но беспокоимся все мы, конечно, чего это наш Дмитрий Михайлович придумал... Как бы не пропал!

К опушке леса прибыл ротный обоз с Касымовым и санинструктором, с писарями, санитарями и каптенармусами. Дементьев передал через Касимова и Рекстыня командиру, что он пройдет по расположению роты:

свойственное ему беспокойство, критическое и деятельное, снова начало его грызть. Рота жила эти дни без него — как жила? все ли сделано, как надо? Хотелось все самому перетрогать, перепробовать. И он вспоминал прошлый бой. Рота с честью выполнила задачу, но на память ему приходили только моменты смята, бестолковой и тревожной беготни, растерянность совсем необученного Новодережкина. Авдуг среди бойцов есть еще такие же? Не забыть бы того, который бросил винтовку: зовут его Гушин Анисим, — истопник одной из бань... Дементьев перебрал в уме всех тех слабых людей, которых он во время прошлого боя уговаривал, которым грозил...

Середина леса еще не проснулась, здесь было зелено-сумеречное, сонное молчание. Дементьев бесшумно ступал по скользкому хвойному настилу, но тихий оклик караульного прозвучал для него неожиданно и заставил его вздрогнуть. Дементьев сказал пароль, караульный, простодушно-весело улыбаясь, вышел из-за густых елей.

Здесь был прошлогодний лесной завал. Среди серо-рыжей массы стволов и поблекшей хвои расположились отделения первого взвода; маскировка была соблюдена так тщательно, что, только подойдя вплотную, Дементьев разглядел бойцов. Увидев политрука, люди точно встряхнулись, оживание пробежало по всем лицам, но каждый оставался на занятой позиции: за стволом дерева, за пенком или в окопчике, свежеврытом и замаскированном. Штыки примкнуты, руки в любой момент готовы схватить винтовку.

— Как здоровье, товарищ политрук? Бледный... Еще бы вам отдохнуть.

— Нет ли свежей газеты?

У Дементьева были с собой вчерашние газеты, несколько экземпляров армейской и один «Правды». Вышел шуточный короткий спор — Дементьев мог здесь оставить или «Правду» или армейскую газету, у него хотели хитростью «выцыганить», как он это назвал, обе газеты. Он оставил армейскую, а по передовой «Правды» тут же провел беседу. Коротка была эта беседа — очень ясен был грозный смысл передовой; враг рвется к Москве, надо его остановить. Люди слушали и время от времени поглядывали в черно-зеленую таинственную темноту леса: там, не то на опушке, не то в кустарниках,

должно было находиться боевое охранение, а за ним — немцы. Но все было тихо на этом столь близком и столь таинственном переднем крае — и, лишь подчеркивая эту странную тишину, доносился издалека гул боя, идущего на другом участке, с другой стороны города.

И Дементьев шел от отделения к отделению, от одного взвода к другому. Все было в порядке, все собрано, все готово к бою, люди знали боевую задачу. Только в одном из отделений боец, с глазами, завязанными белым полотенцем, собирал пулемет и кривил рот мучительно и торжествующе: собирать вслепую было трудно, но он собирал, и на всех лицах был детский азарт, особенно выразительный у пожилых бойцов. Упражняться в разборке и сборке пулемета сейчас, когда рота могла в любой момент получить приказание о вступлении в бой, было недопустимо и неразумно. Но Дементьев вдруг увидел того самого Анисима Гущина, сбросившего винтовку. Сейчас, стиснув в своих больших темнобагровых руках эту винтовку, он, приподняв брови и полуоткрыв рот, следил за осторожными движениями виртуоза, собиравшего пулемет. «Нет, Гущин больше не бросит винтовку».

Отозвав молоденького сержанта, командира отделения, и сделав ему выговор за несвоевременную разборку пулемета, Дементьев отошел прочь.

— В наступлении на одном месте задержаться — смерти ждать. — Это говорил Нолдин.

Голос неторопливый, слова медлительны, но как твердо ставятся они одно за другим. Опершись на локоть и положив на полусогнутую руку винтовку-самозарядку с таким бережным расчетом, чтобы затвор лежал не на земле, а на толстом рукаве шинели, Нолдин строго щурил узкие, в пушистых белесых ресницах, глаза на бойцов своего отделения. Увидев, что подошел политрук, он вскочил.

Дементьева очень интересовал этот человек — Нолдин Иван Ефимович. С начала войны на фронте, был два раза ранен. По происхождению мариец, он работал на лесопильном заводе и был там инициатором стахановского движения. Закоморный успел до нового боя провести присвоение Нолдину звания ефрейтора — треугольник уже четко выделялся на зеленых петлицах потрепанной, но аккуратной шинели Нолдина...

— Ночью сегодня командир роты беседовал с нами, командирами младшими, а я эту беседу бойцам перекладываю,— сказал Нолдин Дементьеву.— О штыковом бое.— И Нолдин опять круто повернулся к бойцам:— Умей твердо держать винтовку! — Упруго подпрыгнув и весь напружинившись, Нолдин показал, что это значит — твердо держать винтовку. — Твердо держишь — метко ударишь. Слабо держишь — фашист выбьет ее из рук твоих — и ты погиб. Твердо держи винтовку во время удара, и, даже если враг отбил твой удар, штык твой хоть и не сердце — так кишки порвет ему. Все равно — сдохнет, собака...

Сморщившись, Нолдин сплюнул горькую слюну ненависти, точно враг сдыхал уже там, куда он плюнул...

— Сила требуется, ловкость требуется,— вздохнул кто-то из бойцов.

Нолдин живо повернулся в ту сторону, откуда раздался этот сомневающийся вздох: повернулся не только своим скуластым, нежно-веснучатым, чисто выбритым лицом, но и всем своим развернутым корпусом, грудью и плечами.

— Сила? — переспросил он. — Сила требуется обыкновенная. Ведь на то, товарищ, и штык дается, что каждый человек, даже самый слабенький, оборачивается в силача. А ловкость рождается от обучения. Упражняйся больше — и станешь ловок.

— Смелость нужна, друзья,— авторитетно сказал Николай Федорович Моторин.— Если ты весь сжался, лезешь вперед, а сам жмуришься и не видишь, куда штык суешь,— конечно, тебе капут! — Моторин очень похоже передразнил такого жмуращегося, судорожно сжавшего винтовку и нивестя куда ее сующего бойца.

Все засмеялись.

— Штык граненый — товарищ неизменный,— нежно сказал Нолдин.— Мне, товарищ политрук, по душе штыковой бой, потому что тут сходишься с проклятым грудь в грудь, сам видишь, как ты его убиваешь. Штыковой бой дает преимущество смелому над трусом, а ведь мы их смелее. Только подлостью берут! — сказал он с презрением и ненавистью.

Чем дальше шел Дементьев по расположению роты, тем спокойней и тверже становилось у него на душе. Одно и то же слышал он и в шутках, и в молчании, и

в осторожных взглядах, бросаемых в глубь леса. Одно и то же значил и тот урок боевой подготовки, который давал Нолдин, и это, такое несвоевременное, занятие по сборке пулемета с завязанными глазами.

Окружив себя дозорами, расставив впереди секреты и направив разведку в самую глубину расположения неприятеля, рота ждала сигнала к наступлению.

Проходя по отделениям третьего взвода, который был в сторожевом охранении, Дементьев вдруг понял, что рота со времени прошлого боя основательно пополнена. Он вместе с этим взводом участвовал в прошлом бою и потому отчетливо замечал каждое новое лицо. Здесь его встречали особенно приветливо.

— Это наш политрук, — объясняли новичкам «старожилы» взвода. — Опять с нами, товарищ политрук, пойдете?

Увидев Новодережкина, Дементьев обрадовался, хотя тут же спросил себя: «Что мне этот человек? Чему я радуюсь?» Новодережкин был спокоен, чисто выбрит. И Дементьев пожалел его, точно родным ему стал этот смешной человек, — ведь и правда, пожалеть его стоило: по близорукости и нерасторопности шансов уцелеть в бою у него было меньше, чем у любого другого бойца.

Новодережкин был еще потому особенно мил Дементьеву, что напоминал об Ирине, но о ней нельзя было думать сейчас.

Дементьев повернул обратно — в сторону командного пункта роты.

Подходя к одному из отделений третьего взвода, он еще издали услышал, как глуховатый голос читает что-то. Чтение прекратилось, как только подошел политрук. Он приказал продолжать. Смущенная улыбка прошла по интеллигентному молодому лицу чтеца. Дементьев знал его, — это был Павловский, москвич-доброволец, по профессии, кажется, геолог. Почему-то он не решался возобновить чтение и смущенно перебирал страницы маленькой сильно потрепанной книжки.

— Продолжайте! Продолжайте! — одобрительно-настойчиво сказал Дементьев, и Павловский, покачав головой, точно сам себя упрекая, возобновил чтение.

— «Черная девушка бесшумно соскользнула с борта в воду, которая была такая теплая и такая плотная, что

только бодрящей соленостью своей отличалась от молока. И вот девушка была свободна. Только вода, бесконечная, гладкая вода океанского штиля, мерно вздымающаяся и плавно опускающаяся вода была вокруг, и когда девушке становилось одиноко, она взглядывала на звезды, крупные, как ромашки...

Дементьев взглянул вверх. Неподвижные вершины елей уходили высоко в туман и таяли там. Сырой, напоенный запахом влажной листвы, холодный ветерок тихо обдувал лицо Дементьева и лица бойцов, и на всех этих лицах, таких разнообразных, было одно выражение: все были увлечены зрелищем какого-то далекого тропического океана, по которому плывет неведомая девушка-негритянка, бегущая от неволи. Спасется ли она, отважная, одна между звездами и океаном?

Дементьев спрашивал себя, полагается ли перед боем читать о таком никакого отношения к войне не имеющем предмете, и думал, что судьба этой девушки имеет какую-то связь с судьбой и Павловского, и каждого из бойцов, слушающих о ней, и его, Дементьева. Но вдруг тихонькие свистки, — раз, два, три, — раздались слева, и все, о чем думал Дементьев, унесло точно ветром: эти свистки означали — вперед, бой начался. Командир отделения, кудрявый русский сержант, уже подал команду и оглянулся вопросительно на Дементьева. Дементьев кивнул одобрительно головой, и, взяв винтовки наизготовку, люди пошли вперед. Один боец, быть может, случайно, оглянулся на политрука, стоявшего в нерешительности, и, поймав на себе этот взгляд, Дементьев двинулся с отделением. Ему не следовало сейчас идти в бой. Разговаривая о прошлом бое, Закоморный ласково упрекнул его: «А ты вперед суешься, Грыць». У них тогда был долгий и обстоятельный разговор о том, как они будут друг другу помогать в будущем бою. Но во взгляде бойца Дементьеву почудился вопрос-упрек, — и он пошел вместе с отделением.

Тишина, только хвоя хрустит под ногами... тишина. Снаряжение так пригнуто, что ничто не звякнет, только вздохнет порой кто-либо из бойцов или глухо откашляется. Тишина. И вдруг впереди, совсем близко — торопливо прогремели один за другим несколько выстрелов, раздался протяжный стонущий крик, и сразу

стрельба пошла по всему лесу. Этот переход от сосредоточенной лесной тишины к горячечной стукотне боя был так резок, что отделение остановилось, некоторые бойцы легли, другие переглядывались.

— Встать! — скомандовал тихо командир отделения, и те, кто лег, встали. — Не было команды ложиться! Вперед! — сказал он; удивительно, как ясно слышен был его голос среди стука и грохота начавшегося боя.

Отделение еще не успело тронуться вперед, как вдруг знакомый, отвратительно-долгий визг заставил Дементьева невольно вздрогнуть: над ними одна за другой летели мины и падали где-то за их спинами — одна, другая, третья, четвертая... без конца.

— Видите, товарищи! — крикнул сержант, когда минный налет прекратился. — Немец бьет по тем местам, откуда мы ушли. Вперед, товарищи! — сказал он и точно зажег людей этим коротким, как толчок, словом.

На лицах бойцов Дементьев видел сейчас то же, что ощущал сам: восторженное напряжение всех сил, ясность ума, легкость и собранность всех движений.

Сержант время от времени оглядывался. Дементьев близко видел это озабоченное и веселое молодое лицо и каждый раз кивал ему одобрительно. Они ускоряли шаг. Выстрелы трещали все ближе, и пули с опасным медлительным свистом летели на уровне их голов, их плеч.

Вдруг все стало светлее, ярче, они выбежали на опушку леса. Впереди за густым красновато-бурым прутьем голого кустарника виднелись тонкие желто-рыжие зеленоголовые сосны... Дементьев торопливо сверился по карте: эта роща была занята немцами.

Отделение ползком пошло между кустарников — вперед, туда, где видны были высокие стволы сосен, позади которых клубился тускло-серебряный утренний туман и становился все светлее. Там были немцы. Дементьев опустил на землю и пополз вместе с бойцами. На секунду он вспомнил выражение упрека на лице Закоморного, но тут, по коротенькому свистку сержанта, нужно было дать залп — и снова, возможно быстрее, ползти вперед. Пули летели все чаще, так часто, что об этом уже не надо было думать; кто-то крикнул, застонал, кого-то ранили, но и об этом не нужно думать — подберут санитары, вперед, вперед! Путья били

Дементьева по вспотевшему лицу, под коленками было влажно, вверху над голыми прутьями кустарников порою мелькало яркое голубое небо. Но запаха земли уже не было слышно, остро пахло порохом и кровью; покрывая треск ружей, охватывая его, откуда-то сзади протяжно ухал миномет. «Это наш миномет. Еще, еще, а ну, наподдай!..» Мины рвались где-то близко, где-то совсем близко слышны были ненавистные, чужие немецкие выкрики. «Нарочно кричат, себя подбадривают», — подумал Дементьев.

Рядом с собой он увидел вдруг чьи-то длинные, в запачканных обмотках, ноги. Догнал — и узнал Павловского. Глаза геолога блестели, рот кривился.

— Эх, товарищ политрук, — сказал он почему-то шопотом, хотя шопот как раз был совсем неуместен среди грохота и треска. — Ведь я охотник, меткий стрелок — геологу без этого нельзя... А тут подстрелят, и даже знать не будешь, убил ли ты хоть одного... — и вдруг перебил себя: — ш-ш-ш, — замолк, застыл.

Дементьев, повинувшись этому предостерегающему звуку, тоже остановился. Его поразило яростное лицо Павловского, его устремленный на мушку глаз: Дементьев взглянул по направлению его прицела, но в этот момент у самого его уха ударил выстрел, и Павловский, вскочив, кинулся вперед. Дементьев побежал за ним. Между кустов лежал немец, его рука, держащая автомат, дрожала, дрожала... Павловский обернул к Дементьеву свое торжествующее лицо:

— Наповал! — крикнул он. — Ура-а-а!...

И вдруг это веселое, вылетевшее из торжествующего сердца Павловского «ура» стало все усиливаться и зазвучало отовсюду. Из кустов вскакивали люди и с винтовками наперевес побежали вперед. Все кричали «ура». Это «ура» уже подхватили соседние отделения. Недоуменно оглядываясь, стоял Павловский над своим немцем — и вдруг, махнув рукой, кинулся вслед за товарищами, снова крича «ура».

Стоны, яростный рев и вой, ругательства, русские и немецкие, ослабление стрельбы, — как всегда при рукопашной... Кинуться туда! Но Дементьева кто-то схватил за ремень. Это был Закоморный.

— Ты здесь? Опять в драку лезешь? Идем отсюда, ты мне нужен! Здесь и без тебя все ладно пойдет!

Молодец Груздев — хорошо выбрал момент для штыковой атаки!

— Почему выбрал? Он и не выбирал совсем... — недоуменно сказал Дементьев. — Да ты куда меня тянешь? — спросил он, так как Закоморный во время этого разговора, взяв Дементьева за ремень, старался отвести его куда-то.

— Нужно, Грыць, нужно! Посоветоваться нужно, Фетисов вернулся.

— Вернулся? Здорово! Ну, как он?

— Грязный, вонючий, как золотарь. Вымыли, переодели. Касымов его кормит сейчас. Не зря он там оставался. Он такой ход нашел — я по карте тебе покажу. Маленьким отрядом просочиться в тыл, внезапным нападением укрепиться в одном пункте — и сразу в дамки.

Лицо Закоморного горело ровным и грозным светом, рука дружелюбно и сильно держала Дементьева за ремень.

— Нашел он одну щелочку, кошачий лаз в стене... Нет, мало сказать, нашел — не случайно нашел, а искал, как пес охотничий, вынюхивал слабое место в фашистской обороне. Соображает хорошо... Дерзко соображает. Ведь, скажем, мы выполним нашу задачу — возьмем эту рошу и в ней закрепимся. И сразу мы под огнем их дзотов, которые они строят по всей обращенной к нам окраине города. А если мы еще до занятия роши важнейшее укрепление из их системы выхватим?... Даже не надолго выхватим... Удар по тылу той группы, которая сидит в роше, — это будет раз. Дезорганизация и ослабление огня их главной линии, — это два. И, наконец, — сказал он, подняв палец, — это действие в глубь их расположения — неожиданное действие, — сказал торжественно и, очевидно, не воими, а книжными, но наизусть вытверженными словами.

— А ты не думал, Филипп, что эта операция выходит за пределы задачи, поставленной нашей роше? — спросил Дементьев.

— Думал! — серьезно ответил Филипп. — Очень даже думал. Но, первое, я об этих действиях сообщу сразу же в штаб батальона: или Нахимов (фамилия командира батальона была Нухимов, но его называли Нахимовым) скажет: отставить, или скажет: действуй, ядрена кочка. Я думаю, он скажет — действуй...

— Но ведь задача-то, поставленная нашему полку,—сковывать противника. Город-то будут брать с той стороны... — продолжал спорить Дементьев.

— Да я что? Разве я собираюсь город брать?—спросил Закоморный и вдруг замолчал.—Ротой город не возьмешь! — сказал он, вздыхая.— А был бы у меня полк! Да я шучу, Грыць, я шучу,—сказал он, и его сильная рука, все еще державшая Дементьева за пояс, ласково и сильно тряхнула его. — Сковывать! А вот мы и скуем, так что не вырвутся.— Он вдруг засмеялся.— Ты бы видел этого Митьку Фетисова... Сидит в подштанниках, промерз, зуб на зуб не попадает, лицо синее, ведь двое суток не спал. А сам все свое — чтоб никому другому, а именно ему это дело поручить. Что ж, пусть действует!

Закоморный вдруг замолчал, остановился, прислушался.

Звуки рукопашной схватки оборвались и сменились перестрелкой, беспорядочной и оживленной. Она отдавалась, она уходила.

— Груздев в сосновую рощу ворвался! — сказал Закоморный. — Крепкий командир — как у бульдога хватка! И молодец! Сумел выбрать момент для рывка:

— Да он и не выбирал, Филипп. Это — так чудно, точно само собой получилось.— Дементьев рассказал, как Павловский застрелил немца, как его нечаянное «ура» было подхвачено сначала отделением, потом взводом...

— Так вот оно что... — протянул Закоморный.— То-то Груздев, мимо меня пробегаая, крикнул: «Молодцы первое отделение, в штыки пошли!» И сам во всю глотку: «Ура!» Что ж! Значит, сумел подхватить. А я как раз к нему шел подсказать, чтоб вперед бросок делал...

Они переглянулись. Боевая дерзость Фетисова, нечаянное и так во-время пришедшее «ура» Павловского, как искра солому, зажегшее взвод... Наверное, и Дементьев, и Закоморный, оба об одном и том же подумали... И, переводя свое восхищение и волнение на привычный язык сводки, которую вечером нужно будет отослать в штаб батальона, Дементьев сказал:

— Высокий наступательный порыв, Филипп, у нашей роты.

Закоморный кивнул головой, на лице его было раздумье, строгость.

— Нам, командирам, надо, чтоб этот порыв даром не пропал!

III

Груздев прислал донесение — он ворвался в сосновую рощу, занял передовые немецкие блиндажи. «Закрепляюсь. Немцы контр-атакуют», — торопливо писал он.

Закоморный взял с собой четверку автоматчиков и пулеметчика с ручным пулеметом и сам бросился туда. Закоморный постоянно имел при себе группу бойцов из самых стойких, смелых, смелых и выносливых людей, вооруженных автоматами и ручными пулеметами. Группа эта иногда уменьшалась до трех, иногда увеличивалась до восьми: командир в ходе боя посылал из своей группы одного, двух или трех человек на тот или иной участок расположения роты и был уверен, что поручение его будет выполнено в точности и в соответствии со сложившейся там обстановкой, все равно, как если бы он сам там был. Когда наступал решающий момент боя, Закоморный вместе со всей своей группой был в том месте, где бой решался: поддерживая удар, делал его еще сокрушительней, увлекал примером, а в случае возникновения паники — беспощадно ее пресекал. Так управлял он боем — не только приказом, но и силой оружия влияя на ход боя.

И Дементьев поражался и восхищался, как осторожные, как бы ошупывающие действия Закоморного вдруг сменялись резкими и быстрыми ударами.

Бойцы, находившиеся при командире, как бы проходили командирскую учебу: Закоморный, если позволяла обстановка, все время учил их, да и они сами все время у него учились. Если в бою выбывал командир взвода или отделения, Закоморный всегда имел возможность кого-либо из своей группы поставить командиром — сначала временно, на испытание, но впоследствии бойцу присваивалось звание. И еще была у бойцов этой группы одна обязанность, о которой совсем не говорилось, но которая считалась у них первейшей: всегда быть готовым заслонить собой командира роты от опасности.

Дементьев по телефону договорился с командиром батальона о посылке группы в тыл немцев — вести, ее должен был Фетисов. За основу этой группы взято было его отделение. Но только шесть человек — четырех комсомольцев и двух проверенных, уже ходивших в разведку бойцов — Галиуллина и Стоцких, оставил Дементьев, остальных он подбирал из состава всей роты. Бойца вызывали на КП роты. Это была большая яма, вырытая между трех высоких елей и покрытая зелеными палатками. Боец прыгал в яму, вытягивался и приветствовал политрука, сидевшего на чурбашке с записной книжкой в руке. Некоторых Дементьев отпускал, так и не сказав, зачем он вызывал, отпускал ласково, снабдив папиросой и подбодрив. А некоторым говорил:

— Есть поручение, ответственное поручение. Вполне выполнимое, но выполнить его придется, может быть, ценою жизни.

— Вы тут о семье спрашивали, товарищ политрук, — так это ничего — дети взрослые, а жена — что ж жена... Двадцать лет вместе! — ответил Шкляревич, смугло-коричневый, пропахший табачным дымом человек.

— Товарищ политрук, — я беспартийный, но не сомневайтесь, мои жеребята отмечены на сельскохозяйственной выставке, а мое заявление в комсомол — вот оно! — сказал Чуваев, худощавый, рослый, с толстыми губами, с прямым тонким носом, молодой колхозник из Тарусы.

— Прикажите, товарищ политрук! — выкатив свои серые яростно-веселые глаза, крикнул Гаркун. — Вы ж меня в деле видели.

Верно, на всю жизнь запомнил Дементьев Гаркуна, мастера штыкового боя. Дементьев тогда спас ему жизнь. Гаркун ходил искать его на поле боя. Так оно и плетется: вчера не знал человека, сегодня он родней родного. Гаркун, деликатно взяв Дементьева за локоть, сказал, дыша ему в ухо теплым, пахнущим хлебом дыханием:

— Я очень подходящий для всякого такого дела — потому, что силой меня, как вы видели, отец-мать не обидели, а сноровку я сам взял: спросите хоть кого угодно из латышевцев, — они скажут. И за время войны я трофейное оружие освоил, все равно как отечественное.

Голос, движения лица, слова, которые первыми вырвутся, когда смерть взглянет в лицо, — по всем этим

признакам Дементьев судил о «прямом проводе в душе». Так подобрал он четырнадцать человек, пятнадцатым был Фетисов, который сидел в уголке; задал один-другой вопрос, а потом замолчал. Дементьев взглянул в его сторону, удивленный этим молчанием.

После двух суток бессонницы, опьяненный едой и «аварийным» полстаканом водки, который поднес ему Касымов, Фетисов заснул. Дементьев прикрыл его своей новой, еще ни разу не надеванной шинелью и разбудил только тогда, когда маленький отряд был сформирован, накормлен, вооружен (шесть автоматов, четыре ручных пулемета, один станковый, один миномет).

— В ваших руках, товарищи, судьба всей нашей роты и, может быть, участь боя,— сказал перед строем Дементьев и каждому бойцу пожал руку.

Отряд уходил. Дементьев заметил, как поглядела на Фетисова, стройного, в пилотке набекрень, крепко затянутого ремнем, Катя Мокшанцева,— и ему стало и весело и грустно. «Во лужку да во лужку, во счастливом доле»,— запел он родную оренбургскую песню,— когда-то приведет военная судьба в этот счастливый дол!..

Но тут прибежал запыхавшийся боец. Он сообщил, что и командир второго взвода и его помощник — оба тяжело ранены разрывом мины... «А немцы так и кроют минами — слышь? слышь?» — говорил он, и его предостерегающе поднятый, запачканный землей палец дрожал, и такая же дрожь была на его посеревшем, замасленном грязью молодом лице.

По его сбивчивым словам Дементьев понял, что взвод отходит и отходит беспорядочно. Прихватив с собой вестника несчастья и двух автоматчиков из пяти, постоянно сопровождавших командира роты, Дементьев побежал ко второму взводу.

По дороге им попало еще три человека, все из этого второго взвода. Они сбивчиво повторяли то, о чем уже знал Дементьев. Вид у них был растерянный, но винтовки они не бросали. Дементьев повернул их обратно. Они повиновались. Таким образом, их теперь стало семь человек — и трое были вооружены автоматами. Взвизги мин сменились торопливой перестрелкой, взрывами гранат.

У ручья, который протекал через кустарник, они столкнулись с группой бойцов, переходивших его в брод, громко разговаривая и второпях шумно разбрызгивая воду.

— Наши! — сказал кто-то из бойцов второго взвода. Но Дементьев уже сам догадался. Он крикнул: «Стой!» — и сопровождавшие его автоматчики взяли наизготовку свои автоматы. Бойцы — их было немногим больше отделения — остановились. Одних приказание Дементьева застало на этом берегу ручья, другие не успели его перейти. Все стояли неподвижно, и только один из бойцов, очутившись среди бурлящей воды, сделал шаг — он хотел выйти на тот берег, где был Дементьев. Но, сделав один шаг, он тут же остановился, так как черный автомат Дементьева угрожающе направился на него.

— Товарищ политрук, я в воде! — испуганно, умоляюще и обиженно крикнул этот маленького роста, пожилой курносый человек с желтыми усиками.

— Замри, где стоишь, когда получил приказание! — сказал Дементьев. Голос у него звучал хрипло и, наверное, поэтому — особенно грозно.

Люди послушались его, но лица их были нахмурены, злы, а надо было немедленно повернуть их на противника, вернуть в бой.

— Куда бежите? — тихо и хрипло, с задышкой спросил Дементьев. — До Москвы отступили. Ну, куда? — сказал он. Этот упрек Дементьев мог отнести скорее к себе, ведь это он отступал, а они только пришли в армию, но они приняли этот упрек и смущенно переглянулись. — Кругом марш! — скомандовал Дементьев. — За мной, друзья! — добавил он вдруг.

И неожиданно для него самого в этих словах соединились просьба и приказание, ласковость и угроза. И те сразу пошли вместе с ним туда, откуда слышна была то затихающая, то вновь яростно вспыхивающая перестрелка.

— Где командиры отделений? — на ходу спросил Дементьев, оглядывая бойцов.

Они в замешательстве переглянулись.

— Может, тоже утекли... — сказал тот, который стоял в ручье. Простодушное лукавство слышно было в его голосе.

— Не знаю, как ваш, а наш Нолдин не такой, чтоб бежать,— угрюмо ответил ему другой.— Он — вон он дерется,— и боец указал в ту сторону, откуда слышна была перестрелка.

— Нолдин! И вы его одного оставили?! — с негодованием воскликнул Дементьев.— Ходу, вперед! — Он остановился, пропустил мимо себя всех бойцов, быстро пересчитывая: двадцать два человека было у него. — Стой! — скомандовал он.— Быстро! Товарищ Гудзь, — сказал он одному из автоматчиков, который, — он это хорошо помнил, — вместе с ним отбивал атаку танков, — отсчитай себе десять человек, будешь обходить немцев. Я пойду прямо на соединение с Нолдиным.

Гудзь, высокий, с покатыми плечами и бледным пухлым лицом, скомандовал. Он волновался, голос у него порой перехватывало. Он командовал первый раз.

— Товарищ политрук, — просительно сказал тот, который стоял в воде: он оказался среди оставшихся с Дементьевым, — разрешите, я поведу. Я дорогу запомнил, — сказал он просительно, двигая бровями. У него были маленькие светлые глаза, умные и виноватые. — Нам бы, товарищ политрук, вот этак зайти, вон от той ложбины, — мы на них с фланга ударим.

— Правильно! — сказал Дементьев.— Как фамилия?

— Улыбкин Данила Васильевич.

— Значит, Данила Васильевич, бежал, а дорогу запомнил? Веди! Загладь свою вину!

Не прошло пяти минут молчаливого хода, как Улыбкин вдруг махнул рукой, лег — и сразу стало слышно, что невдалеке трещат прутья.

— Немец, — прошептал он одними губами.

Сразу поняв, что это неприятельская группа заходит в образовавшуюся брешь, Дементьев передал шопотом:

— Перебежками по одному вперед! — и, выскочив из кустарника, тяжелым прикладом своего автомата ударил по ненавистно-розовому и чистому лицу того немца, который попался ему на глаза. Только на мгновение заметил он ужас в бледноглубоких глазах его, во вскинутых бледных бровях — и немец покатился со стоном под ноги; Дементьев перескочил через него.

Немцев было раз в два больше, но нападение было внезапно. Однакоже немцы быстро пришли в себя и стали отходить, отстреливаясь и пытаясь оторваться от

преследователей. Дементьев близко слышал резкую подбадривающую и угрожающую немецкую команду — немецкий командир на ходу перестраивал, указывал каждому солдату его место. Ему бы удалось перестроить и закрепиться, но сбоку, откуда раньше слышна была стрельба, послышалось «ура». Это, очевидно, действовал Гудзь. Теперь немцы уже отходили по всему участку, — немецкая команда слышна была все время, и тут же, совсем близко, слышал Дементьев зычные и спокойные окрики Нолдина. Гудзь, запыхавшись, прибежал к Дементьеву — он соединился с Нолдиным.

— Охватить бы их отсюда, товарищ политрук, кругом охватить! — горячо повторял он.

Но немцы из охватывающего их кольца уже вышли, оставив на том месте, где на них напал отряд Дементьева, шесть убитых и двух тяжело раненных.

У Дементьева убитых не было, тяжело раненных было трое.

— У меня четыре убитых и тот тоже, который первый прибежал, — сказал Гудзь, вздыхая и страдальчески морща лицо.

Дементьев вспомнил замазанный землей дрожащий палец — и сердце его дрогнуло.

Немцы, перейдя через густо заросший кустарником овраг, закреплялись на той стороне и открыли ожесточенный огонь.

— Где здесь политрук наш? — услышал Дементьев обеспокоенный голос Закоморного. — Здесь? Живой? Не раненый? Идем. Команду над взводом примет вот — орел наш! — Он хлопнул по плечу сопровождавшего его Нолдина. — Это он собрал остатки взвода и выдержал бешеный натиск немцев.

Дементьев вместе с Закоморным уходили и слышали, как Нолдин позади распорядительно покрикивал.

— Хорош командир будет! — сказал нежно Закоморный, когда они отошли немного. — Что тут произошло с этими паникерами?

Дементьев рассказал.

— И ты не пристрелил того, который после команды шаг вперед сделал? — удивленно спросил Закоморный.

— Да ведь он, правда, в воде стоял.

— А, небось, догадался — не назад, на тот берег, а

вперед к тебе шагнул. Раз слышишь команду — встань без рассуждения, где тебя команда застала...

Дементьев вообще склонен был замечать мрачную, теневую сторону явлений, недостатки в людях скорей привлекали его внимание. Он раздражался, гневался, он спорил и укорял, — у него был ум полемического склада.

«Тебе бы в прокуратуру итти, а не на политрабату», — говорили ему товарищи по военно-политическому училищу. Но так говорили люди, поверхностно понимавшие характер Дементьева. У него хватало, конечно, той особенной хладнокровной ненависти, которая нужна воинствующему юристу для того, чтоб в сложной путанице речей заподозренного проявить действительный след, ведущий к совершению поступка. Но теневые и отрицательные стороны в людях вызывали у него не столько желание карать и наказывать, сколько разъяснять и убеждать: усовершенствовать людей.

Совсем иначе действовал Закоморный. С беспощадной быстротой наказывал он за трусость и панику, за невыполнение приказа, но приходил в восторг от каждого проявления стойкости, находчивости, отваги. О Павловском, о Нолдине, о других героях этого дня он рассказывал бойцам то одного, то другого отделения и незаметно для себя приукрашивал и преувеличивал их подвиги.

Дементьеву сначала не нравилась эта чрезмерная восторженность, но потом он увидел, что в присутствии командира роты бойцы стараются один перед другим проявить свою смелость, находчивость, стойкость.

Дементьев был военным по призванию. Его душа проснулась в армии, здесь для него было сосредоточие советской жизни, самое лучшее и драгоценное воплощение ее. В армии он был принят в партию. Оставшись на сверхсрочную, он был командирован на командные курсы и там уже окончательно определил свое призвание.

Командирскую работу он понимал и, наблюдая за действиями Закоморного, радовался, что судьба их соединила.

Во всех решениях Закоморного, в его размышлениях вслух была одна черта, в особенности сильно поразившая Дементьева: Закоморный все время старался представить себе действия своего врага — и не только на-

правление удара и силу оружия, и не только цель, которую враг себе ставит, но и душевное состояние противника, потому он прозорливо предугадывал действия немцев.

— Долго что-то наш левый фланг на одном месте топчется, надо чего-то с ним сделать, а то сейчас немец минометом ударит,— говорил Закоморный.

И так оно и получалось: только левый фланг переходил вперед, как по его оставленным позициям начинали бить немецкие минометы.

— Отходят немцы?—переспрашивал Закоморный торжествующего Засыпкина, командира третьего взвода.— Это хорошо. А они у тебя в тылу автоматчиков не оставили?—придирчиво спрашивал он.— Не проверял? Проверь.

И по стрельбе, начавшейся через несколько минут, можно было заключить, что Закоморный прав: в тылу наступающего третьего взвода обнаружены немецкие автоматчики.

Бой шел упорный...

— Упрямый, крепкий и хитрый попался нам немец,— говорил Закоморный, и странное удовольствие слышал Дементьев в его голосе.

Принимая самостоятельные решения, Закоморный никогда не забывал поставить о них в известность штаб батальона, и как только у него бывала возможность, он хватался за трубку:

— Это «Редька»? Говорит «Морковь». У нас все ладно! А у вас как?.. «Капуста» задержалась? Поздний овощ... Учтем, спасибо! — Он клал трубку.— На левом фланге надо посматривать. Маньков отстает,— как бы нам с фланга немцы не подсыпали.

Командир соседней роты Маньков назывался «Капустой», а командир батальона, рыженький, быстроглазый Нухимов, назвал себя «Редькой». Бывало, что Закоморный начинал спорить, но, получив приказ, говорил: «Слушаю!» и выполнял, точно это его собственное решение.

В те размышления вслух, которые у Закоморного предшествовали принятию решения, Дементьев обычно ничего не вставлял, но прислушивался внимательно. Он занимался своим делом, политической работой, причем

исходил из соображений и приказаний командира, хотя и вел ее самостоятельно. Когда Закоморный отдавал приказ какому-либо взводу, перед Дементьевым сразу вставала политическая характеристика взвода: коммунисты и комсомольцы, боевые беспартийные активисты — то, что на языке сводок называлось: боевой актив роты. Если он чувствовал ненадежность какого-либо взвода в данный момент, он посылал туда комсорга Забалуева или парторга Рекстыня, или шел туда сам: «политически обеспечить взвод» — называлось это. Закоморный, однако, не любил, когда Дементьев уходил от него. «Очень я сработался с тобой», — говорил он жалобным голосом. Они действительно сработались, — это больше всего походило на то, как два человека поют в лад: Закоморный вел партию первого голоса, Дементьев — вторил. Но втора — это самостоятельная партия, и случалось, что Закоморный, обращаясь к Дементьеву, говорил: «Грышь, займись».

Так было, когда стал отходить взвод Засыпкина. В начале боя этот взвод действовал удачно и глубже чем два других взвода вошел в сосновую рощу, оторвался от роты, и немцы стали его окружать, обходить с флангов. Таким образом, противник мог в этом месте прорваться в глубь расположения роты и выйти в тыл всему батальону. Закоморный понял эту опасность еще тогда, когда она только обозначилась, и велел взводу отойти. Отойти с боем и сохранить при этом порядок, да еще совершить этот отход непосредственно после наступления — являлось задачей чрезвычайно серьезной. Засыпкин не справился с этой задачей, и Дементьев, пройдя в расположение взвода, услышал, как Засыпкин кричал, угрожал стрелять — и не стрелял, голос его срывался. Дементьев послал его вперед, где держалось несколько наиболее стойких бойцов, во главе с Забалуевым, сдерживать немцев, а сам кинулся за отступающими.

— Товарищ политрук, — окликнул его кто-то хрипло, захлебываясь, так окликнул, что нельзя было не остановиться.

Это был Анисим Гущин. Очевидно, почувствовав, что опасно ранен, он инстинктивно заполз в кустарник, оставив после себя кровавый след.

— Видишь, товарищ политрук, — с упреком сказал он. Слова превратились в хрип, стон, он ткнулся голо-

вой в кусты, его длинные ноги дернулись и остались неподвижными.

«Видишь, я сделал то, чего ты хотел от меня, согласился с тобой и вот умираю...» Это хотел он сказать? «Но ведь я сам тоже готов хоть сейчас к смертному концу!» — ответил Дементьев мертвому и, вдруг опомнившись, услышал стрельбу: Забалуев отбивается один!

Он догнал и одним окриком остановил отступающих. Люди сразу стали оправдываться: они выполняли приказ. Правда, выполняли слишком поспешно и отступили дальше, чем следует. Дементьев вел их обратно и на ходу, горячась, повторял те самые слова, которые уже сказал отступавшей группе второго взвода. Но тогда он сказал их вдохновенно, а сейчас эти слова о Москве, о том, что отступать некуда, он повторил намеренно, и прозвучали они еще сильнее. Люди, слушая его, молча ускоряли шаг. Это были бойцы из вновь прибывшего пополнения, хорошие люди, в расцвете сил, между тридцатью и сорока годами, колхозники и кустари Подмосковья и верхнего Поволжья, расторопные, сметливые, отнюдь не трусливые люди, но они впервые были в бою, растерялись. Среди них, однако, был и Новодережкин, который участвовал уже во втором бою. Дементьев старался не замечать его, но когда люди ползком, так как немцы усиленно обстреливали этот участок, стали возвращаться на передовую линию, Новодережкин сам подошел к Дементьеву.

— Товарищ политрук, разрешите доложить: я штык потерял.

Темнело. День шел к концу. Это был трудный день — и вот он кончался. Хотелось отдохнуть, вытянуться, лечь, в голове больно постреливало. Но лечь нельзя, надо вести бой — и сколько еще времени придется, превозмогая себя, напрягая сообразительность, память, осиливать себя, а кругом будет эта грохочущая, ревущая, визжащая и неожиданно поражающая смерть? А тут эта понурая коротенькая, вызывающая жалость и негодование фигурка и излишне подробный, простосердечный рапорт об утере штыка. «Конечно, следовало ждать, что он еще доставит мне хлопот, — раздраженно подумал Дементьев. — Ну что с ним делать? — спросил он себя и так же раздраженно ответил себе: — А

какое мне, собственно, дело? Имеется устав, — почему я с этим человеком должен обходиться не по уставу?»

— Боец Новодережкин! Вы доложили об утере штыка командиру взвода? — резко спросил он.

— Так точно! — вытягиваясь, ответил Новодережкин. — Младший лейтенант приказал мне отправиться в ваше распоряжение.

Дементьев опустил голову, чтобы Новодережкин не видел его усмешки. Случись подобный казус с любым другим бойцом, Засыпкин, конечно, выругал бы его, но ни в коем случае не стал бы отсылать его из взвода: человек он добродушный, и во взводе каждый боец на счету. «Чтобы к вечеру штык у тебя был!» — так сказал бы он потерявшему — и к вечеру штык, конечно, был бы. Легко можно представить — сколько беспокойства доставил ему Новодережкин, если он предпочел поступить с ним официально и отправил его в роту.

Дементьев повернул туда, где оставил командира, Новодережкин со своей винтовкой без штыка следовал за ним. Он молча выслушал обличительную речь Дементьева и сказал дрожащим и полным искреннего раскаяния голосом:

— Я сознаю свое преступление, товарищ политрук. И я понимаю, конечно, — меня расстрелять надо, но я... — он закашлялся от волнения.

«Расстрелять Новодережкина!» — этот вывод следовал из обличительной речи Дементьева, но у Дементьева не было никакого желания расстреливать Новодережкина, наоборот: ему очень не хотелось, чтоб историю со штыком узнал Закоморный.

Дементьев хотел уже скомандовать «кругом марш» — отправить Новодережкина обратно во взвод, чтобы он «загладил свое преступление», как вдруг он увидел издали приближающегося добродушно-невозмутимого Рекстыня. В руках у него был штык.

— Вот, — сказал он, — час тому назад нашел я штык, а мне сказали, что этот чудака его потерял.

Издав горлом какой-то странный звук восторга и надежды, Новодережкин схватил штык и взглянул на его номер.

— Мой это! Мой, товарищ политрук. Разрешите мне

взять его, — сказал он, умоляющими глазами глядя на Дементьева.

— Возьмите, — сказал Дементьев. — Надеюсь, это больше не повторится. И вообще, боец Новодережкин...

— Да-да... товарищ политрук...

Новодережкин торопливо и бестолково надевал штык — никак не удавалась ему эта операция, требующая уверенной руки. Дементьев и Рекстынь переглянулись, и Рекстынь сказал:

— Молотком ши не едят, ложкой гвозди не заколачивают. Это дедушка мой говорил — умный старик. Ты назначил меня выпустить боевой листок, но для меня это все равно, что ходить по канату. Дай мне Новодережкина — я буду заниматься своим «ДП» и бить немцев, а он будет выпускать фартовый боевой листок. — Рекстынь с особенным удовольствием произнес это слово «фартовый», любил щегольнуть бойким русским словечком — таким он считал это слово.

Дементьев согласился, и Рекстынь увел Новодережкина.

Наступала темная осенняя ночь. Но сражение не умолкало, вдалеке оно гудело непрерывно и глухо, здесь оно распадалось на множество разнообразных тресков, ударов, визгов, хлопков, особенно разительных оттого, что здесь, на опушке леса, никого не было видно.

День прошел, нужно написать информационную сводку. Дементьев присел, вынул блокнот из планшетки.

«За истекшие сутки...» — начал он и остановился. Сколько незабываемых лиц, бессвязных восклицаний, неистово быстрых и медлительно-продуманных движений, хриплых стонов...

Ненавистно-розовое лицо немца с выкаченными глазами — и девушка плывет по теплому океану, черная негритянская девушка, плывущая к свободе. Улыбки: ноги его леденит быстрая вода ручья, на лице — смущение и стыд. Фетисов и Гаркун. «Что-то с ними сейчас? Ведь они в самой пасти неприятеля. Смерть Гущина... Он упрекал меня. Если бы только знать, что он не убит нечаянной пулей, а перед смертью сражался; нужно расспросить, кто видел...»

«За истекшие сутки рота продвинулась на сто пятьдесят метров в глубь вражеского расположения. Бой

идет в сосновой роще. Действия бойцов характеризуются высоким наступательным порывом», — так писал он, вкладывая в готовые формулы все неисчислимое богатство сегодняшнего дня.

IV

От расположения роты до киртичного дома с кошачьим лазом было по прямой не более трех километров, но на этих трех километрах шел бой, земля была изрыта немецкими траншеями, каждая точка просматривалась и простреливалась. Митя повел свой маленький отряд сначала как будто бы в сторону от города и от фронта, так что звуки боя слились в ровный гул и стали затихать. Потом стала слышна перестрелка с другой стороны — из-за серых и бурых, однообразно-похожих один на другой, холмов. Несколько раз их останавливали патрули. Митя говорил пропуск, и патрули пропускали их, молодые лица патрулей были озабочены. Кругом было безлюдно, два раза проходили они совсем близко мимо деревень, но пусты и тихи были эти прижавшиеся к бурым холмам деревни.

Спрятав свой отряд в кустарнике между двух холмов, Митя исчез. Люди ждали молча. Разговаривать нельзя было, они поглядывали друг на друга и по сторонам, — их молоденький командир, уходя, приказал «ухо держать остро». Порой, точно вострепнувшись от дремы, тихо шелестел кустарник. Как будто бы начинало смеркаться, но ни единого проблеска заката не было видно на сосредоточенно-свинцовом, заваленном облаками небе.

Фетисов вернулся встревоженный. И мальчик лет четырнадцати, пришедший вместе с ним, хранил на своем черноглазом, курносом и круглом лице то же выражение досадливой тревоги, которое было и на лице Мити.

— Этот парень — Сергей Иванович зовут его — помогает нашей разведке. И вот — заминировали немцы ту дорожку, по которой хотел я вас провести. Саперам нашим предстоит работа, да и всем нам, друзья! Встать! — скомандовал он, но, когда все вскочили, Митя не сразу отдал вторую команду, а развернул белый сверток, который был у него в руках: полотенце и под ним — широкий и толстый, как дюймовая доска, пирог с тем-

но-румяной корочкой. — Мамаша Сергея Ивановича нам посылает, ведь воскресенье сегодня... — сказал Митя, непонятно, не то удивленно, не то грустно.

Трудно было итти и есть пирог, так есть, чтобы не разорвать драгоценную, еще теплую и душистую, с лучком и яичком капустную начинку, чтобы вся она попала в рот. Каждому досталось по куску пирога: праздничное тепло родной печи, женская рука на обветрившейся, соскучившейся по ласке щеке...

Еще многие продолжали дожевывать пирог, когда Митя плашмя ладонью дал знак — лег сам, и все легли. Так же безмолвно показал он наверх — там, на крутом, прочерченном в небе откосе, видны были проволочные заграждения. Перед проволочными заграждениями — минное поле.

— Придется ждать здесь, — сказал Митя.

Никто ничего не ответил — ждать, так ждать. Мальчик сказал, что у немцев есть ход через минное поле. По этому ходу с внешней стороны укреплений скоро должны пройти немецкие саперы.

Ждать пришлось не очень долго; среди грустной, сумеречной тишины возник громкий лающий немецкий говор. Совсем близко, возле самых глаз, видели советские бойцы кованные железом, тяжелые черные немецкие ботинки.

Митя вслушивался в разговор — сейчас они кончили работу, шли ужинать и насмехались над каким-то ефрейтором Зиске, который сбивался в счете поставленных мин, — они его почему-то называли Рюбецалем¹.

Проходя через минное поле, они перестали разговаривать. Распластавшись в маленькой ложбинке, Митя, приготовив на всякий случай гранату, следил за тем, как белокурый молоденький немец, нахмурившись, шарит в траве, очевидно, размыкает провода. Вот он пропускает товарищей — и вновь наклоняется. Наверное, смыкает провода. Пройдя через минное поле, немцы шутливо-громкими вздохами выразили свое облегчение по поводу того, что они не взорвались. Вскоре их весело-самоуверенные голоса перестали быть слышны, и

¹ Рюбецаль — в буквальном переводе: Редькоchet — фантастический персонаж немецких сказок, кичливый дух, вызвавшийся сосчитать редьки, растущие на поле. Все время сбиваясь со счета, он так и не смог этого сделать.

Митя сам пополз по пути, который они ему невольно показали.

Напряженными, ноющими от ощущения опасности пальцами Митя размыкал тоненькие, как волоски, провода. Если боялись взорваться сами немцы, то как же велика была возможность взорваться ему! Но он прополз благополучно.

Отряд, затихнув, ждал его возвращения. Мгновенное неосторожное движение, ничтожная ошибка памяти, и взрыв разнесет Митю Фетисова, и возможность проникнуть в глубину немецкого расположения будет потеряна.

Но вот с той стороны тропинки показались сначала руки, потом бледное Митино лицо.

— Проползти можно. Только они часового поставили между минным полем и проволочными заграждениями. — Тут Митя обернулся к Гаркуну: — Афанасий Петрович, надо убрать немца.

Теперь они ползли вдвоем. Митя слышал, как сзади вздыхает Гаркун. «Ему труднее, чем мне, он грузный», — думал Митя. Среди людей, которые вместе с ним шли сейчас на это серьезное и опасное дело, Афанасий Петрович Гаркун должен бы быть ему, Мите, самым близким человеком — они много лет вместе работали на заводе, вместе пошли в ополчение, вместе попали в первый бой, вместе вышли из окружения, но только сейчас, слушая, как тихо вздыхает позади него Гаркун, подумал Митя о том, что он, в сущности, этого человека не знает.

Лучший стахановец завода, награжден орденом. Силач. Жена — цыганка, раньше пела в хоре, сейчас выступает на клубных вечерах самодеятельности; волосы завиты перманентом, в черных глазах — неуголимое любопытство и веселье, нарядно одета и почти всегда беременна — у Гаркуна четверо на него и на нее похожих пучеглазых чернявых «гаркунят». Но почему Ивашин, самый почтенный человек на заводе, говорит о Гаркуне: «Очень себя высоко над всеми ставит» и почему все-таки Гаркун и на заводе и в армии — везде и во всем первый человек, которого сразу же начинают ценить, особняком держится среди латышцев, своих заводских людей?

Фетисов и Гаркун первые проползли минное поле и

безмолвно замерли, наблюдая за долговым силуэтом немца, ходившего вдоль проволочных заграждений. Немец был бдителен. Порою он даже прикладывал бинокль к глазам и глядел куда-то вдаль, — если бы он знал, что русские затаились в четырех метрах от него! Если б он знал, что жить ему осталось ровно столько, сколько нужно для того, чтоб совсем стемнело!

Хотя было рискованно, но Митя до темноты провел через минное поле еще несколько человек. Теперь он мог бы ползти через минное поле с закрытыми глазами — значит, проползет и в темноте. Сумерки уже наступили — и немец вдруг исчез. Гаркун убил его настолько бесшумно, что сначала Митя даже не поверил в его исчезновение.

Проделать проход в проволочных заграждениях было относительно легко. После этого Митя с одним из бойцов отправил сообщение Закоморному: указывал, каким способом можно пройти через минное поле и проволочные заграждения.

Чем дальше — тем медленнее продвигались они, все время ползком. Митя знал дорогу, но и он то и дело останавливался: там, где раньше было пусто, возникали новые немецкие дзоты, новые рвы преграждали им дорогу, кое-где, несмотря на темноту, продолжалась работа: слышно было, как по-русски вздыхают и стонут, как по-немецки грубо окрикают: это насильно согнанные сюда русские люди под угрозой немцев строили укрепления против своей армии.

Теперь почти все время приходилось ползти, но чем ближе они подвигались к цели, тем больше грома, грохота и визга было вокруг них: здесь расположились многочисленные немецкие минометные батареи. Они обстреливали советские войска, а по их вспышкам была дальнобойная советская артиллерия: неравномерные взлеты пламени, сопровождаемые гулом, грохотом и сотрясением, то и дело освещали окрестность, зарево пожара выделяло черные силуэты далеких зданий города. Когда они были совсем уже у цели и ползли по тому заваленному нечистотами оврагу, в котором столько времени просидел Митя, все вдруг осветилось синевато-белым, мертвенным светом, земля дрогнула, и крутые склоны оврага, по которому они ползли, обвалились, в воздухе что-то лопнуло, ударило в уши, стало

больно глазам. Бойцы замерли, оглушенные, но уже через секунду Митя, подняв лицо, при этом колеблющемся белом свете еще более бледное, чем обычно, показал рукой и крикнул, пересиливая голосом гуденье и вой взрывов:

— Это, наверное, наша артиллерия в склад горючего угодила!

Они проползли дальше и послушно остановились по знаку командира. Оставив на некоторое время товарищей, Митя опять скрылся, уполз куда-то вверх, где видна была темная масса деревьев, поминутно освещаемая вспышками пламени. Вернулся он довольно скоро.

— Все в порядке, немцы моего кошачьего лаза не открыли. Но сейчас там во дворе — минометная батарея. Афанасий Петрович, — сказал он, обращаясь к Гаркуну, — ты пойдешь со мной: нужно расширить лаз, а то ведь, кроме меня, никто не пролезет. Шанявский, Петрак, Голосов, Сумин — вам приказ: проползти вокруг всей усадьбы, найти подземные ходы, связывающие эту точку с соседними дзотами. Если эти ходы крытые, подорвите, если открытые, надо проникнуть в них, и когда из соседних дзотов немцы кинутся сюда на помощь, — не пускать. Ищите провода, рвите их. Наткнетесь на сторожевой пост — уничтожайте. Старайтесь все делать бесшумно. Выполнив задачу, соединяйтесь со мною.

Четыре бойца скрылись в зловещей красновато-колеблющейся темноте ночи. Остальных бойцов Фетисов спрятал у самого края оврага, шагах в десяти от «кошачьего лаза», через который они должны были войти в дом, и велел держать наготове винтовки и гранаты: они в случае необходимости могли прийти на помощь Гаркуну, который уже начал вытаскивать кирпичи из стены, расширял отверстие; если эта работа будет благополучно доведена до конца, — весь отряд по знаку командира ворвется во двор.

Гаркун взялся за работу как будто бы неторопливо: сначала он ощупал кирпичи, затем, удобней ухватившись, напрягши все силы, он дернул один кирпич. Кирпич сломался.

— Крепкая кладка, — сказал Гаркун. — Взорвать бы.

— Нельзя, — ответил Фетисов. — Нам за этой стеной сидеть. Да и шуму раньше времени много наделаем.

С первыми кирпичами Гаркун провозился довольно долго, потом приноровился, пустил в ход всю свою огромную силу, которой славился он и в Москве на заводе, и здесь в роте.

Он передавал кирпичи Мите, который аккуратно их складывал. Они работали, низко пригнувшись, скрючившись, но их все равно могли увидеть при вспышках, следовавших одна за другой: немецкие минометы грохотали совсем рядом. Откуда-то из-под стены дома с визгом летели мины и несли смерть в расположение советских войск. «Заткнем, заткнем тебе глотку», — бормотал Гаркун, и Митя все оглядывался туда, где слышна была разностройная, трескучая перестрелка, перемежающаяся разрывами гранат. Мите казалось, что он слышит даже крики: там, совсем близко, в сосновой роще, дерется рота, своя рота — и он вспомнил бледное и требовательное лицо политрука — оно для него было лицом всей роты, — и он торопил Гаркуна, хотя тот отнюдь не медлил.

Двор за время, пока Митя сходил в роту и вернулся сюда с отрядом, настолько изменился, что он сначала даже не признал его. Траншеи и ходы сообщения прорезали двор по всем направлениям. Некоторые были скрыты под землей, — их обнаружить можно было только по насыпям, которые радиусами сходились к дому, черневшему среди деревьев сада. Наверху, в мезонине, мелькнула вдруг тонкая светлая полоска, точно ножик блеснул. Митя пригляделся — да, это сквозь еле заметную трещинку проникал свет изнутри мезонина: там, наверно, наблюдательный пункт. Оттуда корректируется работа минометов, оттуда нужно будет после захвата пустить, как было условлено, три зеленых ракеты.

На восходе обозначилась рдяная, точно углем проведенная черта, и такие же угольно-рдяные сполохи, на мгновение вспыхивающие и тут же погасающие, и сопровождаемые то треском, то взрывом, то гулом, полыхали вокруг — то вблизи, то вдалеке. На мгновение становились видны напряженные и осторожные движения рук, вынимающих кирпичи, лицо Гаркуна с капельками пота на лбу, нахмуренное и напряженное.

Вдруг вблизи блеснул огонь, и где-то ухнуло корот-

ко, глухо. Очевидно, кто-то из бойцов подорвал ходы сообщения.

— Вперед! — крикнул Митя, оттолкнул Гаржуна и, протиснувшись в проход, снова закричал: — За мной, товарищи!

Он был уже во дворе и, сразу пригнувшись к земле, побежал к дому. Застучала пулеметная очередь, его щеку горячо обожгло. Но он был уже на террасе и со всего размаху ударил пулеметчика по голове прикладом. Пулемет замолк. Митя оглянулся: бойцы его бежали за ним, при мгновенных вспышках близких артиллерийских разрывов Митя видел яростные лица бойцов, их открытые рты...

— Друзья! Ищи ход в подвал! Разбегайся по траншеям! Бей фашистов!

Он рванул дверь с силой, она не была закрыта, и, не рассчитав силы, он сорвал ее.

За ней была ярко освещенная и даже нарядная, в красивых обоях, комната, и вся она была заставлена кроватями. Немцы — кто в нижнем белье, кто в штанах, но без мундира, кто в мундире, но без штанов вскакивали с постелей, хватали оружие. Митя швырнул в них гранату и сам бросился на пол. Раздался взрыв, особенно гулкий в комнате. Крики, стоны, проклятья. В комнату ворвались бойцы. Митя вскочил на ноги, побежал в темный коридор. Он помнил главное: он искал лестницу наверх, в мезонин, — вот она: в конце коридора, крутая винтовая лестница. Стой, — кто-то оттуда спускается, светя фонарем. Митя метнулся в черную тень, под лестницу.

Светя перед собой, спускался с лестницы молоденький немец. Его лицо со скудными рыжеватыми бачками, вздернутым носом и приподнятой безусой верхней губой было встревожено и взбешено. На груди его висел автомат, в руках был тяжелый револьвер. У него были нашивки на погонах.

Митя нащупал на поясе плоский, как нож, штык, тихо вынул его из ножен, и когда немец спустился с лестницы, Митя вдруг бесшумно прыгнул на него и ударил, целясь выше ключицы и ниже шеи, так, чтоб сверху и сразу достать до сердца.

Немец завизжал пронзительно-бешено, как кошка, и впился Мите в лицо.

Они оба упали. Они катались по полу. Их вдруг облило водой: это они повалили рукомойник.

Митя ударял штыком несколько раз, все не попадая, а вот наконец, ударив, с омерзением почувствовал, как штык, прорвав ткань, уходит во что-то мягкое. Страшный вой немца, его конвульсивные содрогания, горячая липкая кровь на руках... Зажав горло немца, Митя ударил еще раз, куда наметил сначала — ниже горла и выше ключицы — вглубь, до сердца. Немец еще дергал ногами, и спазмы отворачивания сжимали внутренности Мити. Впервые ему пришлось убить немца вот так, как сейчас, в рукопашном кровавом бою.

Прыгая через ступеньку, Митя вбежал по лестнице. Здесь было темно. Митя зажег свой электрический фонарик; он не ошибся — наверху в маленькой комнате мезонина был наблюдательный пункт, стояло зеркальце, поблескивала немецкая черная и коричневая радиоаппаратура. Мгновенно осмотрев комнату и убедившись, что здесь никого нет, Митя сбежал вниз и в коридоре столкнулся с Шанявским.

— Готово, товарищ командир! — горячо дыша, но по форме вытянувшись, сказал Шанявский. — Часовые сняты, связь с соседними дзотами подорвана.

За десять минут дом был захвачен. Внизу, в траншеях, у своих минометов и пулеметов продолжали еще отчаянно отбиваться трое немцев. Гаркун у одной из амбразур уже устанавливал свой миномет, чтобы открыть огонь по тылу немцев, державшихся в сосновой роще. Соседние дома уже охватило торопливым жидким огнем: их подожгли по приказанию Мити. Слышно было, как там встревоженно перекликаются немцы. Они еще не поняли, что происходил, и, не давая им опомниться, Митя приказал поставить пулеметы в пустые бойницы, пробитые в ограде. Эти бойницы приготовлены были немцами на случай круговой обороны.

Шесть немецких минометов, находившихся в доме, замолчали, и огонь минометов в глубину советского расположения сразу сильно поредел.

По ослаблению неприятельского огня, по этим пожарам Закоморный должен был понять, что дерзкая затея осуществлена. Но Мите надо было обозначить захват дома тремя зелеными ракетами. Если ответят одной красной, — значит, сосновая роща еще в руках немцев

и по ней можно бить, если зеленой, — значит, сосновая роща уже занята ротой Закоморного.

Митя кинулся в дом. Он пробежал первую комнату, мимо сдвинутых с места и перевернутых кроватей и убитых немцев. Немец с бачками лежал еще в коридоре. Что-то беленькое метнулось в сторону от немца, когда Митя перескочил через него. «Котенок?» — горячо подумал Митя, почему-то представив беленькую кошечку, по следу которой он проник в дом. Это белое существо было гораздо крупнее кошки, что, конечно, заметил Митя, но безотчетно как-то.

В мезонине стеклянная, плотно завешанная дверца вела на маленький балкончик. Митя осторожно вышел на этот балкончик и огляделся. Кругом еще было темно, но заря разгоралась ярко, там, на юго-востоке, небо расчищало, дул ветер...

«Очень широк будет кругозор днем», — подумал Митя. Пустив в небо три зеленых ракеты, он ждал; в ответ низко и неярко на фоне разгоравшегося востока вспыхнула красная ракета, — и сразу же миномет Гаркуна, заранее предупрежденного, бодро рывкнул. Мина за миной полетели в сосновую рощу, в тыл державшимся там немцам.

Смутное чувство, что кто-то находится с ним рядом, заставило Митю оглянуться, и он вздрогнул — у самых его ног сидела девочка в белом платье. Она-то, конечно, и метнулась в сторону от убитого немца. Что-то бесприютное было в этой девочке, которая, подобрав ноги под свое изодранное, испещренное грязными пятнами платье, сидела на полу и глядела туда же, куда глядел он: на темную сосновую рощу.

— Наши скоро придут? — спросила она.

У нее был выпуклый лобик, глубоко посаженные темные глаза и растрепанные русые волосы.

— Да, — ответил Митя. — Откуда ты? Идем отсюда, тебя могут пристрелить.

Она послушно пошла за ним в дом. Как худы ее ноги и руки, как худа и грязна и поцарапана ее шея! Он сунул руку в карман — и вынул большой кусок сахара.

— На! — сказал он.

Она быстро взглянула ему в лицо, потом на сахар. Осторожно и жадно взяла она с его ладони этот голубоватый, затершийся грязью на острых гранях, кусок.

сунула его в рот, и вдруг, несообразное со всем ее видом, беззаботное веселье проступило на ее измученном лице.

— Вкусненько, — протянула она с хитринкой. Ей было не больше одиннадцати лет.

— Ты откуда? — спросил Митя.

Девочка вздрогнула, точно приходя в себя.

— Меня Лизой зовут, — медленно сказала она. Трудно было выносить ее взгляд: она точно глядела откуда-то очень издалека... — Лиза... — еще раз, точно сама утверждаясь в своем имени, повторила она. — Лиза Северова. Мы здесь живем, жили то есть, — поправилась она. — Северовы...

Наступило короткое молчание, и она сказала:

— Это вы убили его?

— Кого? — обо всем забывший и погрузившийся в безотчетное рассматривание ее, спросил Митя.

— А этого... герра Руди... — старательно сказала она, — их главного, вот там лежит в коридоре.

— Я, — ответил хрипло Митя. Он не мог отвести от нее взгляда: что-то страшное было во всем этом. — А что, — спросил Митя, — он обижал тебя?

Девочка вся сразу вздрогнула, неизгладимое горе, испуг, отвращение, почти безумие — все это выразилось в одной гримасе, и она вдруг, так, как дети кидаются под защиту сильных, кинулась к Мите, обняла его, прижалась к нему и затряслась от рыданий, конвульсивных и беззвучных. И, вспомнив о трупе молоденького немца, который лежит внизу в коридоре, Митя пожалел, что уже убил его, — он убил бы его еще и еще раз... много раз, без конца.

V

Этой ночью Дементьев и Закоморный спали по очереди. Бой продолжался на опушке сосновой рощи, но некоторые отделения уже сильно вклинились в ее черную глубину. Добираться до них было опасно.

Среди ночи роту посетил неожиданный гость, комиссар батальона, и предложил Дементьеву вместе обойти расположение роты. Среднего роста, с веселым и ласковым округлым лицом, старший политрук Леонтий Иванович Позднеев во всем своем облике, в том, как на

зем пузырем сидела гимнастерка, как он ступал, — раскорякой, враскачку, — сохранил еще тот отпечаток, который имеет невоенный человек, недавно надевший военную форму. Так оно и было — Леонтий Иванович в армию пришел через ополчение, а до этого учился в Москве в Сельхозакадемии, до учебы был и секретарем райкома партии в деревне, и начальником политотдела МТС, и сельским учителем, и комсомольским активистом.

Им пришлось не столько ходить, сколько ползать. И так как немцы непрерывно зажигали в роще осветительные ракеты, черные тени деревьев ложились по земле, покрытой сучьями и хвоей, от каждого кустика бежали тени, и немцы, сами пугаясь их, били по ним из пулемета.

— Твоего командира хвалят, — говорил Леонтий Иванович. — Да и командир батальона, старший лейтенант Нухимов, поглядеть — так мальчишечка, от земли не видать, но командир прекрасный. Мне вот приходится на старости лет у него учиться. А ты как в военном отношении? Кадровый?

— Да.

— Э-эх, — откровенно завистливо вздохнул Позднеев. — Ну что ж, не боги горшки обжигают. Ротой я еще командовать не смогу, конечно, а взводом пришлось командовать.

Леонтий Иванович прочел уже вчерашнюю сводку, присланную Дементьевым. Он записал тех людей, которых отметил Дементьев, пожалел, что нельзя встретиться ни с Фетисовым, ни с Забалуевым, настойчиво разыскивал Нолдина. Разговор с Нолдиным продолжался не более трех минут, но когда Дементьев и Позднеев отползли от Нолдина, Позднеев сказал:

— Товарищ политрук, придется тебе заняться важнейшим делом — обучить этого замечательного человека грамоте.

— Разве он неграмотный? — удивленно спросил Дементьев.

— Как же ты не заметил? — удивился в свою очередь Леонтий Иванович. — Когда мы подошли, он письмом какое-то читал, так ведь читал-то он его сам для себя вслух.

Дементьев вдруг припомнил, как напряженно шевели-

лись твердые губы Нолдина, когда он при колеблющемся свете очередной немецкой осветительной ракеты читал что-то, и ему стало известно, что он не заметил того, что с первого взгляда увидел Леонтий Иванович.

Завидна была способность Леонтия Ивановича сходиться с людьми. В черноте осенней ночи под шумящими деревьями маленькими кучками разбросаны были по лесу группы бойцов.

— Кто здесь? — негромко спрашивали из темноты, когда Леонтий Иванович и Дементьев подползли, и в самом оклике слышно было напряженное ожидание.

— Комиссар батальона и политрук роты, — отвечал Леонтий Иванович и, поздоровавшись, начинал с того обычного, но обязательного вопроса, который постоянно в голове всякого хорошего командира и политработника: — Когда вас кормили? — И, получив ответ, спросил: — А у вас здесь, в отделении, боец Улыбкин?

— Я Улыбкин, — испуганно ответил тот, и по голосу было слышно, что он конфузится.

— Приятно познакомиться, — сказал Леонтий Иванович, — я о вас в сегодняшней сводке прочел. Как ваше имя-отчество?

— Данила Васильевич, — покашливая и косясь в сторону политрука, отвечал Улыбкин.

Он не думал, что строгий политрук написал о нем что-либо хорошее после того, как днем чуть не пристрелил его. А Дементьев как раз счел нужным отметить в сводке, что Улыбкин, сначала растерявшись, потом первый пришел в себя и благодаря ему стало возможно нападение на немцев.

А Леонтий Иванович продолжал расспрашивать:

— Из Боголюбского района? Знаменитое место. — И он стал рассказывать об Андрее Боголюбском, первом князе, который из разорявшегося кочевниками, начинающего падать стольного града Киева перенес центр русской народной жизни на северо-восток, в глубину болот и лесов, во Владимиро-Суздальское княжество.

Леонтий Иванович прекрасно знал историю, и у него она звучала величественно и живо. Дементьев заметил, что Леонтий Иванович любит говорить с колхозниками и хорошо их понимает. Ему достаточно было задать Улыбкину несколько вопросов, и тот сразу выложил, что он, считаясь колхозником, сам больше работает на строи-

тельстввах, плотничает, а хозяйство ведет его жена, которая является бригадиром животноводческого колхоза, знатным человеком района. Данила Васильевич очень гордился своей женой. И потом, когда Дементьев и Позднеев отползли от этой группы бойцов, Леонтий Иванович сказал, вздыхая:

— Сказать по совести, очень я сельское хозяйство обожаю. Эх, времечко было, когда начальником эмтеэс был; встанешь еще затемно и пойдешь с одного полевого стана на другой...

Когда Леонтий Иванович ушел в соседнюю роту, Дементьев подумал, что он так же обходит роту за ротой, как когда-то ходил из одного полевого стана в другой.

Вернувшись на КП, Дементьев увидел, что Закоморный что-то пишет под палаткой, при тусклом свете электрического фонарика.

— А я жене пишу, так, несколько слов, — как бы оправдываясь, сказал Закоморный, вставая и затягивая ремни. — Я люблю написать ей из самого пекла, а потом, когда потише станет, отправить. Доня, Доня, — сказал он, и, как всегда в минуты, когда его охватывало какое-либо нежное чувство, в голосе его появились забавные, какие-то даже бабьи интонации. — Ее Дарья зовут, но я называю ее Доня, — сказал он.

Он что-то еще говорил о Доне. Он был украинец, но родился в Казахстане, где-то под Кустанаем.

— А я ведь оренбургский, мы земляки, можно считать, — обрадованно сказал Дементьев.

Они говорили о том, что от Фетисова ничего не слышно, о том, что утром нужно окончательно вышибить немцев из сосновой роши, о том, что слаба связь с обоими соседями.

Еще что-то рассказывал Закоморный о своей Доне, но только чудесные багрово-красные, как пожар, цветы представлялись Дементьеву, душистые и колючие, родная степь и чертополохи, рдеющие среди зелени, снились ему.

Сон его вдруг был прерван толчком:

— Грыць! Митька ракету пустил... Слышишь, Грыць? Бьет немцев в тыл минометом. Сейчас нажмем на них и мы. Да ладно, спи... — Закоморный вдруг исчез.

Отчаянным усилием воды Дементьев заставил себя проснуться. Сосны шумели. Стрельба стала чаще, торо-

пливей и ожесточенней. Сосны шумели, воздух поголубел—скоро утро. «Фетисову удалось... Что же дальше?» Надо было проснуться. Но сон затягивал, как омут, сказывалась недавняя болезнь. Он спал с ощущением, что нужно проснуться.

В сон вдруг вошел Новодережкин — что-то яркое, похожее на платок, было у него в руках. «Ирина... Значит, поблизости Ирина... Новодережкин мне снится, ну и пусть, зато я увижу сейчас Ирину, когда еще ее наяву придется увидеть, а сейчас она покажется из-за его плеча... Вот сейчас, сейчас...» Но Ирина не появлялась, и наконец Дементьев понял, что Новодережкин не снится ему, а наяву стоит у входа в палатку с большим ярко раскрашенным листом бумаги в руках.

Дементьев окончательно проснулся и разом вскочил.

— Товарищ политрук, первый номер боевого листка готов! — торжественно сказал Новодережкин, пожав его руку.

Они вылезли из-под палатки. Вершины сосен были уже освещены солнцем. Настало утро, холодное и ясное.

— Товарищ политрук, немцы из сосновой рощи ушли, — сказал связист. — Деремся уже на огородах. Мы ждем их спереди, а фетисовские нажаривают по тылам.

Дементьев прислушался — ружейная стрельба отдалась, но в нее густо были замешаны взвизги минометов и ровно лились, перегоняя одна другую, замолкая и снова возобновляясь, струйки пулеметной крупы.

Скорей хотелось туда, но нужно было прочитать «Боевой листок» и утвердить его. Он жадно ел пахнущий дымом суп и просматривал заметки.

«Боевой листок» написан был на четырех тщательно склеенных листах канцелярской бумаги. Заголовок был разрисован цветными карандашами и представлял собой орнамент из винтовок, пулеметов, автоматов, минометов — из всех видов оружия, имевшихся в роте. По тексту были рассыпаны цветы, плоды и злаки, вклеено несколько кленовых розовых и дубовых бронзовых листьев.

— Это кто рисовал? — спросил Дементьев.

— Я, — с застенчивой гордостью ответил Новодережкин. — У меня цветные карандаши всегда с собой

События вчерашнего дня вставляли перед Дементьевым: он читал об отделенном командире Нолдине, принявшем командование взводом, когда выбыли из строя командир и помощник командира: Он узнал, что красноармеец Колосников в этом бою погиб смертью храбрых. Он прочел о красноармейце Павловском, который увлек за собой в наступление сначала свое отделение, потом весь взвод. Эта заметка была подписана сержантом Тиуновым — очевидно, это был тот самый сержант, с отделением которого и пошел в наступление Дементьев... Были перечислены первые трофеи, подведен первый итог. События вчерашнего, такого длинного дня проходили перед Дементьевым; по-новому ярко и празднично сиял героический смысл этих событий. «Что ж, наша рота — хорошая рота! — подумал Дементьев. — Конечно, паники, растерянности никак не забудешь, они были и особенно вначале, но чем ожесточеннее делался бой, тем реже становились они... Геройская рота».

— Как вы собирали материал? — спросил он.

— Я прошел по всем взводам и записывал со слов бойцов, самим-то ведь им некогда записывать, — сказал Новодережкин. — А сейчас, если разрешите, я снова пройду по взводам, покажу этот номер и соберу материал.

Дементьев пристально вглядывался в увлеченное лицо Новодережкина: он был сегодня чистый, умытый, стало видно, что он похудел и как-то помолодел.

— Вы не боитесь? — невольно спросил Дементьев и спохватился: он ждал, что Новодережкин обидится.

— Нет, — ответил Новодережкин. Он совсем не обиделся и ответил даже с удовольствием, точно ждал этого вопроса. — Когда делаешь в бою свое дело, ничего не страшно!

— Не страшно, — задумчиво повторил Дементьев. Его поразили слова Новодережкина. Значит, если в бою каждый будет занят своим делом, то есть будет драться тем оружием, которым он лучше всего драться умеет, то, может, трусов совсем не будет? Об этом нужно подумать...

— Для начала — хорошо, — сдержанно похвалил он, расписываясь на обороте «Листка». — Теперь о дальнейшем. У вас здесь все-таки мало имен. Вы берете действительно героев. А возьмите не только таких, как

Цолдин или Колосников. Возьмите рядовой состав роты. И особенное внимание обратите на наше пополнение, на мобилизованных. Это в большинстве колхозники, и они хорошо дерутся. Вы напишите об этих людях. Получив повестку военкомата, каждый, может, ночь не спал, всю свою жизнь взвесил и сказал себе: надо идти! Они здорово дерутся, а о них нет ничего. вы пишете только о москвичах-добровольцах, — увлеченно говорил Дементьев, не сознавая, что слова его навеяны ночным разговором с комиссаром батальона. — Теперь о москвичах-добровольцах... Обратите внимание на то, что некоторые из них рассуждают так: поскольку я сам пошел на войну, дисциплина — это не для меня. У нас есть несколько таких случаев; возьмите материал у старшины...

— Товарищ политрук, — сказал вдруг обеспокоенно связист, — у нас неладно что-то... Минут пять, как нету связи со штабом батальона. И потом — слышите?..

Но Дементьев уже сам слышал — не впереди, где шел бой, а позади, в тылу роты — тяжелый и мерный стук нескольких немецких автоматов, торопливый треск винтовок. Вот характерный — коротко-взрывчатый звук разорвавшейся гранаты, мгновенно тишина, и снова угрожающий говор немецких автоматов, и как будто бы крики...

Раздался вдруг треск ветвей, из кустарника вынырнул Аркадий Забалуев.

— Где командир? — спросил он быстро. — Нету? Готовься, товарищ политрук, к нам в тыл, наверное, через расположение нашего соседа слева, просочились автоматчики. Я двух пристрелил и ушел. Слышишь? Они напали на наш патронный пункт, там Касымов отбивается. Командир послал меня разведать. Где он?

Но Закоморный с группой своих порученцев уже вышел из леса. Дементьев тревожно-вопросительно взглянул на него.

С автоматами наизготовку, обращенными во все стороны, стояли молодые автоматчики, охраняя Закоморного. Раскрыв планшетку, глядел он на карту, слушал и спрашивал Забалуева. Не только растерянности не было на его лице, но свойственное ему во время боя вдохновение как будто разгоралось в нем.

— Ладно, — сказал он, прерывая Забалуева. — Во-

как будет... — Он вырвал листок из блокнота: несколько быстрых штрихов — схематический набросок местности, стрела, вопросительный знак. — Отгадай-ка мне, сержант, этот ребус: как они к нам пробрались? Облазь здесь все кругом, нащупай их ход. Точно. Понял?

— Приказано отгадать ребус, — сказал Забалуев, принимая листок и козыряя.

Забалуев исчез, успев обернуться к Дементьеву и подмигнуть ему; очень много заключало в себе это подмигивание: «Командир наш — орел... а мы с тобой растерялись. Но это ничего, — мы тоже мслодцы, мы еще себя покажем...»

А Закоморный отдавал распоряжение одному из своих «хлопцев» — маленькому Коршунову, которого он называл — Коршунок: он должен был немедленно набрать хворосту и соломы.

— Побольше. Не понял, зачем? — спросил он, взглянув на недоумевающее чернобровое и широкое лицо Коршунка. — Поймешь. Действуй... Грыць! — сказал Закоморный, беря руку Дементьева в свою. — Пришло нам время показать, что мы действительно командиры. Мы будем продолжать наступление. У нас просто нет иного выхода... Митя их хорошо поджаривает с тыла, — нельзя нам их отпустить. Я буду вести основную операцию, а тебя я попрошу, Грыць, займись автоматчиками! Нолдина на помощь Касымову я уже послал, а ты бери моих хлопцев и оцепи немцев кругом, а то они расползлись, как вши. В прошлом бою ты показал себя специалистом в этом деле. Положение трудное, но неужели мы с тобой не сдюжим?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В землянке, где жили командир и комиссар дивизии, было уютно, тепло, но сыровато. Землянка была переделана фанерной перегородкой, вход из одной половины в другую завешен плащ-палаткой. Комиссар дивизии Исидор Львович Минович, по многолетней привычке, проснулся в восемь утра, но вчѣра он поздно вернулся из Москвы и чувствовал, что еще не отдохнул. Лежа в постели, он закурил трубку. Плащ-палатка была откинута, полковник Городков, уже одетый и побритый, сидел за столом. Чей-то густой, старающийся сдержать свою силу голос, рокоча, говорил о каких-то оврагах, высотах, о дзотах и пулеметных гнездах, — очевидно, о противнике. Поглаживая светленький пух на лысеющей своей голове, Городков остро очиненным карандашом осторожно отмечал что-то на карте, которая лежала на столе перед ним.

— А вот на этой высотке что? — спросил он, делая еле заметное движение карандашом. Большой человек с черными усами наклонился над картой на секунду закрыв от Исидора Львовича расплывчатое, неподвижное и даже сонное лицо Городкова. — Вы ведь проходили здесь?

— Проходили, — сокрушенно ответил рокочущий бас. — И как будто ничего тут нет.

— Как будто бы? — насмешливо переспросил Городков. — Это мне не подходит. Мне надо точно знать. Так приказ не выполняют, товарищ лейтенант, — строго сказал Городков.

День начинался по-обычному: кропотливое перенесе

ние на карту всех данных разведки, всех сводок, придирчивая проверка выполнения вчерашних приказов. Все делалось спокойно, неторопливо; но ведь глухие гулы, доносящиеся сюда, под землю, означали ожесточенный бой, который вела дивизия здесь, в семидесяти километрах от Москвы...

Исидор Львович всего несколько дней тому назад был назначен комиссаром этой дивизии. В то памятное утро его вызвал к себе член Совета Оборона.

— Мы поручаем вам задачу трудную и почетную, — сказал член Совета Оборона. — Дней десять тому назад, прорвав немецкий фронт и захватив трофеи и пленных, вышла из окружения дивизия полковника Городкова. Она сильно потеряла в людском составе, но обстановка не позволяет нам отвести ее в тыл для доукомплектования. Мы поставили дивизии боевую задачу — она должна сдерживать немцев юго-западнее Москвы. Вы будете комиссаром этой дивизии, но, кроме обычных обязанностей комиссара... — он помолчал, — мы крепко надеемся на вас... На вас, товарищ Минович.

Исидор Львович радостно покраснел, уловив в этих словах особенный оттенок доверия...

Член Совета Оборона был лет на пятнадцать младше Исидора Львовича и, наверное, на столько же лет младше по партийному стажу. Но уважение и доверие которое слышал Исидор Львович в голосе члена Совета Оборона, относилось не только к возрасту и стажу Исидора Львовича, но ко всей его деятельности с начала войны — и в особенности к поведению Исидора Львовича в эти трудные дни октября.

— Дивизию нужно будет доукомплектовать, обмундировать и довооружить. Придется это проделывать в боях, — сказал член Совета Оборона. — Дивизия переименована в гвардейскую. А полковник Городков... Вы присмотритесь к нему. Мы очень многого ждем от него.

Вечером этого же дня Исидор Львович прибыл в штаб дивизии. Так после двадцатилетнего перерыва вновь вернулся он в Красную Армию.

С полковником Городковым они виделись мало — по целым дням Исидору Львовичу приходилось бывать в Москве. Ночевать, однако, он обязательно возвращался в дивизию. С полковником Городковым жил он в одной землянке и был в курсе боев: дивизия, с ходу остано-

вив немцев у захваченного ими крупного фабричного центра, потеснила их и заслонила собой столицу

Немцы контр-атаковали (во время одной из этих контр-атак политрук Дементьев прибыл в дивизию) Дивизия отбивала контр-атаки и вела медленное наступление. Очевидно, полковник Городков командовал хорошо, но Исидор Львович никак не мог уловить, в чем заключаются особенности его полководческого таланта. Душевный сблик Городкова ускользал от Исидора Львовича и казался расплывчатым и невыразительным, как самая внешность его. Целыми днями Городков просиживал в землянке, кропотливо занимаясь делами, которые казались Исидору Львовичу мелочными. Неужели ничего, кроме дотошной деловитости, не было в военном даровании Городкова?

Но вот, например, случай с Зайцевской МТС, которую не успели эвакуировать. Немцы захватили ее, но тут же были выбиты и тоже не успели вывести эмтэ-эсовские тракторы. МТС оказалась на линии фронта — на ничьей земле. Начальник штаба предложил, чтобы тракторы снова не попали в руки немцев, разбить их в упор из пушек. Городков решительно воспротивился и отдал приказ бронетанковому дивизиону вывести тракторы с территории МТС.

— У нас не так много танков,— говорил начальник штаба,— и я предпочитаю уничтожить все тракторы, но не потерять ни одного танка.

И Городков обратился тогда к Исидору Львовичу.

Тот ответил не сразу. Доводы начальника штаба Исидору Львовичу казались убедительными, но внутреннее побуждение говорило ему, что командир дивизии прав, и Исидор Львович поддержал Городкова.

— Слышали, товарищ подполковник?— сказал Городков, обращаясь к начштаба.— А ваше дело провести эту операцию так, чтобы действительно не потерять ни одного танка.

Операция была проведена ночью, для чего на соседнем участке устроили демонстрацию; отвлекшую внимание врага. Все тракторы были вывезены, и немцы спохватились поздно. В общем ходе многодневного сражения спасение этих тракторов являлось эпизодом, по меньшей мере, второстепенным, но Городков объявил благодарность танковому дивизиону, а по вечерам, ужи-

ная с комиссаром и начальником штаба, с удовольствием вспоминал об этой операции и вслух подсчитывал денежную стоимость этих спасенных для советского государства машин.

— Из вас, Николай Ильич, мог бы получиться хороший хозяйственник,— посмеиваясь, сказал начштаба.

Мгновенно что-то вспыхнуло в глазах Городкова, его невыразительное лицо стало притягающе-привлекательным: жесткость и нежность, мечтательность и сметливость.

— А что ж, вот кончится война, попрошу мне дать дивизию пленных фрицев и заставлю их все восстановить, что разрушили. Похозяйствую,— сказал он.

И только сейчас, лежа в постели, Исидор Львович, опять вспомнив историю с тракторами, подумал вдруг, что ведь этот второстепенный эпизод получил необыкновенную популярность в частях дивизии; из политинформационных сводок Исидор Львович знал, что заметка о спасении тракторов, напечатанная в дивизийской газете, оживленно обсуждалась в ротах и батареях, возле танков и походных кухонь.

«Предвидел ли это командир дивизии, настаивая на спасении тракторов? — раздумывал Исидор Львович. — Учитывал ли он сознательно этот политический эффект? И не сказались ли в этой истории такие черты характера Городкова, которые отчасти объясняли его особенности, как полководца?»

Лейтенант-разведчик ушел, его сменил франтоватый интендант, потом в землянку явился начальник штаба с ежедневным утренним докладом.

Главные силы дивизии, зайдя во фланг немцам, второй день штурмовали город,— операция эта имела значение отнюдь не местное... Замечания, которые делал командир дивизии, по обыкновению, носили мелочный характер.

— Мост в тылу у немцев взорван? Молодцы саперы... Вот молодцы,— задумчиво и ласково проговорил Городков.— А как взорван? Каким способом?

Начальнику штаба пришлось рыться в донесениях, Городков неторопливо заваривал в чайнике любимый им крепчайший чай и спокойно ждал.

«Зачем нужны эти подробности? — думал Исидор Львович, сочувственно поглядывая на бледное и старое

лицо начштаба,—каждая морщинка чисто промыта, и потому особенно видна усталость. — Ведь известно же, что мост взорван».

Наконец начальник штаба дал разъяснение — мост был подорван гранатами Городков несколько секунд молчал, слышно было, как звенит ложка о стакан.

— Нет,— сказал он наконец решительно.— Это не то, что я хотел. Гранатами — это не значит подорван. Это значит, разрушен верхний настил, который ничего не стоит восстановить. Я просил подорвать динамитом, что, как вам должно быть известно, гарантирует...

— Мне известно, Николай Ильич,— покорно, хотя и с неудовольствием сказал начальник штаба.

— Ну и сделайте, как я хотел...— миролюбиво, но настойчиво сказал Городков.

«Все то же, все, как вчера...» — подумал Исидор Львович и стал одеваться.

Начальник штаба теперь докладывал о положении на участке кораблевского полка, имевшего второстепенную задачу — наступать с той стороны города, откуда брать его не предполагалось.

Исидор Львович брился, рассеянно слушая монотонный голос начальника штаба. Вдруг Городков переспросил что-то. Он не повысил голоса, но такая страсть слышна была в этом вопросе, что Исидор Львович обернулся к нему. Как солнечный свет по пасмурным облакам, так на расплывчатом лице Городкова играло веселое и умное оживление.

Исидор Львович подошел к столу. Речь шла попрежнему о кораблевском полке, успешно выполнявшем свою задачу. Но разговор остановился на действиях одной из рот полка. Нащупав слабое место немецкой обороны, она заслала в тыл немцам штурмовую группу, которая и укрепилась в одном из домов городской окраины.

— Да кто он, этот командир роты? — взволнованно спрашивал Городков. — Неизвестно? В батальоне Нухимова? Нухимова-то я знаю. Так, так, так... — слушая начальника штаба, говорил Городков и при этом с выражением восторга прислушивался еще к чему-то, — может быть, к тому, что делалось у него самого в душе.— Вот что, Николай Герасимович, — сказал он, — проверьте готовность наших резервов, состояние авто-

транспорта, чтоб ни одна машина не подвела. Потом с начальником артиллерии... Но нет — это я сам! — Он вдруг замолчал, встал с места и, крепко схватив одной рукой за руку Исидора Львовича, а другой начальника штаба, сказал медленно: — Сейчас мы второстепенное направление обернем в главное — и сделаем это раньше, чем немцы поймут, что происходит. Сегодня к вечеру мы будем в городе. Но — действовать быстро! — Накинув шинель, он своим мягким вразвалочку шагом вышел из землянки.

— Начинается жара! — весело сказал начальник штаба, отчаянно растирая свое лицо, словно желая стереть с него бессонную усталость. Исидор Львович видел, что ему передалось оживление Городкова. — Наш Николай Ильич всегда так... Сидит, сидит, мучает нас, мучает всякими пустяками — и вдруг ухватится за один из таких пустяков, — сразу все приведет в движение, и оказывается, это совсем не пустяк... Ведь он сейчас не только что до капэ батальона, он до командира этой самой роты доберется.

— Я поеду с ним и не допущу, чтоб он рисковал своей жизнью, — сказал Исидор Львович.

— Это будет превосходно, товарищ бригадный комиссар, — сказал начальник штаба взволнованно и серьезно. — Он трезвый, чрезвычайно деловой человек, но в такие минуты увлекается, как мальчик.

Оставив начальнику штаба подробные инструкции, Городков выехал в полк к Кораблеву, и Исидор Львович первый раз отправился вместе с ним на передовую позицию.

II

Немецкая мина с пронзительным воем и визгом упала прямо на склон каменистого хребта, в то место, где расположился НП полка. Последняя мысль адъютанта Петруши Холодка была о полковнике Кораблеве — чтоб его не убило, и тут же сразу Петрушу ударило по голове, в живот, в бок, он даже не помнил, как упал.

Очнулся он, когда его поднимали санитары, и первое, что он увидел, был молоденький связист: размазавшись, оскалившись, лежал он среди каких-то окровавленных бумажек и лоскутов. Петруша отвернулся.

Место, где был НП, опустело, НП, конечно, перенесли уже. Хотелось спросить о полковнике, но Петруша боялся тяжелой боли, которая притаилась у него не то в бедре, не то в нижней части живота. Однако, когда санитары проносили его мимо нового наблюдательного пункта, он сказал: «Стой!» — хрипло, захлебываясь, скрежеща зубами от боли. Но это была команда, и санитары остановились. Петруше было так больно, что мысли порой превращались в крик и запутывались. Но как хотелось ему остаться здесь и как завидовал он своему помощнику, рыженькому лейтенанту Максимовичу, который нарочито, как это казалось Петруше, громким голосом кричал по телефону, проверяя связь нового НП со штабами батальонов.

Был пестролистый и яркий день. Крутом багрянели, желтели кустарники, и между ними были положены куски озими, сочно-зеленые до неправдоподобия. Именно там, на краю земли, в синеву неба взлетали черные фонтаны; не успевал рассеяться один, как за ним вскакивали другие. Это работала неутомимая артиллерия Воловика.

Бой продолжался, а он, Петруша Холодок, когда еще узнает о том, как кончится этот бой, да узнает ли: чувствовал он по той боли, которая от бедра мгновенно ударяла ему в голову, что рана его серьезна и, может быть, даже смертельна, но он гнал от себя эту мысль. Он хотел жить и жить именно здесь, на новом НП, помогать своему полковнику, широкие плечи и бритый затылок которого были у него перед глазами. Хоть бы слово от него на прощанье услышать. Но Петруша понимал — полковнику не до него. На новом месте уже раздвинулся переносный, удобный (Петрушей добытый) стол, и над ним натянули палатку, новый адъютант кричит по телефону, проверяет связь, а карта разостлана прямо на земле — зеленая среди листвы, желтой и красной, и полковник снова приник к ней. Нет, нельзя полковнику подойти к Петруше Холодку, не увидит Петруша этих серых, спокойных, внушающих любовь и уважение, глаз... Петруша хотел уже сказать, чтоб его унесли, но к нему подошел комиссар полка Язев. Его щека была оцарапана осколком той же мины, которая ранила Петрушу, и от этой уже запекшейся царапины

лицо его стало казаться еще более озорным, мальчишеским.

Петруша всегда проявлял большое служебное рвение, но оно не всегда сопровождалось достаточной гибкостью: жителей деревни Усово нужно было уговорить выехать, а не выселять силой, как это проделал Петруша. Это происходило с месяц тому назад. Язев, очевидно, чувствуя, что Петруша не считает себя виноватым («выселять-то ведь нужно было срочно!»), каждый раз — и со свойственной ему насмешливостью — напоминал об этом деле Петруше, рассказывая об унтере Пришибееве и о героях Салтыкова-Щедрина, «удививших мир злодейством». Петруша на этого рода шутки обижался больше всего.

— Табак-то у тебя есть? — спросил комиссар сочувственно.

— Есть, — шопотом, чтоб не потревожить бедра, ответил Петруша. — Спасибо.

Это спасибо, конечно, относилось не только к вопросу о табаке, и Язев сказал:

— Трудно нам будет без тебя, Холодок. Очень ты отчетливый, расторопный, никогда не теряющийся. А если я тебя ругал иногда, как, например, за усовское дело, так это тебе же на пользу... — поучительно сказал комиссар, как будто Петруша не был тяжело, а может быть, даже и смертельно ранен.

Петруше этот обычный комиссарский тон был особенно приятен сейчас. А санитары уже взялись за носилки, и в этот момент Петруша увидел, что из глубины леса вышли командир и комиссар дивизии. Машину они, верно, оставили внизу, а сами поднялись сюда. Не по пустому делу они прибыли на НП полка, здесь начнутся какие-то интересные события. А Язев уже отошел от носилок и рапортует. Носилки подняли. Холодок жалобно выругался и потерял сознание.

Мирович и Городков были оба невысокого роста и казались одинаково пожилыми, хотя в действительности Мирович был лет на десять старше Городкова. На Мировиче была защитного цвета отделанная смушкой теплая куртка, с орденом и красным флажком депутата Верховного Совета, его щеки, несколько одряблевшие, ярко покраснелись от свежего воздуха, карие глаза блестели, строптивость, почти ребячья, была в складе

его немного выпяченных губ, что-то праздничное было и в его лице и в костюме...

На полковнике Городкове была неперешитая шинель с фронтовыми зелеными петлицами и неприметными зелеными знаками различия. Все знали, что ордена у него есть, но они были скрыты шинелью, туго затянутой поясом, и его можно было бы принять за бойца почтенного возраста или, вернее всего, за младшего командира образцовой выправки, может быть, сохранившего ее еще с первой германской войны. Его бледное, рыхлое, с расплывчатыми чертами лицо принадлежало к числу тех, которые трудно запомнить, но нельзя было забыть его глаз, выражения хитрости, доброты и постоянного пристального внимания.

Приняв рапорт, он пожал руку комиссару и командиру, взглянул в бледное чернобровое лицо Петруши, которого без сознания пронесли мимо него, и кивнул так, точно он именно этого и ожидал. Гул артиллерии, стрекочущий грохот ружейных перестрелок, близких и далеких, празднично-яркая осенняя земля...

— Ну как, Алексей Дмитриевич? — негромко сказал Городков, обращаясь к командиру полка. — Доложи-ка положение... Тебя нужно поздравить, — сказал он ласково. — У тебя дела идут приятно.

Кораблев отрицательно покачал головой.

— Сегодня на рассвете в тыл первого батальона проникли немецкие автоматчики, — сказал он.

— В первом батальоне? У Нухимова? — быстро спросил Городков. — Где? Покажи-ка.

Они склонились над картой.

— Вот. Нухимов обещает их прикончить, — командир полка взглянул на часы, — к девяти утра. Может, все уже кончено сейчас. Ведь — Нухимов! Его бойцы называют Нахимов. Ничего, откликается.

— Так-так... — задумчиво сказал Городков. — А кто у тебя здесь вот? — и он показал на крутой уступ красной линии, в этом месте очень близко подошедшей к квадратам, обозначавшим кварталы города. Один из кварталов, самый крайний, был отмечен красным крестиком. — У тебя здесь вторая рота, верно?

— Да, — ответил командир полка и довольно усмехнулся: ему приятно было, что командир дивизии так

подробно осведомлен.— Командир ее — лейтенант Закоморный.

— Наш Закоморный? — быстро переспросил Городков. — Значит, жив? Вернулся?

— Этот Закоморный—из основных кадров дивизии,— сказал Городков, обращаясь к Мировичу, который, по-пыхивая трубкой, внимательно слушал разговор, не столько глядя на карту, сколько на лица беседующих.— Помнишь, как он с часами в руках отходил? — обернулся Городков к полковнику Кораблеву. — Получил приказ отходить, в час отдавать не более ста метров — и выполнял. А какой инициативный, предусмотрительный.

— Сегодня он намазал,— сказал Кораблев, покачивая головой.— Сначала наступление шло у него удачно. Он бросил сюда вот,— и Кораблев щелкнул по кварталу, отмеченному крестиком,— крепкую группу, она дезорганизовала огонь противника на всем участке, ударила минометами в тыл немцам, оборонявшимся здесь вот — в сосновой роще... Но в ходе операции, очевидно, увлекся, и немцы проникли ему в тыл. Что сейчас там делается,— неизвестно.

— Неизвестно? — удивленно спросил Городков.

— Неизвестно,—виновато ответил Кораблев.— Сейчас немцы минный налет учредили, а с первым батальоном связь еще не восстановлена...

Командир и комиссар дивизии переглянулись.

— Так что ж, придется нам в таком случае самим в первый батальон отправиться,—своим резковатым голосом сказал комиссар дивизии.

Городков утвердительно кивнул головой и, обернувшись к Кораблеву, указал на карте тот крутой уступ, которым красная линия наступления приблизилась к самым крайним квадратам города.

— Решение принято, Алексей Дмитриевич. Удар будем наносить с твоего участка... Артиллерия переориентирована, а сейчас начальник штаба, наверно, уже сосредоточил на участке Нухимова и танковый дивизион, и роту автоматчиков, и минометную команду, и еще там кое-что... Ну, а мы — прямо к тебе, посоветоваться, вместе действовать.

Полковник Кораблев кивнул головой, но ничего не ответил.

Видя, что молчание затягивается, полковник Городков сказал:

— Все дело в том, что во время боя обстановка изменилась. Кто первый поймет значение этого участка, тот выиграет. Делать все быстро нужно, Алексей Дмитриевич,— весь твой полк нужно сосредоточить на этой задаче.

— Слушаю,— сказал Кораблев, но не сделал ни одного движения.

Комиссар дивизии недоуменно и даже несколько саркастично поглядел на него и потом вопросительно на Городкова, но тот терпеливо ждал, что скажет Кораблев.

— Ты, конечно, топографию этого участка представляешь? — наконец спросил Кораблев.

— Как тебя вижу,— ответил Городков.— Топография дает, конечно, немцам все преимущества. Но если Закоморный закрепился на окраине города и продолжает действовать так, как действовал, а Нухимов понял изменение обстановки и ему помогает, значит, тебе нужно изменить направление удара вот сюда, вправо.

Кораблев кивнул головой.

— Соединить меня с начальником штаба полка,— сказал он неторопливо, видимо, обдумывая что-то.

— Ну вот, и ладно!—весело сказал Городков.—Я вижу, ты все понял... И будешь действовать несокрушимо.

— Как утюг,— с усмешкой сказал Кораблев.

— Как утюг, как утюг,— со смехом повторил Городков.— Это у нас с ним поговорка такая есть — как утюг,— пояснил он комиссару.—Значит, действуй. А нам дай провожатого до штаба первого батальона. Ведь это вон туда, к той высотке? — спросил он, указывая направо, на поросший кустарником холм.

Полковник Кораблев отрицательно покачал головой:

— Весь этот склон немцы с хуторка простреливают. Ночью еще проползти можно. Связисты наши и днем, если есть нужда, проходят — у них там провод. Но за сегодня двое убито.

— Придется нам, Исидор Львович, в объезд на машине туда добираться,— сказал Городков.— Что ж, пошли...— Он взглянул в озабоченное лицо командира полка.— Алексей Дмитриевич, к вечеру твои орлы первые ворвутся в город.

Кораблев отковырял, усмехнулся и ничего не ответил.

Городков протянул ему руку, они обменялись рукопожатием, крепким, но безмолвным. Передав привет Язеву, который с самого начала разговора был вызван на НП полка, командир и комиссар дивизии пошли по тропинке в глубь леса, к тому месту, где они оставили свою машину.

— Вот ты хвалил все полковника Кораблева, — сказал Минович, — а на меня он произвел впечатление человека медлительного, закорюзлого и, к тому же, мелочного и самолюбивого. Мало того, что принял неправильное решение, но он явно не хочет от него отказаться.

— А мне как раз нравится, что он не отказывается, — быстро ответил Городков. — И потом — что значит неправильное решение? Он исходит из задачи, вчера ему поставленной, и решил он свою задачу правильной и лучше, чем командиры других полков. Больше тебе скажу — именно из-за того, что он лучше всех решил эту задачу, и стало возможно то изменение плана операции, которое мы сейчас производим. Это военный до мозга костей и талантливый человек.

— Не вижу все-таки, в чем его талант.

— А это сразу заметить трудно. Вот, например, такой случай: когда наша дивизия, окруженная немцами, пробивалась на соединение с армией, полк Кораблева прикрывал отход главных сил. И знаешь, он так оригинально расставил огневые средства: утюгом, как мы смеялись сегодня. Есть у него, конечно, недостаток, его он проявил сейчас: он еще не вполне научился сочетать свое твердое руководство и всяческое развязывание инициативы каждого командира, каждого бойца. Ведь к нам идет тот же советский человек, который проявляет чудеса инициативы во всех областях промышленности, науки, культуры. Он в армию приходит, чтоб драться за родную землю... Как же ему здесь не проявлять свою инициативу? Некоторым кажется, что насыщенный военной техникой бой предполагает полное обезличие подчиненного, нечто вроде шахматной игры. А дело обстоит как раз наоборот. Современная техника обуславливает такое быстрое изменение обстановки на том или ином участке боя, что подчиненный командир в условиях общей задачи, которая поставлена всей части, должен действовать самостоятельно, а задача старшего командира, помимо всего прочего, состоит в том,

чтобы уметь использовать успех младшего в полную меру. В шахматах две пешки равны друг другу, а в военном деле — совсем не так: будь на месте Закоморного другой — он в этих же условиях ограничился бы своей задачей. Наш Алексей Дмитриевич не всегда это понимает — неповоротлив. А с нашим противником, с которым ухо надо держать востро, этот недостаток может привести к гибели. Но у полковника Кораблева этот недостаток умеряется величайшей добродетелью: дисциплинированностью. Сейчас он будет мой план выполнять, как свой.

А какой хозяин! Я прибывающих к нам командиров посылаю учиться к полковнику Кораблеву. Бесперебойный подвоз боеприпасов, в бою горячая пища доставляется в первую линию, и это стало боевой традицией его хозяйственников и поваров. А санслужба! Без всего этого военному дарованию, да и всякому — грош цена.

Комиссар молчал. Он вдруг, непонятно отчего, помрачнел, и, почувствовав это, командир тоже замолчал... Рассуждения командира пробудили в комиссаре тревожные, озабоченные мысли, относящиеся ко всей прожитой жизни и в особенности к последним годам ее.

III

В 1937 году Исидор Минович, большевик с 1916 года, превосходно выполнявший все ответственные поручения партии, почти самоучкой достигший разностороннего образования, и очень талантливый оратор и лектор, выбран был в Верховный Совет и введен в состав правительства. Ему была поручена важная отрасль народного хозяйства.

Вскоре Исидора Львовича вызвали на заседание одной из верховных инстанций партии и попросили дать справку по Наркомату, ему порученному. Этот Наркомат обслуживал мирные потребности населения, но была в нем одна область работы, связанная с военной промышленностью; сложность этого дела состояла в том, что оно не было сосредоточено на специальных заводах, а было вкраплено в производство всех многочисленных заводов Наркомата. В числе прочих дел Исидор Львович имел также представление и об этой важ-

нейшей отрасли работы своего Наркомата, представление ясное, но довольно общее.

Когда его вызывали на заседание высшей партийной инстанции, то заранее осведомили, о чем будет идти речь. Исидор Львович просмотрел все нужные материалы, уверенно и весело прибыл на заседание — и вдруг сразу же обнаружил, что люди, ждавшие его разъяснений, во много раз лучше его знали, что делается на заводах его Наркомата. Все на заводах шло хорошо, но выяснилось, что это объясняется деятельностью талантливых инженеров-конструкторов, рабочих-стахановцев, а он сам, Исидор Львович, руководитель всего дела, к этим успехам не имеет никакого отношения.

Но ведь вызвали-то Исидора Львовича для того, чтобы на почве имеющихся успехов двинуть вперед эту военную отрасль работы его заводов, — этого требовали задачи обороны страны. «Как же мог человек, которому страна так много доверила, не помнить об этом?» — спросил Минович докладчик, молоденький инженер. Исидору Львовичу оставалось только признать свои ошибки.

Он их признал. С отвращением и горем взглянул он на себя. «Вельможа! — сказал он себе. — Старческое самодовольство, самоуспокоенность...» И еще многие беспощадные слова пришли ему на ум.

Он готов был к тому, что будет подвергнут критике в печати и на партийном собрании Наркомата.

Ничего этого не произошло. Ему просто поручили другую работу, и возразить против новой работы он, казалось бы, никак не мог. Исидор Львович всю жизнь любил художественную литературу. Когда он читал хорошую книгу, мозг его точно горел, он смеялся и плакал, и вслух разговаривал с героями. С годами любовь эта стала ровнее, сознательнее. Он хорошо разбирался в явлениях литературной жизни. Ему поручили учреждение, ведающее работой издательств. Исидор Львович мог теперь встречаться с писателями, способствовать выходу в свет хороших книг... Казалось бы, новая работа была подобрана для Исидора Львовича очень тщательно, с учетом его склонностей.

Но Исидор Львович узнал, что, когда принималось решение о нем, один из самых уважаемых людей в партии сказал о нем: «краснобай» (Исидор Львович был

известен как талантливый оратор, в последние годы выступал особенно много, часто и по разнообразным вопросам).

Казалось бы, слово это было гораздо менее обидно, чем те упрекающие слова, которые Исидор Львович говорил сам себе, да и сказано-то это слово было, как передавали, без всякой злобы, скорее с насмешкой, но оно точно припечатало душу Исидора Львовича. «Краснобай» — он даже обратился к словарям и к живым знатокам и хранителям сокровищ русского языка. «Краснобай» — говорун, рассказчик, шутник. Красно баять — говорить красно, складно, красиво, но попусту. «Попусту»? С минуты, как только это слово было сказано, он почувствовал, что оно до тончайшего оттенка верно.

И казалось бы, чего болеть Исидору Львовичу? Страшное слово было сказано в кругу очень узком, люди довольно добродушно посмеялись над товарищем! Его сняли из Наркомата, но Исидор Львович прекрасно сознавал сам, что нельзя было его не снять. Его сняли бережно, очень бережно, — и даже в этом чувствовал он какую-то неясную обиду. «Не вникай в нее», — говорило ему чувство самосохранения, но он все-таки занялся этой обидой и до дна испил ее горечь: с ним обошлись, как обходятся со стариком. «Был конь, да изъездился». А тут произошло еще одно событие: его дочь родила, у него появился внук.

— Вот мы и старики с тобой, Леля, — сказал он жене.

Молодое, ничего не признающее существо орет у него в квартире (муж дочери жил под Москвой в одном из военных городков, дочь рожала в Москве и осталась на квартире у родителей).

Здравствуй, старость!.. Он даже отпустил бороду. «Дедушка», — твердил он себе. Он требовал, он умолял, чтобы зять и дочь с ребенком переехали к нему. Не сразу, но все-таки это удалось, и тогда Исидор Львович весь обратился к этому существу, так медленно продиравшемуся из неосмысленности. Он следил за чистотой пеленок и за температурой ванны, за погодой и за тем, достаточно ли подслащена кашка, на Новый год он не дал выпить дочери вина, он праздновал первый зуб, и второй зуб, и третий зуб, и первые шаги по комнате, и разгадывал смысл первых слов и говорил ими. «Ты поглупел», — нежно, насмешливо и грустно

говорила ему жена. Он пожимал плечами: «А что мне остается?» — про себя отвечал он.

Статная, с легкой походкой, безудержно веселая, Елена Васильевна была на десять лет младше мужа. Всю жизнь она чувствовала себя его сверстницей и только сейчас впервые ощутила разницу их лет. Она после работы попрежнему и летом и зимой шла на реку: купанье, гребля, коньки и лыжи. Бабушка? Нет, она не чувствовала себя бабушкой...

По обращению с собой сына и дочери угадывал Исидор Львович, что его жалеют, может быть, даже и посмеиваются над ним. «Ну и пусть будет так», — говорил он себе и отходил ото всех. Больше всего дружил он со старухой-нянкой. Казалось, все, что когда-то так ярко горело в этом человеке, сейчас навсегда погасло...

Война... И первое, чем он занялся, это до всяческих эвакуаций настоял, чтобы дочь и внук уехали на восток. Зять был в Действующей армии, и не легко было Исидору Львовичу настоять на том, чтоб дочь уехала из Москвы.

Это произошло в первых числах июля. Исидор Львович и Елена Васильевна, вместе вернувшись с вокзала на квартиру, застали на столе написанную торопливым почерком записку от сына.

«Родительский комитет! (Это шутливое обращение было усвоено еще со времен школы.) Заходил проститься, ибо сегодня вечером уходим из Москвы. Жалею, что не застал. Маршрут наш через Красную Пресню — может, еще нагоните? Костя».

Родители недоуменно и испуганно переглянулись. О том, что сын записался в ополчение, они уже знали. Костя был близорук до того, что без очков ничего не видел. У него было полное освобождение от армии.

Исидор Львович не относился серьезно к тому, что Костя, большой, мешковатый, в свои двадцать три года похожий на подростка, пойдет воевать. По соображениям Исидора Львовича, ему вообще не следовало идти в армию — пусть бы занимался своей математикой. И вот Костя уходит из Москвы, уходит на запад одним из сотен тысяч московских ополченцев. Тот Костя, который родился в теплушке и в младенчестве перенес все невзгоды кочевой фронтовой жизни, о ко-

тором было столько споров, как его назвать. Электрон? Радий? Пока родители спорили, его назвала Костенькой старая нянька. Он плохо учился (интересовала его только математика), был апатичен и рассеян, силен, добр и обжорлив.

В классе над ним смеялись. Но когда в школе началось преподавание элементов высшей математики, Исидора Львовича посетил преподаватель математики и заявил. «Не знаю, как в отношении других предметов, но что касается математики, к концу года вашему сыну нечего будет делать в средней школе».

Родители были восхищены, обрадованы, однако новое положение «гордости семьи» никак не шло к Косте. Он жил попрежнему. В прошлом году кончил университет и был оставлен в аспирантуре. Со времени рождения крикливого племянника он предоставил ему свою комнату и переехал в общежитие. Все это было сделано тихо и воспринималось всеми, как должное.

И сейчас, держа в руках прощальную записку Кости, Елена Васильевна вдруг в голос заплакала, беспомощно и недоуменно.

— Что ж это? — спрашивала она мужа. — Как же это? — точно не было двадцати трех лет, как будто только отняли у нее большого белоголового ребенка, всегда улыбающегося беззубым слюнтявым ротиком.

Они вызвали машину и поехали вдогонку за сыном.

Был поздний летний вечер. Шофер, еще не привыкший к затемнению, ехал медленно и порой, обернувшись, виновато говорил:

— Чортова темнота, а привыкать, видно, надолго придется.

Ему не отвечали. Исидор Львович держал в своих руках руку жены, такую знакомую, милую и сейчас совсем неподвижную.

Машина шла мягко, медленно, и медленно двигался мимо них великий город. Минутами Исидор Львович забывал о сыне, о жене, о том, куда он едет. Он думал только о том, как посреди русской земли, раскинувшись на сотни квадратных километров, лежит великая столица. Она сбросила прозрачные одежды электрического света, которые придавали ей беспокойную бессонную красоту, и надела синие прозные покровы ночной темноты. Исидор Львович не узнавал знакомых до-

мов, не узнавал веселых московских кварталов, которые приобрели слитность и выпуклость бастионов.

— А ведь Москва кажется крепостью, — сказал он, и Елена Васильевна тихо пожала его руку.

Они уже ехали по Пресне, по ее горбатым старым улицам. Шофер остановил машину.

— Дальше не проедешь, — войско стоит, — сказал он.

Исидор Львович поглядел перед собой, ничего не увидел в синей тьме, но прислушался и услышал рокот, в котором тонули и гудки автомобилей и скрежет трамваев, — это был рокот человеческих голосов. «Так вот оно — ополчение», — подумал Исидор Львович, и какая-то мгновенная боль, живая и молодая, прошла у него по сердцу.

— Ты посиди, Леночка, а я сейчас, я здесь выйду.

Он вылез из машины и, порою спотыкаясь, быстро шел по щербатой старой мостовой. Бесконечные темные ряды окон, смутно видны стены белых домов, и глубоко синеют между крыш провалы звездного неба.

Ополченские колонны занимали всю улицу, от одного до другого тротуара. Подходя к крайним рядам, Исидор Львович видел, как в темноте поблескивали штыки. Ополченцам дали винтовки, но еще не успели обмундировать, и даже в темноте заметно было вольное разнообразие костюмов. Что-то очень давнее, молодое вспомнилось Исидору Львовичу — таким первый раз, еще в отрочестве, увидел он проходящий по улице отряд рабочих самообороны. Но то была маленькая кучка, а здесь он шел и шел — да, это было войско. По тротуарам трудно пройти: там толкотня, теснота, так толпятся на вокзальных перронах, провожая родных, — вся Красная Пресня провожала ополчение: объятия и поцелуи, смех и плач. Если ополченец просил напиться, то из дома выносили не только воду, но хлеб, огурцы, ягоды, полотенца — все, что было в доме съестного, и все, что подвертывалось под руку.

Исидор Львович слышал, как молодой командирский голос отчаянно кричал: «Женщины! отставить таскать нам веревки!» Оказывается, у кого-то из ополченцев не было ремня на винтовке. «Откуда вы взяли столько веревок, тетеньки?» — слышал Исидор Львович смеющиеся голоса. «А на чем наша Пресня белье вешает?»

Веревка для белья! Ее берегли из года в год, из-за

нее во дворе возникали длительные конфликты, и дело доходило до товарищеских судов. Каждый, кто живет не на облаках, а на земле, знает, как дорога сердцу хорошей хозяйки бельевая веревка. Сейчас она разрезана и тоже пошла на войну.

— Исидор Львович! Чего ты здесь ходишь?

Исидор Львович взглянул в ту сторону, откуда его спокойно окликнул этот красивый и сильный голос. Широкое бледное лицо и седые волосы, белый отложной воротничок, по-мужски завязанный галстук — Ксения Латышева, член Верховного Совета, давний друг...

— Сына ищу, — ответил Исидор Львович, пожимая ее большую жестковатую руку. — А ты?

— У меня тоже ушли двое, да здесь их нет, я латышевцев провожаю.

И сразу Исидор Львович вспомнил священную легенду Красной Пресни.

Восстание на Пресне догорало. Большевик-дружинник Латышев один продолжал отбиваться на баррикаде, и его расстреляли перед окнами рабочего общежития, на глазах стариков, женщин и детей. Возмужав, эти дети сражались в рабочих батальонах Пресни в Октябре семнадцатого года и, победив, назвали свой завод именем Латышева. Сейчас этот завод посылал на фронт несколько рот в составе Краснопресненской дивизии.

— Я никогда от вас не уйду, — будто бы крикнул Латышев перед смертью в сторону разбитых окон рабочей казармы.

И вот жена его, которая работает в другом районе, в этот торжественный час пришла сюда...

Красная Пресня! Священная пыль твоих старых улиц, тяжелая и жаркая, одевает твое ополчение, пыль, впитавшая в себя столько драгоценной крови...

— Тебе, значит, нужно университетских, — медленно говорила Ксения Ивановна, — ты их найдешь впереди, довольно таки далеко впереди.

Исидор Львович хотел уже двинуться вперед, но тут он вспомнил, что Елена Васильевна ждет его, и он повернул обратно.

Шофер возле машины возился с крышкой.

— Заснула наша Елена Васильевна, — сказал он.

— Прекрасно, — ответил Исидор Львович. То, что жена, утомленная всем этим днем, сейчас уснула, облег-

чало план Исидора Львовича. — Вези ее домой, — сказал он, — а когда она спросит обо мне, скажи, что я пошел искать Костю.

И опять он шел по этой темной жаркой улице, как бы насыщенной слезными всхлипами, любовными обещаниями, клятвами не забывать и клятвами победить.

— Возвращайтесь с победой, — просили горячие женские голоса.

— И они думают с нами, с русскими, справиться! — раздалось гортанное восклицание.

Исидор Львович оглянулся: это воскликнул высокий горец в кубанке, может быть, черкесский юноша, приехавший учиться в Москву.

Откуда-то издалека прокатилась команда. Ополченцы отделились от провожающих, быстро построились посреди улицы и двинулись вперед.

Исидор Львович пошел рядом с ними, обгоняя их и время от времени спрашивая, где идет батальон университета.

Колонны ополченцев порой останавливались, а он шел все вперед, чтобы догнать сына. То там, то здесь командирские голоса, отличные один от другого, отсчитывали шаг, ровняли отделения.

Исидору Львовичу было хорошо, он вспомнил старину и шел крепким строевым шагом.

Они поднялись на мост. Внизу тускло поблескивали рельсы железнодорожного пути, тихо и медленно, точно крадучись, проходил железнодорожный состав, платформы, и на них какие-то темные массы, на каждой платформе неподвижный часовой.

Исидор Львович угадал прикрытые чехлами танки и пушки.

Потом шоссе нырнуло под мост. Над ними с грохотом пронесся поезд. Еще один мост и снова поезд.

С гордостью подумал Исидор Львович о том, как пульсирует огромное сердце — Москва, как гонит она поезд туда же, на запад, куда уходят ряды ополчения.

Улица вдруг раздвинулась, среди темных парков поднялись брусня новых домов. Порой в глубине квартала возникало биение, глухое и сильное, — это работали заводы.

Начало светать, когда Исидору Львовичу удалось наконец нагнать батальон университета. К этому време-

ни Исидор Львович уже устал порядком. Как-то сразу узнал он сына: Костя шел крайним с правого фланга. Он совсем не выглядел таким нескладным, каким казался отцу. Он был в обычном своем летнем сером костюме и белой рубашке без галстука. Никак Исидор Львович не мог определить, что в нем появилось военное, но что-то появилось. Он нес не одну, а две винтовки.

Чувствуя, что каждое биение сердца причиняет ему боль, Исидор Львович окликнул сына, но голос его был слаб. Сын все-таки услышал, обернулся, и глаза его радостно блеснули под очками.

Командир, выделявшийся своей военной формой среди пестрых рядов ополченцев, уже заметил быстро идущего рядом с колонной маленького старичка с орденом и флажком члена Верховного Совета. Увидев, что старичок замедлил шаг перед одним из взводов, командир подошел к нему и разрешил ополченцу Константину Мировичу выйти из рядов.

— До чего велика Москва, — сказал Костя, пожимая руку отца. — Сколько идем, никак не можем вырваться из ее материнских объятий.

И тут Исидор Львович сказал Косте о матери. Костя выслушал, кивнул головой, спросил о том, как уехала сестра, и снова спросил о матери...

Отец и сын продолжали идти рядом с колонной ополчения; Костя все поглядывал на свое место в строю.

— Почему у тебя две винтовки?

— Изнемог у нас один, очень милый товарищ, — знаешь, не все ведь такие уродились, как я. Как мы, на твой взгляд, выглядим? Ведь еще не войско? Но мы будем войском!

— Костя, имеет ли смысл идти тебе рядовым? Если идти в армию, так командиром.

— Важно пойти, а там разберемся. У нас забавные разговоры были... Один пианист сказал: «Когда мы шли в ополчение, то рассчитывали, что нас здесь используют по специальности». — «Что же мне, по-вашему, спины здесь тереть, что ли?» — ответил ему другой ополченец, по профессии банщик. — И Костя вдруг, как будто без связи со всем предыдущим, произнес: — «Над всей Европой дракон, разинув пасть, томится жаждой... Кто нанесет ему удар?» Это Блок спрашивал. «Мы нанесем ему

удар», — так отвечает сейчас наше поколение. — Он вдруг остановился. — Папа, — сказал он, — возвращайся домой! Спасибо, что ты меня догнал. Маму поцелуй. Я очень люблю вас, родители.

Исидор Львович почувствовал себя очень маленьким в его сильных и мягких объятиях, и невольный всхлип вырвался из его гортани.

Сын уже уходил, опять в рядах, со своими двумя винтовками. В этом месте шоссе встретилось с каналом Москва — Волга и нырнуло под него. По каналу проходил пароход, алые полотнища играли под ветром, а далеко впереди за каналом виднелась широкая кромка подмосковных лесов: там — Россия, страна. Шоссе там делало петлю за петлей, и стало видно, как многочисленны колонны ополчения. Их пестрые квадраты покрывали собою все шоссе...

Исидор Львович оглядывался. взволнованно и изумленно, он давно не бывал здесь. И как же изменилась Москва! Но он узнал старинную усадьбу с деревянными колоннами, дымящийся пруд с кувшинками. Здесь в молодости катал он на лодке Елену Васильевну с ребятами. И этот остаток старинной Москвы был бережно вкраплен в грандиозный узор парков, дворцов культуры, новых кварталов жилых домов, величественных аэродромов и стадионов. Громадные пространства заняли теплицы, отражающие в своих стеклах розовое солнце восхода.

Точно впервые видел Исидор Львович все это могучее цветение. Нет, не о сыне он думал сейчас, а все казалось, что снова, как вчера на перроне, держит он на руках внука. «Внук, я поднимаю тебя высоко вверх, руки мои затекли, но я держу тебя, гляди вперед, в будущее, в те прекрасные дали двадцатого и двадцать первого столетия, которые ты увидишь там, за той черной тучей, которая сегодня застлала наш запад. Мне их не увидеть, но ты их увидишь. Скажи, что ты видишь?» — Но внук спит, кулачки его крепко сжаты, будущее спит, натуго свернутое в чудесных бутонах времени.

Взошло солнце. И, точно приветствуя его восход, заговорили трубы духового оркестра, и в блеске их металла загорелось второе, жидкое солнце.

Бесконечные ряды ополчения продолжали течь под

арку канала. Первые такты марша оркестр играл запинаясь и сбиваясь, впрочем, так же еще нестройно шли ряды ополчения. Но молодой оркестр упрямо повторял: «На бой кровавый, святой и правый», — и с каждым тактом он креп. «Мы еще не армия, но мы будем армией», — повторил Исидор Львович.

И старинный революционный гимн чудесно освещал и одушевлял все кругом. Москва, город осуществившихся мечтаний молодости! Об этом грядущем мечтал три десятилетия тому назад молодой большевик Исидор Минович, и вот она, страна осуществленной мечты: великолепные здания среди садов, населенные свободными и счастливыми людьми...

Но дракон, «разинув пасть, томится жаждой...»

Вернувшись, Исидор Львович написал письмо в ЦК. Он напоминал о своей прошлой армейской работе и просил разрешения пойти в Действующую армию или в ряды ополчения.

Ответ последовал быстрый и категорический: оставаться на своем посту... «Ты стар, — так перевел Исидор Львович этот ответ. — Ни к чему одушевленному тебя приставить нельзя, сиди, сторожи книги». Он вдруг отчетливо понял, как получилось, что он оказался вне этой войны. В то время, когда все лучшие силы советских людей обращены были на то, чтоб подготовиться к столкновению со смертным врагом, он позволил себе начать стареть, — вот и перевели в старики... Но сейчас он все понял, и он не согласен. И снова слал он в ЦК письмо за письмом...

День начинался в шесть утра, когда передавали первую сводку. Потом прибывала газета, потом — дневная сводка, потом опять газета. Иногда приезжал кто-либо с фронта, привозил вести, то утешительные, то неутешительные, но всегда сбивчивые. На карте флажками красными и белыми отмечен был фронт; красные флажки пятились, — это было несомненно. Теперь уже из Москвы эвакуировались некоторые наркоматы.

Исидор Львович не сомневался в конечной победе, но он знал также, что враг еще будет продвигаться и может дойти до Москвы. Какой дальнейший ход примет война? Он перебирал прошлое, он читал литературу по военным вопросам.

Со времени, как о нем сказано было это жгуче-обидное слово «краснобай», он совершенно перестал публично выступать. Он не только не хотел, он не мог читать лекций, судорога сводила его горло. Сейчас ему захотелось быть на трибуне — ведь он так много знал и помнил! Наступило грозное время бомбежек, и он решился. В МК его предложение принято было сразу и с охотой. Он стал лектором МК по военным вопросам. На партийных собраниях учреждений и заводов, на заводских митингах, на собраниях зенитных батарей снова заговорил Исидор Минович, и те, кто с восторгом слушали его, даже не подозревали о том, что он робеет, как комсомолец, впервые выступающий. Но ему помогал былой ораторский опыт. Через некоторое время Исидору Львовичу стали поручать инструктивные доклады, при постановке вопросов пропаганды с ним стали советоваться... Он видел, что его оценили, и это радовало его — точно это были первые шаги партийной работы.

Было жаркое июльское утро, пыль надувало в окно, всю ночь открытое. В комнату вошла Елена Васильевна. В руках она держала письмо.

— От Кости? — спросил Исидор Львович.

— От Кости, — ответила она и, присев на диван, на котором спал Исидор Львович, сказала, не выпуская письма из рук: — Слушай, что он пишет:

«Прямые высокие сосны растут на нашем косогоре. Они уходят в небо и кажутся тонкими. Восходы и закаты быстро разгораются и так же быстро гаснут над игольчатыми вершинами. Летняя смолистая сосновая сушь. А из лога, зеленого, спускающегося к реке и густо заросшего кустарником, тянет травянистой, лиственной сыростью, там непроходимые заросли калины, малины, черной смородины — те кудрявые кусты, о которых поется в песнях, те самые, в которые «пал, пал перстень».

Вспоминаю, как в зарослях малины, крыжовника, черной смородины искал я в пору моего милого детства этот золотой волшебный обруч. Ты запела раз эту песню, — помнишь воду, которая тихо зыбилась под смородиновыми кустами и была прохладна и казалась настоенной на смородине, а голос твой, все бы слушал и слушал его.

Как во дальности, во дали, во чужой земле
Собиралась стая, стаечка звериная,
Впереди бежит собака, лютый скимен-зверь,
Как на скимене-то шерсточка булатная...

Прошли годы, и вот точно снова поешь ты эту вещь-ую песню. Из дальней дали веков предсказал наш великий народ эту лютую собачищу с железной шерстью...

Лог совсем близко, ночью оттуда поднимается холодный туман. Но как радуюсь я, когда, проснувшись на утренней, вернее сказать, предрассветной побудке, вижу непередаваемо голубую дремотную дымку, колеблющуюся над кустарником, и ушедшие в высокое бледное небо стволы, прямые и тонкие, точно струны... Над игольчатыми вершинами гаснут последние, самые упрямые, предрассветные звезды, травы тусклы, они спят... В эти часы очень холодно. Красота родной земли была вокруг меня всегда, но никогда не ощущал я ее, скромную, строгую и нежную, так, как сейчас, когда стая бешеного зверья стала поганить наши ясные зори и тихие воды...»

— Это Костя пишет? — перебил Исидор Львович.

— Ну, конечно, — недовольно и удивленно ответила Елена Васильевна.

Исидор Львович не о том хотел спросить. Он, конечно, не сомневался, что письмо это написано Костей, ведь те песни, о которых писал Костя: и «пал, пал перстень» и «о собаке-скимене», сколько раз он сам слушал их... Черные стены теплушки, топится печурка, около нее жарко, у стен холодно, настороженным ухом прислушиваешься, не вкрадывается ли в стуж колес стрельба... Исидор Львович пишет статью, на коленях, прямо в блокнот, а жена качает сына и поет ему. Исидору Львовичу нравились эти песни, но только сейчас он понял, как глубоко упали они в душу сына, как проросли в ней... Красота родной земли. Так вот почему сам он, для которого не было ничего прекраснее веселых европейских городов, сейчас, с начала войны, с такой пристальной жадностью вглядывался в каждый зеленый листочек, в каждый клочок голубого неба... И на Елену Васильевну поглядел он сейчас по-другому. Они сошлись, как граждане вселенной, не думая о национальности друг друга. Сейчас он впервые подумал о том, что

она, сероглазая, чернобровая, с пепельными, начинающими бледнеть от седины волосами, неторопливой, плавной походкой, — что она русская. И со странным волнением и благодарной нежностью поцеловал он ее большую красивую руку.

А ночью была первая бомбежка. Она застала Исидора Львовича в одном из заводских клубов на докладе. Доклад был прерван, рабочие ушли в бомбоубежище. Исидора Львовича не хотели отпускать. Но ведь Елена Васильевна оставалась одна, и он вернулся домой, — машина его имела пропуск.

Небо поминутно раскалывалось. Несколько раз воздушная волна с силой сотрясала машину, шофер жалобно ругался и взглядывал на Исидора Львовича, но спокойствие, которого он сам не ожидал, вдруг сковало его душу. «Ничего, ничего, — говорил он себе. — Пусть еще будет хуже, я выдержу». У него только вдруг заколотилось сердце, когда, свернув на улицу, на которой стоял их дом, он увидел, что она ярко озарена колеблющимся красноватым светом. Похоже было, что горит их дом, но это горел соседний.

Он вбежал в темную квартиру. «Лена! Леночка! Еля!» — называл он ее давнишними, забытыми именами. Но все было пусто, и при зловещем красноватом свете он убедился, что в квартире ее нет.

Он сбежал в бомбоубежище: плач детей и желто-мертвенное лицо больной старухи-соседки, все это потрясло его до дрожи.

— Елены Васильевны здесь не было?

— Так она же на крыше, — сказала ему лифтерша. — Первая вышла, уже две зажигалки поймала. А вы чего же по лестницам бегаете? — Она жалостливо сквозь очки поглядела на вспотевшее лицо Исидора Львовича, который хотел опять ринуться наверх. — Я же вас на лифте подвезу.

Она везла его деловито-спокойно, в лифте горел свет, она вязала чулок, все было так, как будто он возвращался после работы домой.

И Елена Васильевна ходила по крыше, точно у себя дома, и даже тоненько захихикала, когда Исидор Львович споткнулся. Она вообще была простодушно-смешлива и очень часто не могла удержаться от смеха, видя споткнувшегося человека. Как всегда в минуты

волнения и нежности, она быстро и крепко схватила и стиснула левой рукой его правую руку и оглядела его:

— Ты у меня молодец, комиссар, я догадалась, что это ты на машине приехал.

— Пустяки, шла бы ты отсюда...

Но она, конечно, не ушла, и они вместе провели на крыше дома эту ночь боевого крещения великой столицы.

IV

После указа о всеобщем военном обучении Исидор Львович был одним из тех, кому это дело доверили по Москве.

Итак, он может надеть военную форму. С удовольствием сбрил он бороду, затянулся ремнем, надел сапоги. Он весь подтянулся, развернул плечи.

— А ты еще у меня дуся! — сказала Елена Васильевна.

Он вздохнул и ничего не ответил — никому не высказывал он своих печальных и серьезных мыслей.

«Краснобай»... За этим понятием стояло другое — констатировалось отсутствие в нем деловитости. А деловитость, дотошная и трезвая, та, о которой говорил Ленин, когда учил вниманию к мелочам, — вот что особенно требовалось сейчас от каждого советского человека, от хозяйственника и командира, от шахтера и бойца. Война требовала этих свойств, и он стал придирчиво следить за каждым своим поступком, за каждым словом, заставлял себя все, что приходило в голову, додумывать, сказанное — оправдывать делом, все, что делалось, — доводить до конца. Лучшие черты его молодости проснулись в нем. Ведь до первой мировой войны он был рабочий-слесарь, а в армии хороший солдат-строевик и работал в оружейных мастерских. Он мог пройтись по обучающимся отделениям всевобуча и придирчиво заметить все недостатки и погрешности, лечь в уличную пыль и показать, как надо переползать попластунски, разбежаться и со зверским лицом вонзить штык в соломенное брюхо воображаемого врага и безукоризненно, классически выдернуть обратно штык.

Он не успокоился, пока не научился разбирать и собирать все новые виды автоматов, минометов, гранат... Во всевобуче его любили, уважали и побаивались: он был требователен и придирчиво-педантичен. Дома его

нравственная перестройка выражалась иногда в смешных и мелочных формах: все должно было происходить с точностью до минуты, на письменном столе завелся невиданный порядок. Елене Васильевне, которая продолжала жить так же, как раньше жил сам Исидор Львович, его придиричивая ворчливость была непонятна, смешила и огорчала ее. «Старость, старость», — думала она, не подозревая, что это — новая молодость.

Все грознее становились события, Исидор Львович не успевал переставлять флажки на карте. Взят Киев, взят Харьков. Немцы уже на Валдае... Валдай! Тайнственные и заветные истоки великих русских рек.

— «В каждой ржавой капле начало рек, озер, болот», — словами Блока сказала Елена Васильевна и тут же добавила строго: — А ведь это кощунство, что они там.

Первый раз в жизни слышал Исидор Львович от жены такое слово.

В начале октября она позвонила ему на службу.

— Я за тобой заеду сейчас, — сказала она. — Привезли Костю, он в госпитале.

— Привезли? — переспросил Исидор Львович.

И она торопливо пояснила:

— Он ничего, он сам мне позвонил. Голос, правда, изменившийся, но ничего.

Они наперегонки бежали на третий этаж госпиталя, он хотел поддержать ее, но она его обогнала.

— Товарища Мировича, — в один голос спросили они у сестры.

Худенький и веселый мальчик, с головой, перевязанной белым бинтом, крикнул в палату:

— Сидорыч, к тебе.

Положение Кости все-таки было хуже, чем оба они предполагали. К телефону он смог подойти только в первый момент приезда, теперь у него был жар. Если б не жар, никогда, наверное, не схватил бы он так судорожно руку матери и не сказал бы, как в детстве: «Ма...»

— Да ничего особенного, — отвечал он на вопрос о своей ране, — только лихорадить почему-то стало. Ранили в плечо, но рана долго была открыта, нам впитером пришлось отбиваться, и просто некогда было перевязать, — Он помолчал. — Нас сильно побили, — сказал

он.— Немцы прорвали фронт. Об этом еще никто не знает здесь, положение очень трудное. Но мы богаче.— Он помолчал, точно недовольный словом.— То есть я хочу сказать — сильнее. Нас было пять — два колхозника, один конторщик, один электрик и один математик. Мы сказали, что не отступим, и думали, что погибнем, но все остались живы. Немцы — в массе своей — слабее нас. Вот что я понял. Нас было пять человек... пульсировала какая-то ничтожно малая частичка советского общества, а задержали немецкую роту. Дело все в том, что у нас еще не завершился процесс поляризации, а тогда мы будем их бить. Я видел их, я теперь знаю их. Это обездушенные, механизированные люди, доведенные до состояния манекенов. Хуже, конечно, манекенов. Манекен — просто мертв, вынь из человека душу человеческую — он и будет насиловать, грабить, пытаться... А наши люди — наоборот; это отбор человечества, его лучшие люди. «Гвардия человечества. Но мы не собраны. Молекулы еще раздроблены... А в войне решает сила, но какая сила? Разве может военная организация их разбойничьего государства осилить военную организацию нашего, социалистического? Для человечества — что? — Он облизывал губы и говорил все более несвязно.

Но Исидор Львович понимал его:

— Гвардия человечества, — именно так!

Пришла сестра и попросила их уйти.

Елена Васильевна вдруг сказала, что не уйдет. Исидору Львовичу пришлось прибегнуть к крайней мере и применить в отношении ее, как Елена Васильевна это называла, повелительное наклонение. Когда они уходили, Костя сказал, задержав руку отца в своей:

— Папа, я вступил в партию.

V

В ночь с 15 на 16-е Исидор Львович приехал домой поздно. Он знал, что положение очень серьезно, но ведь оно в течение лета становилось все серьезнее с каждым часом и с каждым днем. И он уже приучил свое сердце и свое дыхание к этому нарастающему суровому ветру. Исидор Львович в этот вечер заснул крепко и не слышал ночных тревог, но проснулся внезапно, с точ-

ным ощущением, что происходит что-то неладное. Где? В городе? Или в доме?

Окна с вечера были затемнены, он поднял штору, и сероватый, брызгливый рассвет неохотно вступил в комнату. Улица была глубоко внизу, ее не было видно, но почему в этот ранний час так часто проезжали машины? Поминутно слышно было хлопанье дверей, раздававшееся по всему большому дому. Эти-то звуки, наверное, и разбудили Исидора Львовича. Он подумал о Елене Васильевне, и она в этот момент вошла к нему в кабинет.

— Исёк,— сказала она,— сводка очень плохая (радио было у нее в комнате).— Он вопросительно посмотрел на нее.— Я вот точно не запомнила,— говорила она, поглаживая свой красивый широкий висок,— но так и сказано: «Положение ухудшилось» или вроде этого. Меня разбудил страшный грохот. Я даже вышла посмотреть на площадку и вижу — это Супрягины всем семейством выбирают, и Ляличка уронила какой-то чемодан. Петр Михайлович, такой, знаешь, беспокойный, потный, красный, и говорит мне: «А вы что?» Я говорю: «А что?» Он говорит: «А где ваш супруг?» Я говорю: «Спит». Тут он что-то такое замолол, что-то вроде: «Немцы в Кунцеве», и чтоб я тебя разбудила. Но я-то ведь знаю еще с тех лет,— нежно по отношению к «тем» годам сказала она,— я помню, как ты заставлял меня белье стирать, когда белые подходили к Сушке, чтоб паники не было: раз, мол, Миновичева жена белье стирает и никуда не бежит, значит, все хорошо, помнишь? Я и не стала с ним разговаривать. Захлопнула дверь и легла, а заснуть не могу, и тебя будить совестно. А тут радио!..

— Горячая вода есть? — спросил Исидор Львович. Он уже был одет.

— Да, — недоуменно сказала она.

Исидор Львович засмеялся, притянул ее к себе и сказал весело:

— Нет, стирать я тебя сейчас не заставляю.

Он спокойно брился, и она, как всю жизнь, с одобрением и любопытством следила за уверенным движением блестящего ножа, снимающего мыло и оставляющего чистую помолодевшую кожу.

— Положение, конечно, очень серьезно, но Супрягин — это... это... — он некоторое время выбирал среди различ-

ных малолестных выражений и так ничего и не подобрал.— Одним словом, это не герой. Война есть война, и особенно с таким сильным врагом, как немец. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям.

— Ты думаешь, будем драться в Москве? — спросила она строго и бесстрашно.

— Едва ли в Москве, — ответил он, — но, может быть, под Москвой.

— Я сейчас позвоню Косте в госпиталь. Как он? — беспокойно спохватилась Елена Васильевна.

— Позвони.

Он еще раз притянул ее к себе, поцеловал ее нежный висок, где русые волосы сильно посветлели от седины, и сказал:

— Будет звонить Сеня, пусть с машиной ждет у подъезда. Я, в случае чего, позвоню тебе или доберусь до тебя.

Пустынная лестница была вся освещена мирным спокойным светом электричества, точно не было ни войны, ни воздушных налетов, ни тревог, ни этого так зловеще начинающегося дня. Но на одной из площадок стоял щегольской заграничный чемодан. Он стоял на промежуточной площадке, на которую не выходили двери квартир, и Исидор Львович не мог удержаться — сердито пнул его. Чемодан упал набок, в нем что-то звякнуло. Но вниз Исидор Львович спустился спокойно. Попыхивая своей трубочкой, он выслушал торопливый рассказ лифтерши о том, кто сегодня уехал.

— А сама-то куда не собираешься? — спросил Исидор Львович.

— Я человек служащий, — обиженно ответила старуха. — Куда же я поеду? Вот Венгеровская теща тоже спрашивает...

— Это кто? Таисья Николаевна? — спросил Исидор Львович.

— Она, — ответила лифтерша. — Третьего дня уехала. Что ж, человек она не служащий, и чего ей в беспокойстве времени тут делать? У ней сестра в Самарканде. Вещей-то собрала! И собаку, и кошку, и пальму.

— То есть как пальму? — испуганно спросил Исидор Львович.

— Пальму, — спокойно ответила старуха. — В горшке у ней пальма, фениковая, что ли! Она мне все расска-

зала, что плод есть такой — феник, медовый плод. Феник она съела, а косточку посадила, целое дерево выросло, уж давно, ей-то самой ведь на осьмой десяток. Она его в оренбургский платок закутала; я думала, ребенок у ней, но она мне растолковала, что пальма эта из теплых краев. Это, — говорит, — бесчеловечно; я поеду к теплому солнышку, а она, это пальма-то, здесь останется. Что ж, пусть едет, — важно разрешила лифтерша.

— Это верно, пусть едет, — согласился Исидор Львович.

— А вы-то сами как? — спросила она.

— Так я тоже человек служащий, — ответил Исидор Львович.

Он еще раз оглядел старуху, горестно и озабоченно задумавшуюся.

— А немцев боишься? — спросил он быстро.

— А? — вздрогнув, переспросила она. — Немцев? Так они ж антихристы, фараоновы воины на колесницах. Как же не бояться?

Исидор Львович кивнул головой и вышел на улицу. И сразу, как только вышел, он забыл, куда идет, — так поразила и заинтересовала его улица. Нельзя сказать, чтоб она была многолюднее, чем обычно в этот час, когда люди идут на работу, но была во всех людях какая-то нахохленность, беспокойство. Трамваи проходили, увешанные черными гроздьями людей. На тротуарах часто попадались прохожие с тачечками, с вещевыми мешками, выражение лиц было тревожно-вопросительное, неприятное, точно сорвало кровлю огромного дома, под которой все жили.

Взгляд Исидора Львовича все время цеплялся за вывески магазинов и учреждений, за новые здания, он жадно всматривался во все молодые лица, попадавшие ему на пути.

Раздалось пение, из переулка вышла небольшая воинская команда, может быть, караульный взвод, идущий на охрану складов. Невелика была эта команда, и не очень дружно она пела, но не было человека, который бы не оглянулся на нее с выражением вопроса, надежды, раздумья.

И тут-то Исидор Львович заметил в толпе особенные лица, такие, каких ему давно не приходилось видеть, — просто непонятно было, в глубине каких квартир про-

существовали эти люди в течение долгих лет. Какое стылое выражение немой, и потому особенно страшной, ненависти!

«Подколодные гады...» — подумал Исидор Львович. Внимание его привлек высокого роста, широкий, еще не старый человек. Он никуда не торопился. В руках у него был портфель, но сегодня он вышел на службу пораньше, чтобы посмотреть, полюбоваться, приметить... Из-под прищуренных век он своими светлосерыми глазами скользнул по разгоряченным, встревоженным лицам двух девушек — они несли довольно тяжелые мешки, по старичку-еврею, тоже встревоженному, с выражением робкой просьбы оглядывавшему каждого человека.

Неожиданно эти светлосерые, нагло холодные глаза встретились с карими горячими глазками Исидора Львовича. «Бургомистр», — подумал Исидор Львович. И вдруг этот человек, «бургомистр», приложил руку к шляпе и поздоровался с Исидором Львовичем — поздоровался с вежливой улыбкой отдаленного шапочного знакомства. Исидор Львович тоже приложил руку к фуражке. Может, это, правда, знакомый? И только, когда он прошел, Исидор Львович наново увидел и эту улыбку, и этот жест. Это была насмешка. С ним, с членом правительства (у него был флажок Верховного Совета на его меховой, военного покроя, куртке), прощался, а не здоровался этот наглец, который спокойно решил ожидать немцев и в первый же день предоставить себя к их услугам.

Началась гулкая, беспорядочная стрельба зениток. Движение стало оживленнее, люди задвигались еще суетливее, что-то глухо ухнуло опять и опять; только падение фугасных бомб могло производить такой звук, отчетливо выделявшийся среди легких лопающихся звуков зениток. Похоже, точно бился кто-то в тяжелую, кованную железом, дверь, бился с настойчивой яростью, и все сотрясалося: толпа на улицах, старые и новые здания Москвы...

Исидор Львович вдруг с удивлением увидел, что пришел совсем не в штаб МВО, куда было направился, а к старому московскому металлургическому заводу, в последние годы наново перестроенному. Здесь он много лет вел кружок марксизма-ленинизма, отсюда его всегда выбирали: в Московский Совет, в Верховный Совет.

У самых дверей столкнулся он с секретарем партбюро Корнеевым. Тот нисколько не удивился появлению Исидора Львовича, точно даже ждал его. Молча и крепко пожал ему руку.

Они вошли в помещение партбюро. В первой комнате какая-то заплаканная женщина вытаскивала из шкапа дела и бросала их на стол. Она громко всхлипывала. Старичок в очках, с пышными усами, не обращая внимания на ее всхлипывания и хмурясь, быстро перелистывал эти дела и одни откладывал, а другие бросал на пол. На полу уже накопилась изрядная куча.

Корнеев из-за своего длинного носа недовольно покосился на всхлипывающую женщину и провел Исидора Львовича в свою маленькую комнатку. Здесь было все попрежнему: спокойные портреты вождей, красные томики Ленина в застекленном шкапу. Корнеев сел за свой стол и взглянул на Исидора Львовича с обычным выражением серьезного ожидания, точно Исидор Львович зашел в партбюро после очередного занятия кружка.

— Зашел поглядеть, как вы тут! — сказал Исидор Львович.

Корнеев одобрительно кивнул головой, двинул своими тоненькими, слабо намеченными темными бровями и, как бы раздумывая, вынул что-то из кармана и стал вертеть в руках: это была печать парткома.

— Половину завода мы эвакуировали еще в августе, — сказал он. — Вчера получил письмо — уже дали продукцию, выполняют программу, работу развернули, можно сказать, на вольном воздухе.

— А как здесь? — спросил Исидор Львович.

— Дневная смена пришла, ночная не уходит. Митинг нужен. Я пришел звонить в МК. Что ж, — сказал Корнеев просто и жестко, — из Москвы мы не уйдем — драться будем. Такое у нас сложилось мнение, — сказал он, пристально взглянув в глаза Исидору Львовичу, как бы давая понять, что если ты об этом пришел узнать, то знай.

И вдруг Исидор Львович вспомнил старуху-лифтершу. Казалось бы, бесконечно далекое расстояние лежало между той старушкой с ее разговорами о «фениковой» пальме и «фараоновых колесницах» и Корнеевым, окончившим Промакадемию, передовым человеком

эпохи, но ведь и старушка сказала, что она человек служащий и что из Москвы уходить нельзя.

Разговор их прервал страшный прохот. Женщина в соседней комнате взвизгнула, что-то упало и разбилось. Корнеев, усмехнувшись, взглянул на Исидора Львовича. «Трясут», — сказал он. И Исидор Львович сразу понял это страшное слово: оно целиком совпадало с его ощущением, что точно кто-то рвется в большую окованную железом дверь. Но как ни силен был враг, устои советской жизни оставались нерушимы.

Исидор Львович рассказал о Супругине, о чемодане на площадке, о встрече с «бургомистром».

— Да, денек, — сказал Корнеев, — лакмусовая бумажка. Все реакции прочтем в точных формулах.

Они сговорились, что будут звонить друг другу, и, почувствовав, что после этого разговора Корнеев, которого он раньше знал очень мало, стал ему кровно-родным человеком, Исидор Львович вышел на улицу.

Город попрежнему цоходил на муравейник, в который сунули палку. Исидор Львович видел, как по широкой асфальтовой долине Садового кольца медленно проходило огромное стадо колхозного скота. И тут же маршировал отряд людей, еще не снявших штатского платья, но уже вооруженных винтовками. Он вспомнил жаркую июльскую ночь и таких же людей, только что взявших винтовки. Жаркая пыль Красной Пресни... Москва станет крепостью, — она становится крепостью. Она подымает второй призыв своих сыновей.

У входа в штаб МВО тоже было многолюднее, чем всегда: часовой не успевал просматривать пропуска, и полутемная проходная была заполнена военными, командирами и бойцами. Многие были одеты по-походному, и на их лицах лежал отпечаток многодневной дорожной усталости, голода и напряжения. Были здесь также и женщины с озабоченными лицами, женщины около вещей, и все же, идя по коридорам громадного здания, Исидор Львович убеждался, что суета здесь какая-то совсем иная, не похожая на уличную, более того: она была даже враждебна уличной суете.

Исидор Львович вошел в комнату, где работал его знакомый майор Зубарев. Это была большая комната, которая сейчас показалась Исидору Львовичу тесной — так много народу стояло, сидело и ходило здесь. Были

тут и командиры и политработники всех родов войск, с самыми разнообразными знаками различия. И сквозь гул разговоров слышно было, как подполковник Ломовицкий — высокий, русский, с глазами, покрасневшими от бессонницы, размеренно громко говорил по телефону:

— Вам, товарищ лейтенант, надлежит заботиться только о том, что вам поручено. Соберите людей, где условлено, где — вы знаете. Проверьте наличие вооружения у каждого. К вам прибывает капитан Ломоносов и батальонный комиссар Рябинин.

— Не Рябинин, а Рябов, — поправил кто-то.

Ломовицкий зажмурился и отмахнулся.

— И они вам укажут, что дальше делать.

Ломовицкий повесил трубку.

— Вам кого? — обратился он к Исидору Львовичу, и все в комнате тоже вопросительно взглянули на него.

На всех этих лицах — молодых и старых — Исидор Львович прочел одно и то же выражение готовности, пожалуй, даже торжественной. Исидор Львович сказал, что ему нужен майор Зубарев. На придирчивый вопрос Ломовицкого, зачем ему нужен Зубарев, Исидор Львович вместо ответа назвал себя.

Ломовицкий удовлетворенно кивнул головой и записал что-то.

— Майор Зубарев должен прибыть к пяти часам утра. Если не будет никаких осложнений, конечно, он вам позвонит.

— Я сам буду звонить ему, — сказал Исидор Львович, ушел, и то же выражение, тревожное и торжественное, которое он заметил на лицах людей в комнате Ломовицкого и Зубарева, он видел сейчас на лицах всех людей, встречающихся ему в коридорах, и на лице молоденького адъютанта, который занят был разборкой и смажкой автомата.

Увидев Исидора Львовича, он вскочил, как знакомому, улыбнулся ему и, не спрашивая, пошел к дверям кабинета: он знал, что товарищ Минович идет к генералу.

Исидор Львович имел раньше дела с генералом по вопросам всеобща. Обычно они разговаривали подолгу. Но сейчас Исидор Львович сразу понял, что генерал не склонен долго разговаривать и принял его, чтоб выслушать только то, что заставило Миновича притти сейчас сюда.

«Вы, товарищ Минович, приятный человек, и я бы охотно с вами поболтал, но ведь вы сами понимаете, какой сегодня день»,—такое, примерно, выражение имели крупные, на выкате, темносиние глаза генерала, и его улыбка, и даже самый характер его рукопожатия.

— Пришел отдать себя в полное ваше распоряжение, — волнуясь, сказал Исидор Львович.

Генерал вопросительно взглянул на него.

— У меня при себе данные о готовности частей всеобуча: если прикажете, можно будет сформировать не плохие части. Да и сам я...

Он замолчал — ему не хотелось выражать словами то, что он переживал.

Генерал, ничего не ответив, взял Исидора Львовича за локоть и стал с ним неслышно ходить по мягкому ковру кабинета.

— Что в городе? — спросил он. — Я еще не выходил, но жена звонила, паникует, страшное дело. Она у меня трусиха, — нежно сказал он.

Исидор Львович рассказывал впечатления сегодняшнего дня. Генерал внимательно слушал. И только тогда, когда Исидор Львович рассказывал об Арсеньеве, генерал перебил его.

— С такими беда, — сказал он, — и особенно, когда такой попадется среди военных. В мирное время он ходит и шпорами звенит, а как дошло до войны, так беда. Он, может быть, даже и не побежит, как этот голубчик, но все равно — какой же от него толк? Командовать нужно, а у него язык к гортани прилип. — Он помолчал и сказал: — Да-да, Москва будет крепостью. Это верно. И пусть все лишние уходят из Москвы. Но уж кто остался — держись. А в общем-то у вас какое впечатление?

— Представьте, — отрадное, — сказал Исидор Львович, сам удивляясь и разводя руками. — Я вот так скажу, чтоб нагляднее было: мы — все равно, как сильный, очень мощный человек, который тренировался в комнатных условиях, а тут пришлось вступить в драку, страшную, кровавую и смертельную... Ну и приходится организм перестраивать в драке... — сказал Исидор Львович, радуясь тому, что все многообразные впечатления этого дня сливаются в один образ.

— Так, так... — пристально глядя на него и пожимая

его руку, говорил генерал. Исидор Львович хотел уже уйти, но генерал не выпустил его руки.— А сейчас вы куда?

— Поесть чего-нибудь надо,— сказал Исидор Львович.

— Видите, какое дело,— усмехаясь и все еще держа его руку, говорил генерал.— Я, конечно, не знаю ваших планов, но мне бы хотелось, чтобы вы остались здесь у нас. Зачем? А вот за полчаса до того, как вы пришли, звонит ко мне какой-то товарищ Самоцветный из депо и говорит, что железнодорожники хотят бронепоезд строить. Я его направил в соответствующий наш отдел, но ведь военное учреждение, может, и не сумеет охватить эти, так сказать, гражданские дела. Они сейчас такие, что весь народ поднимается. Товарищи Самоцветные будут звонить десятками, а вы, как член правительства, сумеете, как это говорится, увязать и согласовать начин общественных организаций с действиями нашей военной машины. А поесть, это что ж? И поесть, и поспать — это мы вам здесь все устроим.

Исидор Львович согласился и тут же позвонил домой Елене Васильевне. Она не удивилась, только заботливо спросила, не надо ли чего принести. Сообщила, что Костю эвакуировали, что от дочери письмо, что сыпь у Васеньки (так звали внука) прошла, как только перестала его кормить яйцами, и что прислан отпечаток Васенькиной ручки.

«Васенька!» — что-то теплое шевельнулось в душе Исидора Львовича. Он понял, что оно всегда там было, но точно замерло, а сейчас опять шевельнулось: грусть и воспоминания, надежда на то счастье, которое ждет его после войны — последнее, предсмертное счастье жизни.

На следующий день к Исидору Львовичу явился товарищ Самоцветный, секретарь комсомольского коллектива одного из железнодорожных депо. Едва ли ему было больше двадцати лет. Этот высокий и неуклюжий парень с белесыми вихрами и зеленоватыми маленькими глазками, вдруг замолкающий во время разговора и теребящий его нить, не произвел никакого впечатления в отделе бронепоездов, куда его направил генерал. Его даже толком и не выслушали. А выслушать стоило. Группа молодых инженеров и стахановцев разработала

проект постройки бронепоезда (после того, как им пришлось ремонтировать бронепоезд, пришедший с фронта).

Исидор Львович позвонил в отдел бронепоездов. Он назвал себя и спросил: «Говорят, у вас создан избыток в бронепоездах? Вам их девать некуда? Да?» Он высмеял и пригрозил и разъяснил: фронт движется к Москве, густота железнодорожных путей увеличивается — бронепоезда приобретают исключительное значение.

Через полчаса военный инженер из отдела бронепоездов, возрастом не намного старше, чем товарищ Самоцветный, но подтянутый и отчетливый, явился в кабинет к Исидору Львовичу.

На следующий день они пришли вместе. У обоих были красные глаза; Самоцветный зевал, беззвучно и судорожно раскрывая свой большой рот, с крупными белыми зубами, смуглый Перфильев (так звали молодого инженера) курил папиросу за папиросой. Они всю ночь просидели над проектом, съездили в депо. Они уже были на «ты».

Исидор Львович выслушал Перфильева. Самоцветный молчал и победоносно улыбался — он имел для этого основание.

— Что ты думаешь о том, чтобы вашу инициативу перекинуть в другие депо? — спросил Исидор Львович, обращаясь к Самоцветному.

— Как же я не подумал об этом? — огорченно, дернув себя за вихор, воскликнул Самоцветный.

Перфильев сощурился, и в его глазах блеснули внимательные искорки.

— Большое дело будет, — сказал он.

Исидор Львович позвонил Корнееву, и завод стал делать минометы. Исидор Львович объезжал фронт оборонных работ вокруг Москвы, ночуя где попало, и если добирался до еды, то старался наесться возможно сытнее, потому что не знал, когда придется есть следующий раз. Он похудел, в голосе его все сильнее слышались резковатые нотки его молодости, он по два-три дня не видел Елены Васильевны, и каждый раз она говорила ему, что он молодеет. Он спал не более четырех-пяти часов в сутки и чувствовал себя отлично. И когда он думал об этом, то представлял себе, что с ним происходит то же самое, что и со всем городом —

«жир превращается в мускулы», опять думал он и проверял военную подготовку отрядов всевобуча, и объезжал улицы, на которых росли баррикады... Даже лица людей изменились, даже походка москвичей стала другой. То, что предчувствовалось в ту жаркую и темную июльскую ночь, когда из Москвы уходило ополчение, то исполнилось сейчас, в эти жестковато-холодные, светлые от первого снега, октябрьские ночи — Москва стала крепостью.

VI

Городков и Мирович ехали по крепкой, скованной осенним холодом дороге. Мимо машины мелькала пестрая листва, и ярко светило солнце. Городков вдруг велел шоферу задержать машину.

— Младший лейтенант Велигур! — окликнул он.

Звонкий молодой голос докладывал:

— Младший лейтенант Велигур переходит на новую позицию.

— Вы знаете, кого будете поддерживать своим огнем? — спросил Городков.

— У меня со старшим лейтенантом Нахимовым связь установлена с утра, товарищ полковник, — ответил Велигур. В голосе его слышно было сдержанное недоумение и даже, пожалуй, обида.

— Молодцом-молодцом... А знаете, кто командир той роты, которой вы откроете дорогу своим огнем? — спросил Городков. — Не знаете? Лейтенант Закоморный. Смотрите, поддержите дружка!

— Приказано поддержать дружка, товарищ полковник! — ответил Велигур.

И в этих словах слышно было такое горячее чувство, что Исидор Львович высунулся из машины — взглянуть... Темнобровое молодое лицо, выражение сдержанной силы, ласковости, смекалки. Такие лица вызывали у Исидора Львовича сложное чувство. Что в нем преобладало: гордость или грусть? Исидор Львович отдал свою жизнь переустройству страны. Но миллионный массив нового советского человечества, поднятый этим переустройством, стал особенно разительно виден во время войны. Так сверху донизу виден саженный рост урожайного хлеба именно тогда, когда его косят.

— До свидания, товарищ Велигур, — сказал Городков. Он пожал руку Велигуру, задержал ее в своей и спросил: — Михаилу Ивановичу привет передали?

— Да разве вы всерьез тогда передавали привет, товарищ полковник?

— Я? — удивленно спросил Николай Ильич, показывая на себя растопыренными пальцами и как бы спрашивая: «Неужели этот человек способен шутить?» — Значит, не передали? Ну, жаль.

Машина пошла.

— Вы о Михаиле Ивановиче Калининe говорили? — спросил Исидор Львович. — Где его видел Велигур?

— Орден получал прямо из рук Калинина. Ну и... да тут долго рассказывать. Хотелось мне Михаилу Ивановичу о себе напомнить. Время тогда было такое, начало войны, приятно все-таки, чтобы он меня вспомнил.

Некоторое время они ехали молча.

— А как он обрадовался, когда узнал, что поддерживает огнем своего друга, — сказал Исидор Львович.

— Еще как обрадовался! — оживленно сказал Городков. — А вот мы и Закоморному сообщим, что его поддерживает огнем его друг Велигур. Сообщим, верно?

Исидор Львович кивнул головой. Они опять помолчали.

— Волнуюсь, — со смешком сказал Городков. — Здорово будет, если удастся то, что мы задумали. Но тут взаимодействие — экзамен для каждого нашего командира, проверка дисциплинированности, культурности, идейности, инициативы. Похоже, точно конструируешь сложный механизм, построенный на взаимодействии нескольких физических сил...

— С той разницей, что механизм военной машины основан на сочетании действий живых людей, — сказал Исидор Львович, поняв, какой путь проделала мысль Городкова до того момента, когда, подобно ручью из-под земли, она снова выбилась наружу. — И потому-то вы и придаете такое значение боевой дружбе Велигура и Закоморного.

— Совершенно верно, — сказал Городков и с веселым одобрением взглянул на комиссара: знакомы несколько дней, а с полуслова поняли друг друга...

Машина свернула в сторону фронта, опять слышнее стал неумолчный гул артиллерии. Чем дальше ехали

они, тем выразительнее были при ярком свете солнца зловещие следы войны: опаленные деревья, на месте падения снаряда черный оскал пустого окопа, исковерканный остов танка. На дороге, по которой сейчас так ровно катилась их машина, несколько дней тому назад шли бои. Вот она, показавшаяся из-за леса деревня Цвелево. Исидор Львович столько раз рассматривал ее на карте. Тогда еще недосягаемая, она была у немцев. Сейчас она в шести километрах позади линии фронта.

Крайние избы деревни были сожжены, но на пепелищах уже дымили землянки. Фронт урчал и грохотал совсем рядом, а люди уже возвращались на свои места — упрямство великое и стихийное!

Исидор Львович вдруг вспомнил, как в раннем детстве он пытался вымести метлой маленький ручеек, текущий мимо их дома. Казалось бы, ничего не стоило перегнуть в другое русло эти струи, нежные и ленивые, кажущиеся такими покорными. Но нет, с водой ничего нельзя было сделать: она снова упрямо возвращалась в свое русло. Можно было сколько угодно выметать ее, она оседала поблизости маленькими лужицами и через некоторое время опять стекала в свое русло.

... Только один столб остался от ворот двора, но к столбу привязана веревка, она протянута к расщепленному дереву. Статная молодая женщина, в белой кофточке, с голыми руками (как только ей не холодно?) развешивает белье... Нет, она не развешивает. Она внимательно глядит на дорогу. На машину? Нет, не на машину, — мимо нее. Она хмурится и вдруг, держа в руках застиранную вылинявшую, ребячью матроску, срывается с места и, размахивая ею, бежит, кричит, и крик этот вливается в какую-то общую и все нарастающую волну женского визга...

— Пленные, — сказал Городков, повернув к Миновичу весело-заинтересованное лицо и останавливая машину.

По широкой сельской улице, крепкий порядок которой то там, то тут нарушался обугленными черными пустырями, двигалось грязно-зеленое скопище понурых и обросших мужчин. По бокам, со штыками наперевес, шли красноармейцы. Их было мало, и никак не могли они оградить пленных от женщин, которые насккивали на немцев со всех сторон.

Исидор Львович видел, как мимо машины мелькнула та — в белой кофточке, с матроской в руках. Конвоир загородил ей путь винтовкой. Но, гибко перегнувшись, женщина наотмашь стегнула матроской по лицам одного, другого, третьего немца. Те смущенно прикрывали лица и вопросительно-жалобно поглядывали в сторону машины.

Между тем женщин налетало все больше, и каждая старалась ударить тем, что было у нее в руках, — мелькали лопаты, коромысла, рогатый ухват, веревка.

Конвоиры отстраняли женщин: «Ну брось, ну погоди, ну чего тебе!» — но делали это явно нехотя.

В сторонке у изб стояли старики. На их бородатых выразительных лицах видно было неодобрение, брезгливость, злорадство, раздумье.

И когда Исидор Львович оглянулся на Городкова, на его лице он прочел такие же чувства.

— А ведь это может кончиться самосудом, — обеспокоенно сказал Исидор Львович. Городков покачал головой, вздохнул и ничего не ответил. Исидор Львович вышел из машины и стал на подножку. — Товарищи! — крикнул он бодрым и резковатым голосом. — Граждачки! Ведь вы мешаете бойцам-конвоирам выполнять свое поручение. Так не годится.

Он с удовлетворением отметил, что один звук его голоса сразу же остановил женщин. Пленные продолжали проходить. На лицах одних была растерянность, они ни на что не глядели; другие, быстро проходя мимо машины, мельком взглядывали на Исидора Львовича, и он чувствовал в этих взглядах холодную злобу.

— Товарищ Игнатенко! — окликнул вдруг Исидор Львович знакомого ему инструктора политотдела, который, браво размахивая одной рукой, а в другой держа автомат, шел по обочине.

Игнатенко, кудрявый, с блестящими глазами и маленьким вздернутым носиком, обрадованно заулыбался, подбежал к машине и лихо приложил ладонь к своей пилотке.

— Их взяли в первом батальоне, у Нахимова, — ответил он на вопрос командира. — При мне взяли, прямо на моих глазах, — с удовольствием и гордостью сказал он. — Я проверял выполнение последнего приказа, обходил роты. И как раз, когда был во второй, ей в тыл

зашло вот это самое фрицье... — Он подбородком показал в сторону пленных, которые уже уходили по дороге. — Они выскочили к патронному пункту второй роты; рядом там кухня, санитарный пункт, боевой листок пишут, — ну, уж самый тыл, понятно. И все поднялись — повара, раненые, медсестра — уж это, правда сказать, боевая подруга. Так их встретили, прямо здорово!

Тут и я подошел, — скромно сказал он. — Первый удар сдержали — помощь пришла. Ефрейтор Нолдин, потом Аркаша Забалуев, — это у них известный герой, орден имеет, сибиряк, комсорг роты. Потом политрук пришел, Дементьев, это, товарищ комиссар, выдающийся парень, хотя и молодой. И он рассказал мне план, который проводит их командир — лейтенант Закоморный: невзирая на то, что рота отрезана от батальона, он наступление продолжает, — тоже выдающийся...

— И сейчас продолжает? Сейчас продолжает? — настойчиво и строго, двинувшись всем телом в сторону Игнатенко, перебил Городков.

— Продолжает, товарищ полковник, — серьезно и радостно ответил Игнатенко. — Это такая рота — геройская рота! Мы с политруком все время вместе были. Загнали этих голубчиков в болото, окружили, им ни туда, ни сюда и выйти нельзя, потому что попадают нам на мушки, а в болоте нельзя сидеть: вязнут. Когда сдались, так некоторых по пояс засосало, еле вытащили. Да я об этом донесение напишу — прочтете.

— Ты стих, товарищ Игнатенко, напиши, — с усмешкой сказал Городков.

— Приказано написать стих, — краснея, ответил Игнатенко.

— В добрый час, пиши... Поэт наш дивизионный, — пояснил Городков Мировичу, когда Игнатенко уже убежал. — Слышишь? Все выдающиеся — и командир, и политрук, и, конечно, — медсестра...

Машина тронулась.

— Пообтрепались господа фашисты, — сказал Городков. — В августе месяце взяла наша дивизия первых пленных, те поприглядистее были.

Знаете, о чем я сегодня думал, когда бабы на них насккивали? До какой крайности надо довести русскую жалостливую женщину, чтобы она на безоружно-

го так кидалась? Вот и довели. Только сейчас она и начинается, настоящая война. Вот она, наша война, — вдруг меняя голос, с горячей ласковостью сказал он, указывая в окно автомобиля.

Они ехали по мостику, перекинутому через громадный, видимо только что вырытый ров, уходивший вдаль, и на всем протяжении этого рва пестрели платки и разноцветные платья. Везде были женщины, они копали, они возили тачки с землей. Две переносили тяжелое бревно и остановились у самой дороги, чтобы пропустить машину. Они весело крикнули что-то вслед машине. Исидор Львович не успел разглядеть их лиц, но звонкая молодость голоса, взмах рук, блеск улыбок...

— Доченьки, — вдруг сказал Городков, всхлипнул, отвернулся.

Он так это сказал, что у Мировича тоже слезы брызнули из глаз, и они долго ехали молча, отвернувшись и каждый глядя в свое окно.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Вторые сутки Дементьев слышал непрекращающийся грохот боя, и этот грохот казался ему особенно выразительным, когда он вспоминал лица пленных врагов, которых уже увели в штаб дивизии.

Немца, который, чувствуя, что увязает в болоте, первый выскочил с криком: «Рус, бери плен», застрелили свои же. Они сдались только потому, что были загнаны в трясины, где им предстояла страшная смерть, и шли с упрямыми и злыми лицами.

Дементьев знал природу их упорства, он каждый день толковал о ней красноармейцам. Именно поэтому ему хотелось подробнее допросить каждого пленного, чтобы узнать наиболее выразительные проявления фашистской хищнической природы и оживить свои беседы с красноармейцами.

Однако, когда пленные были приведены в штаб батальона, Нухимов распорядился по-своему — присоединил пленных к тем, которые были взяты раньше, и всех отправил в штаб дивизии. С ними ушел инструктор политотдела Игнатенко, приветливо попрощавшийся с Дементьевым и наговоривший на прощание много дружественных слов.

Наблюдательный пункт батальона помещался на той же высокой гряде, на которой был наблюдательный пункт полка. Но здесь эта гряда становилась выше, каменистее, и вражеские мины, ударяясь о почву, усиливали свое действие, разбрасывая при каждом разрыве множество камней. Несмотря на это, по всему склону хребта шли саперные работы. Громадные сосны

падали с треском и шумом, в котором слышалась укоризна. Но то и дело по лесу раздавалось: «Санитара!» Тут было не до стопа падающих сосен.

Дементьева восхитила тщательность, с какой замаскирован был НП батальона. Спускаться нужно было под корневище громадной сосны. В глубине была поместительная пещера — там стояли столы, стулья и даже висело зеркало на дощатой стене. Рассеянный дневной свет падал сюда сквозь щель.

И отсюда Дементьев увидел вдруг ранее все время скрытую от него то деревьями, то кустами, то холмиками картину сражения, в котором он участвовал. Это было, конечно, не ~~все~~ сражение, а только один из флангов его, но как близко видны были отсюда краснокирпичные многоэтажные здания фабрики, окруженные прозрачным плетением садов. Насколько эти здания были сейчас ближе, чем когда он их увидел в первый день, когда только прибыл в дивизию! Вот оно, реальное проявление боевого успеха — не напрасны были труды и жертвы.

В городе что-то горело в трех или четырех местах, где-то там с краю был заветный дом, захваченный Митей Фетисовым; а слева, совсем близко, вон за теми знакомыми рыжими и стройными стволами сосновой рощи, дерется Закоморный. Дерется ли он еще?

— Так ведь мы с ним связи не имеем, — огорченно ответил Нухимов; его голос яростно клокотал от простуды. — Провод прерван, связные не возвращаются. Я ракеты пускал, он на них не отвечает, — может, из-за леса не видит? Но, видимо, дерется, слышна перестрелка оттуда.

— Сержант Забалуев к вам сюда не приходил? — спросил Дементьев. — После того, как мы взяли немцев, я послал его к Закоморному и потом велел прибыть сюда.

— Не было Забалуева, — сказал Нухимов.

— Товарищ старший лейтенант, к телефону, — перебил их разговор связист.

Дементьев рассеянно слушал. Нухимов извещал кого-то о прибытии двух мешков картофеля и мешка лука.

— Лук хорош, такой борщ заварим, аж у немца слезы брызнут, — надрывал он свой клокочущий голос.

Речь, очевидно, шла о каких-то воинских частях, которые прибывали в распоряжение Нухимова. Все это было так же интересно, как и освещенная ярким солнцем картина боя, на которой можно было различить переползающие по жнивьям и огородам, то скрывающиеся за дымом, то снова видные, фигурки людей. Дементьев не совсем понимал, где здесь свои и где немцы, но тут же лежал нарисованный на кальке отчетливый план местности. Сверяясь с ней, можно было понять то, что происходило.

— Гляди, гляди, вон рота Сорокодумова,— сказал Нухимов, указывая на дымки, то и дело вспыхивавшие и погасавшие метрах в пятистах правее знакомой Дементьеву роши, которая всегда казалась ему самым главным пунктом боя, так как за нее дралась его рота. Нухимов больше говорил не о роте Закоморного, а о роте Сорокодумова, который, хорошо справившись со своей задачей, вышел к северному краю глубокого оврага и крепко за него уцепился. — Немцы его с южной стороны все время шиплют, и он рвется в драку, но я его придерживаю до поры до времени,— и Нухимов сощурил зеленоватые глаза и таинственно поднял палец. — Сорокодумов — крепкий мужик (Сорокодумов был слабого сложения мальчик, студент физмата, и называть его мужиком можно было только для смеха). А вот дружок мой Маньков оказался щляпой: через его участок к нам немцы прошли,— и как они прошли, об этом у нас с ним будет беседа. — Нухимов произнес слово «беседа» через два «э», не то для важности, не то для того, чтоб рассмешить.

Как ни интересен был Дементьеву этот разговор, не на нем сосредоточивалось его внимание. Он думал о Закоморном, и он сказал Нухимову:

— Разрешите, товарищ старший лейтенант, взять мне своих бойцов и отправиться на соединение с ротой.

— Много народу-то привел? — спросил Нухимов.

— Двадцать два человека.

— Где они у тебя?

— Под горой, в укрытии.

Невысокая, в длинной шинели, фигура Нухимова круто повернулась к входу в пещеру, где сидел вестовой.

— Данилюк, — сказал Нухимов, — отправляйся под гору, разыщи группу бойцов из второй роты. Кто у них старший? — спросил он Дементьева и, получив ответ, опять обернулся к Данилюку: — Свяжись с ефрейтором Нолдиным, доберись до кухни батальона, чтобы, — он взглянул на часы, — чтобы через тридцать, нет, через сорок минут они были накормлены досыта. И с пивом.

При последних словах бледное и усталое лицо Данилюка оживилось, он повторил приказание и с особенным удовольствием ту его часть, в которой говорилось о пиве.

— Делай.

Данилюк исчез. Нухимов круто повернулся к Дементьеву, который с выражением несогласия на нервном, настороженном лице продолжал стоять около столика, где лежала карта. С удовольствием окинув взглядом его тонкую, но крепкую, в ремнях поверх ватника, фигуру, Нухимов подошел к другому столу, побольше, и стал вытаскивать из-под него и расставлять на столе разнообразную еду. Здесь были консервные банки с этикетками и без этикеток, уже открытые, початые и еще не открытые. На жестяном подносе с цветочками большим желтым комом лежало масло, розовела ветчина. Потом, многозначительно крикнув, Нухимов залез куда-то еще глубже, так, что совсем скрылся под столом, и вытащил большую литровую бутыл.

— Заветная, — сказал он нежно. Потом он встал перед Дементьевым, который был на полголовы выше его, и важно сказал: — Политрук Дементьев, прошу садиться.

И так как Дементьев открыл рот и хотел было возразить, Нухимов проскрипел с оттенком строгости:

— Прошу не вступать в пререканья.

Дементьев сел и, намазывая масло на хлеб, сказал просительно:

— Товарищ старший лейтенант, отпусти скорее! Ведь Филиппу туго приходится.

— Значит, ты считаешь, что, кроме тебя, о Филиппе никто не думает? Я могу приписать подобные суждения только тому, что у вас от голода ослабела умственная деятельность, товарищ политрук.

— Я серьезно, а вы шутите...

— Удивительное дело,— сказал Нухимов,— куда человеку торопиться? Ему созданы все условия. Красивые девушки приходят, его здоровьем интересуются...

— Какие девушки? — поперхнувшись, спросил Дементьев.

— Девушка была одна. Но если учесть время и место, то и этого много. •

— Какая девушка? — спросил еще раз Дементьев. Он покраснел, но не сводил глаз с Нухимова.

— Очень красивая,— сказал Нухимов и, показывая в угол, добавил многозначительно:— красивше моей совы.

Дементьев поглядел в самый темный угол пещеры. Там на куче гранат действительно сидела сова и пучила на Дементьева свои дремучие и яростные изумрудные глаза.

— Хороша красotka? — спросил Нухимов.— Ты, может, думаешь, я смеюсь? Я, как девушку вижу, сразу прикидываю в смысле красоты к моей сове. И уж если красивше моей совы...— Он взял бумажку, лежащую на столе.— Ирина,— сказал он.

Дементьев взял у него бумажку из рук, но там, кроме имени Ирины, ничего не было написано.

— Это санинструктор, я у зенитчиков лежал, она меня лечила...— краснея, говорил Дементьев.

Нухимов только собрался сказать что-то ехидное, как его позвали к телефону. Лицо у него сразу изменилось, на нем вдруг появилась важность, он перестал сыпать веселой скороговоркой и заговорил медленно. Он говорил условными обозначениями, но Дементьев их все понимал, и сердце у него забилося: ожидалась атака вражеских танков с правого фланга батальона.

Дементьев подбежал к щели — там попрежнему появлялись и вновь исчезали дымки ружейных выстрелов. По сравнению с оживленной стрельбой, которая доносилась слева, с того участка, на котором дралась рота Закоморного, здесь, на правом фланге, было тихо.

— Немного пообождать придется,— медленно сказал ему Нухимов.

— Товарищ старший лейтенант, я возьму своих, и, честное слово, мы остановим танки. Ведь вы знаете, прошлый раз мы остановили.

— Товарищ политрук,— размеренно сказал Нухимов,—

я вижу, вы думаете, что у нас только и свету в окошке, что вы со своими двадцатью двумя героями. Обратите внимание,— сказал он, указывая в окно.

Танки уже выходили из-за холма — продолговатые, черные, извергающие на ходу огонь и дым. И Дементьев сразу прикинул, что танки должны ударить по флангу и тылу его роты. Танки шли быстро, Дементьев начал считать и в волнении сбился со счета.

— Разрешите, товарищ старший лейтенант,— умоляюще сказал он,— ведь они прямо наших по флангу ударят...

Нухимов отрицательно покачал головой.

Прошло несколько долгих мгновений. Раздался легкий лопающийся звук выстрелов зенитных пушек. Дементьев взглянул на небо... самолетов не было видно, но два танка уже горели. На глазах Дементьева вспыхнул еще один танк. Зенитки продолжали бить. Дементьев понял, что бьют по танкам. Загорелось еще три танка. Некоторые танки повернули назад, другие продолжали двигаться вперед. Не больше десятка осталось их на поле, и свой огонь, как это предвидел Дементьев, они направляли во фланг роты Закоморного.

Прошла долгая минута, в течение которой Нухимов держал Дементьева за рукав. Слышны были лязгающие и хлопающие звуки гусениц. И вдруг почти одновременно вспышки бледного пламени охватили передовые три машины.

— Как видите, товарищ политрук, обходимся без вас. В хорошем хозяйстве все предусмотрено. В роте Сорокодумова команда истребителей, пожалуй, не хуже вашей. Закоморный может продолжать наступление,— фланг его в безопасности. А вам не мешало бы поучиться хладнокровию у великих полководцев—хотя бы у Нахимова. Я, конечно, скромно умалчиваю о себе, а говорю о своем великом почти однофамильце.

Дементьев молча вытер пот с лица.

— Я вел себя, как мальчишка,— сказал он.

— Ну, вам и, правда, не очень далеко перевалило за второй десяток,— небрежно сказал Нухимов, хотя ему самому едва ли было больше двадцати пяти лет.

В пещерку спустился комиссар батальона Позднеев. За ним — два начальника: один — с четырьмя прямоугольниками, другой — с ромбом и звездой на рукаве. У

полковника был такой незаметный и такой обычный вид, что в толпе Дементьев на него не обратил бы внимания. Зато у комиссара ярко румянили щеки, остро поблескивали карие глаза, на нем была какая-то диковинная зеленая куртка с меховой опушкой, его хотелось разглядывать.

Вытянувшись, выкатив глаза и, видимо, забавляясь своим голосом, Нухимов, кашляя и рыча, начал рапортовать по форме.

Полковник Городков выслушал рапорт, поздоровался с Нухимовым, оглянул всю пещерку, и Дементьева поразила спокойно-пристальная и втягивающая сила этих зеленоватых глаз. «Он меня уже никогда не забудет», — подумал Дементьев. Заметив сову, Городков засмеялся, толкнул Мировича под локоть и, указав ему на сову, сказал:

— Это, видать, для мудрости держит старший лейтенант, советуется с ней. Садитесь, товарищи.

И он сел на чурбашек, стоявший у стены пещерки

Нухимов, продолжая его шутку о сове, сказал, что он посылает ее в разведку по ночам.

Все рассмеялись.

— Ладно, — сказал Городков, и Нухимов сразу замолчал. — Рассказывай положение. Танковую атаку мы видели... Молодцы, по-гвардейски отбили.

Остренькое веснушчатое лицо Нухимова снова стало важным. Слушая его, Дементьев перестал беспокоиться о положении своей роты. Оказывается, то дерзкое движение, которое предпринял Закоморный, послав Фетисова овладеть домом на окраине, было сразу же поддержано — и не только в штабе батальона. Нет, дойдя до штаба дивизии, оно и там было понято. Теперь на участке батальона Нухимова было сосредоточено несколько стрелковых рот, танковый дивизион, минометная команда. Все это было в веснушчатых, сильно поцарапанных (от возни с совой) руках Нухимова, таких же мальчишеских, как и его лицо.

«Мы не были одиноки в то время, когда, опасно растянувшись на несколько километров и обнаружив у себя в тылу автоматчиков, все же не дрогнули и продолжали рваться к Фетисову и вышибать автоматчиков. О нас думали, верили, что мы делаем то, что надо. Так вот почему Филипп шел на такой риск».

Дементьев вдруг услышал свою фамилию:

— Штурмовую группу думаю я поручить политруку Дементьеву. Это он загнал немцев в болото и принудил к сдаче,— говорил Нухимов.

Командир и комиссар оба обернулись к Дементьеву, который встал навытяжку. У комиссара взгляд был веселый и непонятно виноватый, у командира — пристально-ласковый и беспощадный. По характеру этих взглядов Дементьев почувствовал, что командир главнее.

— Допросили пленных немцев? — быстро спросил Городков.

— Долго с ними разговаривать не пришлось,— ответил Дементьев,— но допросил.— Он сунул руку в карман и вынул записную книжку.— Вот здесь записано, к каким частям они принадлежат и кто их командиры.

— Охотно говорили? — спросил комиссар.

— Какое там охотно, — пригрозил, что всех перестреляю, тогда заговорили.

— Обыскали? — спросил Городков.

— Обыскали,— ответил Дементьев,— все документы у старшего политрука Игнатенко, он был вместе с нами. В разговор неожиданно вмешался Нухимов:

— Очень удачно провел политрук Дементьев операцию, хитрость проявил...

— Разрешите сказать, товарищ полковник,— краснея, заговорил Дементьев.— Заслуга здесь не моя, в этом деле отличился ефрейтор Нолдин, выдающийся командир.

— Выдающийся? — с непонятной усмешкой переспросил Городков, и сердце Дементьева замерло от этого взгляда, пристального и непонятно веселого.

— Опять выдающийся, — смеясь сказал комиссар дивизии.

— Выдающийся, — твердо ответил Дементьев. — И почти неграмотный человек, из лесной глуши, — он мариец по происхождению. Когда выбыл командир взвода, ефрейтор Нолдин принял командование взводом. Человек с прирожденным военным дарованием.

— Вызвать сюда! — коротко приказал Мирович, и Нухимов послал связного.

В пещерке теперь стало оживленно: то и дело приходили командиры, получали приказания Городкова и уходили. Позднеев подвел комиссара к той продолго-

ватою щели, в которую видна была картина боя, и что-то показывал. Командир тоже порой взглядывал туда, но он по преимуществу занят был осуществлением того самого главного дела, ради которого он сюда приехал. и Дементьева веселила и восхищала мысль о том, что это дело начато Закоморным. Дементьев видел, что город будет взят именно так, как этого хотел Закоморный.

Городков сейчас проверял, верно ли у Нухимова натянута основа, не перепутаны ли нити. Все действия Городкова лишены были суетливости. Они бы показались медлительными, если бы не были так точны, и он еще успевал время от времени шутить с Нухимовым, которого, видимо, любил.

— В Москву-то, старший лейтенант, не пришлось съездить?

— Как прикажете отвечать: официально или неофициально?

— Давайте неофициально.

— Съездил, — весело прохрипел Нухимов.

— Молодец.

Потом явился Нолдин, и Дементьев остался доволен. Нолдина сразу оценили. Отвечал он кратко и отчетливо, стоял вытянувшись, и желваки ходили под его чисто выбритыми щеками.

— Расскажи-ка, товарищ Нолдин, бригадному комиссару, как ты учил снимать немцев с деревьев, — сказал Дементьев.

У Нолдина вздрогнули ноздри, неяркий румянец прошел по скулам.

— Война выучила, товарищ бригадный комиссар. Как начали они нас с деревьев шелкать, тут пришлось сообщать. Мы попросту действуем, а здесь по-охотничьи надо. Мы слышим, как он стреляет с дерева, и лежим, а как он перестал стрелять, тогда ползем, — вот он нас на мушку и берет. А надо так: услышал, где он стреляет, ползи на него. Раз он стреляет и в тебя не попадает, значит — тебя не видит. А вот как кончит стрелять, замри, лежи, спасайся, — он тебя высматривает.

— Интересно, — сказал бригадный комиссар, попыхая трубкой.

— Интерес тут, товарищ бригадный комиссар, все равно, как на охоте. Ну, все равно, что на глухаря. Знаете, как он токует? Глаза закроет, ничего не видит

и заливается, в это самое время к нему и подползай. А вот если он перестал токовать, значит — оглядывается... Значит — попалась немецкая «кукушка».

— Тогда уж выходит, немецкий глухарь, — весело сказал комиссар. — Николай Ильич, ты послушай, какой тут рассказ интересный.

— Запишите для меня, — хмурясь, сказал полковник Городков.

Комиссар батальона Позднеев записывал рассказ Нолдина, а Дементьев стал прислушиваться к разговору, который у Нухимова и Городковса шел с молоденьким стройным лейтенантом.

Это был Маньков, командир первой роты этого же батальона, тот самый сосед второй роты слева, связь с которым сразу же в начале боя потерял Закоморный. Немецкие автоматчики проникли в тыл батальона именно через расположение первой роты. Лейтенант Маньков оправдывался и говорил, что рота его с самого начала боя сильно пострадала от минометного огня противника.

Городков, сначала хмурясь, слушал вопросы Нухимова и ответы Манькова. Потом вдруг спросил, обращаясь к Манькову:

— А почему вы сразу же не вывели роту из-под минометного огня?

Лейтенант Маньков медлил с ответом, и Дементьев, глядя на его измученное всем этим разговором молоденькое безусое и чистое, как у девушки, лицо, догадывался о причине его молчания. Лейтенант был первый раз в бою, растерялся, но сознаться в этом не хотел: стыдился.

— Нет, у меня были данные, что я попаду под огонь минометов, — подумав, сказал Маньков. — Но задача, поставленная передо мною, исключала передвижение с занятого рубежа.

Городков помолчал, словно давая ему время добавить еще что-нибудь, но видя, что Маньков молчит, сказал:

— То есть, это надо понимать так, что старший лейтенант Нухимов поставил перед вами такую задачу, которая неминуемо подвела вашу роту под огонь минометов?

По вескущатому лисьему лицу Нухимова быстро пробежал след какой-то насмешливой мысли, но вслух он

ничего не сказал, так как слова командира дивизии не были обращены к нему.

Хотя Маньков умоляюще глядел на Нухимова, тот молчал. Манькову надо было отвечать самому.

— Я не стал входить в обсуждение задачи, мне поставленной.

Городков вздохнул и сказал тихо:

— Надо не обсуждать, а рассуждать и так осуществить задачу, чтоб зря не терять с самого начала боя половину роты.

— Я не успел, — сказал Маньков, и облегчение появилось на его простодушном и измученном лице. — Не успел сообщиться с командиром батальона, и товарищ старший лейтенант не успел передвинуть меня... — Маньков, видимо, думал, что этими словами и особенно словом «передвинуть» ему удалось наконец выпутаться, не подводя своего приятеля и начальника, но Городков вдруг быстро крутнул головой, точно ему на шею хотели что-то накинуть, а он легко это сбрасывал.

— Ах, вас не передвинули, — сказал он насмешливо. — Конечно, вы просто пешка, сами не рассуждаете, решений не принимаете и за то, что половину вашей боевой силы сняли с шахматной доски в самом начале боя, вы не отвечаете? А вот слышали про лейтенанта Закоморного, который действует рядом с вами? Задачу, ему поставленную командиром батальона, он выполняет, но при этом не ждет, чтоб его передвинули, а действует сам... Ну что такое, казалось бы, стрелковая рота? Действительно, пешка, а благодаря действию этой пешки, которая в отличие от шахматной сама соображает, мы раньше на два дня, чем предполагали, возьмем город. Такова война, товарищ лейтенант, соображать надо. — И, обращаясь к Нухимову, полковник Городков сказал: — Снять лейтенанта с командования роты, назначить командиром взвода в штурмовую группу политука Дементьева. Пусть поучится воевать.

— Разрешите этим ограничиться? — козыряя и вытягиваясь, спросил Нухимов.

Городков пристально взглянул ему в глаза, Нухимов не отвел взгляда. Городков усмехнулся:

— Выгораживаешь приятеля? Ладно, этим ограничим-

ся. В прокуратуру передавать не будем, пусть в бою оправдывается.— Он взглянул на часы.— Политрук Дементьев,— сказал он,— пожалуйста сюда. Пришло время вам действовать.

II

Когда Мите Фетисову было тринадцать лет, ему пришлось однажды отбиваться от пятнадцатилетних хулиганов. И тогда он испытывал то, что и сейчас: тяжелая, ненавистная, несправедливая сила наваливается на него, давит и ломает, вгоняет в живое тело смертоносные лезвия, но надо драться, только драться.

Так же было сейчас. Тяжело раненные бойцы лежали в нижней комнате дома на кроватях, и с ними возилась маленькая Лиза. Здесь были нагромождены обезображенные, изуродованные кресла, обломки резных столиков и полочек, обгорелые остатки гардин. На стене висел портрет молодой красивой женщины. Это была мать Лизы. Смеющийся рот и прорывающиеся глаза. Немцы упражнялись в стрельбе и целились в эти глаза.

Митя старался пореже заходить в нижнюю комнату— здесь неподвижно лежал на спине большеглазый, с восковым лицом, сверстник Мити и тоже москвич — Сережа Званцев, он лежал неподвижно, чтобы не вывалились кишки из живота. Невозможно было слышать, как кашляет смуглый, с кудрявым черным чубом, украинец Сорока. Губы его были смочены страшной розовой пеной. Забравшийся под диван, раненный в голову Галиуллин рычал, как зверь, и нельзя было выманить его оттуда. И тут же безмятежно улыбалась со стены женщина с простреленными глазами, и маленькая Лиза встречала каждый раз Митю таким обрадованным взглядом, беззащитно-смелым и не сознающим ни своей смелости, ни беззащитности, что у Мити прибавлялось силы и он шел или в одну из огневых ячеек, к товарищу, или поднимался наверх в мезонин, который он важно называл: «мой НП». Здесь было самое опасное место этой маленькой крепости, но охотнее всего он находился именно здесь. Отсюда все было видно — и это подбодряло.

То, что Митя видел отсюда, не совсем и не всегда было понятно. Передвиженья шли по оврагам и лощинам

кам, но к которой из сражающихся сторон отнести слабые при ярком солнечном свете вспышки оружейного огня, вдруг возникающие в самых неожиданных местах: среди черных огородов и серо-желтого жнивья? К тому же, волны густого дыма неслись справа налево, то и дело застилая местность. Трескучий, неумолчно-нудный и разнообразно-беспорядочный раскат ружейной перестрелки делался все громче, бой приближался. «Наша берет»,— думал Митя. Однако туда, в сторону огородов и оврагов, взглядывал он редко. Его внимание все время было занято черными дымящимися развалинами соседних домов. Там в подвалах находились немецкие позиции, они полукольцом охватывали маленькую Митину крепость и непрестанно поливали ее грохочущими очередями пулеметов и автоматов. Гранаты, взрываясь в доме, сотрясали мезонин, несколько раз начинались пожары. Немцы не имели возможности применить против Мити артиллерию,—слишком близко расположены были от дома, захваченного Митей, их собственные позиции.

Митя же применял минометы. Кроме того, который притащил с собой Гаркун, среди трофеев оказались два немецких. Немцы-минометчики в последние минуты жизни почти успели привести их в непригодное для стрельбы состояние, но Гаркун сумел с ними управиться. Теперь сам он стоял на одном из «немцев», своего второго номера оставил на своем миномете да на ходу приучал к немецкому миномету еще одного бойца. И сейчас гулкому вою русского миномета дружно вторил визгливый лай двух «немцев».

Митя Фетисов, по некоторым признакам, считал уже разбитыми два немецких дзота, проделана была пока еще довольно узкая брешь в переднем крае немецкой обороны. Эта брешь могла впоследствии помочь при штурме. Но штурм пока что не было, а становилось все труднее.

Особенно трудно стало, когда немцы поднесли огнеметы и на дом с бешеным клочкотаньем полились огненно-рыжие струи. Однако сами же немцы оставили Мите в наследство прекрасно налаженные противопожарные мероприятия, везде были расположены огнетушители, и пожары, несколько раз занимавшиеся, были потушены...

Немецкие танки дважды подходили к дому. Снаряды танковых пушек наполовину разрушили мезонин, завалили один из блиндажей, пробили несколько брешей в стенах. Но отряд Мити Фетисова был натренирован на истреблении танков. Гранаты и бутылки с горючей жидкостью летели из блиндажей. Сначала загорелся один танк, потом остановился и взорвался другой. Митя перебежал по узким ходам из одной траншеи в другую, от одной огневой позиции к другой.

Гарнизон маленькой крепости вместе с Митей насчитывал четырнадцать человек. Ранены были все: хотя щели блиндажей были узки, но пули сыпались в таком изобилии, что некоторые все же залетали в блиндажи. Митю во время танковой атаки тяжело ударило по голове сорвавшейся балкой, его окатили водой, и это уменьшило головную боль. Хуже было с обожженной спиной. От этой зудящей боли мutilились мысли.

Переходя от одного товарища к другому, Митя советовался и подбодрял, даже перевязывал раненых,— вот где пригодилось звание отличника ГСО, которое давало ему в школе право носить красивый значок!

Среди непрекращающегося гула и грохота разговаривать было нельзя, но один выразительный жест, улыбка, кивок, движение бровями заменяли длинную фразу. Митя не раз с благодарностью вспоминал политрука Дементьева: он хорошо подобрал отряд, все показали себя героями.

Митя особенно ценил Дмитрия Егоровича Шкляревича, седого, смуглого, насквозь прокуренного человека.

Шкляревич был ранен в голову, и, перевязанный бинтом, он со своим темнокоричневым лицом был похож на бедуина. Каждый раз, когда Митя заходил к нему, Шкляревич ободряюще-заботливо оглядывал его. Митя, собственно, и заходил за этим ободрением.

Здесь, в маленькой амбразуре, в полном порядке разложено было оружие и патроны. В щель амбразуры виден был узкий участок местности, дымящиеся развалины и среди них зеленые пятна. Это были мертвые немцы, и каждый раз, приходя к Шкляревичу, Митя замечал, что их становилось все больше. Сила Шкляревича была в хладнокровии, в умении владеть разнообразным оружием. Иногда Митя заставлял его за его собственным новеньким воронено-блестящим «ДП»,

иногда, сотрясаясь костлявыми плечами, Шкляревич работал за немецким станковым пулеметом. Он шутил, что в его руках «немец» воспитался, избавился от расовых предрассудков и неуклонно истребляет фашистов. У Шкляревича была еще «самозарядка», капризный, не выносящий пыли затвор которой обмотан был слегка промасленной тряпочкой. Шкляревич употреблял ее изредка, только для прицельной стрельбы на далекое расстояние.

— Это тонкая акварельная кисточка,— говорил он, проводя своей коричневой рукой с желтоватыми ногтями по ажурным, словно кружевным, частям «самозарядки». — А вот это — грубый малярский помазок, но и им пренебрегать не следует,— показывал он на гранаты, которые кучкой лежали у него под рукой.

Для стен блиндажей немцы изнутри употребили несколько вывесок, очевидно, снятых с близлежащих магазинов, и Шкляревич сказал об одной из вывесок, на которой тускло были изображены улыбающиеся друг другу мужчина и женщина в странных костюмах: «Уникум. Образец вывесочного искусства середины девятнадцатого века. Достоин музея». А о другой вывеске, где среди пестрых квадратов и треугольников были вкривь и вкось разбросаны буквы, непонятно что обозначавшие, он сказал: «Формалистическое кривляние, издевательство над потребителем».

Хорошо воевали минометчики — рослый, губастый, с яркими, как трава под солнцем, зелеными глазами Чуваев, комсомолец-колхозник из-под Тарусы, и двое казанских татар, Субердинов и Аллабаев. Здесь господствовал Гаркун, веселый и грозный. Минометы Митя свел в батарею, и Гаркун стал командиром этой батареи. Она была главным средоточием разящей силы, исходившей из маленькой крепости. Она непрерывно уничтожала и дезорганизовывала не только переднюю немецкую линию, но и глубину немецкого расположения, поэтому немцы и стремились так яростно раздавить маленькую крепость Фетисова.

За время боя один минометчик был убит, двое ранены. Гаркун, прихрамывая (у него была ранена нога), с толстым потным сияющим лицом, обучал замену, и Митя вспоминал, что на заводе всегда считалось особым счастьем попасть в ученики к Гаркуну...

Чудесный был человек Афанасий Гаркун, но что же стояло между ним и всем латышевским коллективом? Явно несвоевременен был этот вопрос, и все же Митя, порой забывшись, вопросительно смотрел на Гаркуна. Спросить? Но о чем спросить, да и время ли? И чем жарче становилось вокруг, тем все настоятельнее хотелось во что бы то ни стало выяснить эту причину...

«Наверное, придется всем нам погибнуть здесь», — думал Митя, и ему становилось жутко. Не за себя — о себе он сейчас совсем не помнил, точно его не было, как будто то, что было им, стало духом этой маленькой крепости и этот дух обьял ее и растворился в ней. Но ему было жаль товарищей. Он видел, что они надеются на него. Порой он ловил на себе искоса брошенный, умоляющий и отчаянный взгляд. Митя отвечал на этот взгляд успокоительным словом, шуткой, напоминанием, и боец, подобранный, порою даже пристыженный, снова брался за горячее оружие. Они надеялись на своего командира. Раз лейтенант Закоморный сказал, что надо держаться, пока не настанет общий штурм, значит — надо держаться.

III

По приезде в дивизию Исидор Львович сразу понял, что политическая работа в дивизии налажена хорошо, до поры до времени предоставил ей идти так, как она шла до него, и весь отдался специальным задачам по комплектованию и снабжению, задачам, поставленным ему с первого момента назначения в дивизию. Исидор Львович был, однако, в курсе командирской работы Городкова, хотя бы уже потому, что они жили вместе. Но ему все время хотелось не только наблюдать, но и участвовать в командирской работе, его тянуло в эту сферу непосредственного руководства военными действиями. Сегодня он впервые со времени прибытия в дивизию получил возможность с головой окунуться в эту работу. Он с радостью чувствовал, что разбирается в ходе боя. Ему даже казалось, что он сам мог бы действовать, мог бы сам командовать. И потому он завидовал не только Городкову, не только Нухимову, но даже политруку Дементьеву, которому была поручена

важная боевая задача и который, откозыряв, распрямил плечи, высоко поднял голову и пошел в бой.

Прямую связь с Закоморным установить все-таки не удавалось. По всему можно было судить, что Закоморный дерется на огородах, скрытых сосновой рощей. Но сама эта роща усиленно простреливалась немцами. И связные: один — связной роты, другой — связной батальона — не вернулись, — очевидно, погибли. Хотели послать еще одного связного, но тут в блиндаж явился молодой, как девушка миловидный, черноглазый паренек с автоматом в руке.

— Боец второй роты Владлен Косовский, возвращаюсь из госпиталя к себе в роту. Прикажете следовать?

— Косовский? — переспросил оживленно Нухимов. — Истребитель танков? Ну, так ты вместе с товарищами представлен мною к награде.

Владлен обрадовался и смутился, кровь кинулась ему в лицо. Он даже зажмурился и надул щеки.

— Так вот, товарищ Владлен Косовский, сразу же дается тебе почетная задача: связь с ротой нарушена, и тебе надлежит эту связь восстановить.

Нухимов в нескольких словах, как это он умел, рассказал положение. С Косовским должен был следовать связист, чтобы установить телефонную связь с Закоморным.

— Я тоже с ними отправлюсь, — сказал Исидор Львович.

Его охрипший от долгого молчания голос прозвучал так неожиданно, что все обернулись к нему.

— Туда ведь опасно, — встревоженно сказал Позднеев, обращаясь к Городкову. — Разрешите мне пойти.

— Пойду я, — своим резковатым, не допускающим возражения голосом сказал Исидор Львович.

Городков быстро оглядел Мировича. Это продолжалось какую-то долю минуты, но Исидор Львович изрядно взволновался. Ему самому это желание вдруг стало казаться мальчишеским, он стеснялся его...

Исидор Львович знал, что Городков взвешивает сейчас его; взвешивает то, что узнал о нем за кратковременное знакомство. Исидор Львович чувствовал, что оценка Городкова очень много для него значит.

— Подходяво... — сказал вдруг Городков протяжно.

Исидор Львович обрадовался: этим уродливым словом Городков выражал принятие такого решения, которое приносило ему душевное спокойствие.

— Подходяво. Я, признаться, подумывал сам пойти! — Он даже доволен был намерением Исидора Львовича. — Вы кстати узнайте: что это у них там горит? Нет, это не строевое дерево горит, это хвоя горит, — сказал он, потянув носом.

И они пошли: впереди Исидор Львович в сопровождении Косовского, позади озабоченный связист, размазывая провод. Они бегом спустились с каменистого хребта, на вершине которого был НП батальона, в зеленую лошину. Пули сюда не долетали, изредка падали мины, но рвались они вдалеке, и Косовский, не обращая никакого внимания на них, рассказывал Исидору Львовичу, что он рождения двадцать четвертого года, но пошел добровольцем, что Владленом его называли потому, что он родился в год смерти Владимира Ильича, и что он оправдывает свое имя, что папа у него *большевик, инженер-электрик, а когда родился Владлен, папа был студентом, а до этого дрался против Колчака, что прадед его был сослан в Сибирь за польское повстанье, что бабушка его ходит в костел и его называет «Владик», а сам он не ходит — он комсомолец. И еще много чего, наверное, рассказал бы Владлен, но тут они добрались до патронного пункта второй роты.*

Исидор Львович ожидал, что по мере приближения к переднему краю опасность будет увеличиваться, и он поразился тому, как мирно было на патронном пункте второй роты. Неужели несколько часов тому назад здесь отбивали внезапное нападение немецких автоматчиков? Сейчас мины перелетали над этой уединенной лужайкой, лежащей на дне огромной балки, и падали в расположение НП батальона, откуда ушел сейчас Исидор Львович. Из-за рыжих сосновых стволов, поднимающихся над балкой, слышно было, как грохотали отдельные, то в единый залп сливающиеся выстрелы. А здесь кони, запряженные, но разнузданные, вкусно похрупывали сеном и от походной кухни пахло едой, какой-то маленький смешной человечек, лежа на животе, писал что-то...

Смуглый человек с четырьмя треугольниками на петлицах при виде Мировича радостно крикнул: «Внима-

ние! Смирно!», подбежал к нему и, вытянувшись (он был без головного убора), не совсем по форме, но бойко отрапортовал. Исидор Львович пожал его руку, тот назвался:

— Старшина второй роты Касымов, отпускаю патроны для третьего взвода. Разрешите продолжать?

— Продолжайте. Мне нужен лейтенант Закоморный. Как до него добраться?

На лице Касимова появилась озабоченность.

— Немец немножко нам нагадил, товарищ бригадный комиссар. Мы ночью прижали его сильно. Ну, конечно, растянулись, а сосед наш зевнул, вот немцы с левого фланга и подпустили к нам автоматчиков. Сейчас мы, конечно, автоматчиков кончили, но вот связь испорчена, и немножко мы сейчас от командира нашего отрезаны. А это вот сержант Ивашин, помком третьего взвода, он отправляется туда с патронами.

Рослый, с седой щетинкой на загорелых щеках, человек добродушно и серьезно глядел из-под каски на Мировича. «Вот, мол, дела. Воюем, значит, и мы с тобой теперь», — так можно было перевести его взгляд. Исидору Львовичу он показался знакомым. Ему вспомнилась ночь на Красной Пресне. Может, тогда, в жаркой и пыльной темноте, видал он это лицо?

— С товарищем лейтенантом связи у нас тоже нет сейчас, — густым внушительным голосом сказал Ивашин. — Но будем устанавливать.

— А откуда дым? — спросил Исидор Львович.

И сразу заулыбались все — и старшина и помком взвода. Человек, писавший боевой листок, тоже поднял голову, и даже повар, утирая пот с лица, улыбнулся.

— Это командир наш дымовую завесу утром пустил, — сказал старшина. — А мы тут тоже все никак понять не могли, тревожились — что же это такое горит? А вот товарищ Ивашин рассказал сейчас. Когда немцы проникли сюда, к нам, наш лейтенант, чтоб их с толку сбить, велел набрать в лесу валежника, смешать с соломой, которая осталась в ометах, сложить все это, смочить водой. Подожгли — и такая получилась завеса! Очень она нам помогла, потому что немец все-таки хуже знает эту местность, чем мы, ну и стал плутать, понятно. А мы тут его и окружили. Наш командир... это такой командир, — не бывает больше таких!

— Нужно сейчас же сообщить обо всем этом в штаб батальона,— сказал Мирович.

Связист, который к этому времени уже довел провод до патронного пункта роты, протянул Исидору Львовичу трубку телефона.

Пока Исидор Львович, соединившись с Городковым, рассказывал ему все, что узнал, сверху в овраг спустились молоденькая сестра и дюжий санитар. Они помогали щуплому парню, который прыгал на одной ноге, обняв за шею сестру и санитаря и поджав другую ногу, обмотанную бинтом. Санитар был высокого роста, а сестра маленькая, и раненому было неловко идти. У сестры на лице было выражение воинственной решимости, у санитаря — бабьей жалости.

— Добрался до лейтенанта? — спросил старшина. — Это связной штаба батальона,— пояснил он Мировичу.

Связной уже сидел на траве.

— Конечно, добрался... Только на обратном пути хунды¹, сволочи, подстрелили,— ответил раненый. Он вдруг увидел Исидора Львовича.— Товарищ бригадный комиссар,— делая попытку подняться и морщась от боли, сказал он,— имею письменное донесение.

Исидор Львович развернул потную, с кровавыми отпечатками пальцев бумагу. «...Разведывательное отделение первого взвода попрежнему держится на высоте 168 в пределах города... Первый взвод — на сосновой высоте ведет фланговый огонь. Второй и третий взводы под прикрытием огня первого взвода движутся через картофельное поле, в направлении высоты 152,7, находящейся в пределах города. При условии поддержки артогнем ворвусь в город к 14 часам. Готовь к этому времени поддержку на правом фланге. Демонстративную атаку врага на левом фланге отбиваем третьим взводом. Это пустяки — отобьем».

— Подходяво,— сказал Мирович, подражая Городкову.

Он огляделся. Его поразило выражение блаженства на худеньком остроносом лице раненого связного, который спал, положив голову на рукав, спал, несмотря на грохот стрельбы и отвратительные взвизги мин. Лоша-

¹ Der Hund — собака; хунды — искаженное множественное число.

ди также продолжали хрупать сеном. Помкомвзвода, приходивший за патронами, уже ушел туда, где третий взвод «отбивал демонстративную атаку». Старшины тоже не было видно, а Исидору Львовичу нужен был сейчас старшина. Связист с проводом ушел, провод тянулся вверх по обрыву и исчезал в лесу.

Исидор Львович подошел к маленькому человеку, писавшему боевой листок.

«Как сержант Фетисов фрицам приснился» — называлась статья, напечатанная вместо передовой. В этой статье весело рассказывалось о подвиге сержанта Дмитрия Фетисова.

В боевом листке было еще три заметки. Одна — о небрежном бойце, который ленился пришивать пуговицы и все закалывал английскими булавками. В самый горячий момент боя одна из английских булавок, растянувшись, вонзилась ему в бок, заняться ею он никак не мог и страдал часа три с булавкой в боку. Несколько заметок были посвящены социалистическому соревнованию внутри роты. Плохие стрелки брали обязательства подтянуться, хорошие обещали их взять «на буксир»... Все признаки советского порядка были налицо, тот же дух, что на предприятии или в колхозе.

— А это вот я, — смущенно сказал коротышка, показывая на заметку, подписанную: «боец Новодережкин». — Взял обязательство стрелять на «отлично».

Появился старшина с тяжелым мешком за плечами.

— Вот он, картофель-батюшка, — сказал он, опустив мешок на землю и вытирая пот со смуглого лица. — Что за картошка в этом году! Не дал дурак немец собрать... Ах, что за картошка!

— Вот донесение, — сказал Исидор Львович, — поскорей перешлите его на энлэ батальона.

— Слушаю, — ответил старшина. — А вы у нас остаетесь, товарищ бригадный комиссар?

— Нет, отправляюсь к лейтенанту Закоморному. Дайте мне провожатого.

— Приказано дать провожатого.

Старшина пошел в кустарник и привел оттуда молодого парня. На розовом заспанном лице его был смешной узор: отпечаток стеблей, травы, прутьев. Он, видимо, спал на земле. За ним следом пришел Владлен Косовский.

— Ползти придется, товарищ бригадный комиссар, — сказал боец, критически оглядывая куртку Исидора Львовича.

— Раз надо, значит, поползем, — ответил Исидор Львович.

Ползти начали, как только по краю обрыва поднялись наверх и очутились под тонкими и высокими соснами. Они ползли по линии провода. Пули так и сновали по всем направлениям, точно обшаривая местность.

— Немцы — дурни: думают, что мы здесь на горке сидим, — пренебрежительно сказал Владлен.

— Не сидим, а все-таки ползать-то через гору приходится, — ответил ему боец с узорчиком на щеке.

Почва здесь покато возвышалась, и у самого гребня, проходившего через средину этой сосновой рощи, стали попадаться убитые: один — точно начал делать стойку: поднялся с одного боку на локте и согнутом колене и так застыл; другой — как будто бы отчаянно отмахивался от злой мухи: рука так и остановилась; на сморщившемся лице выражение мучения и безразличности; третий лежал на животе, стремительно выбросив руки вперед. Он был в голубовато-зеленой шинели, — немец. Роща заполнена была клокочущими и хрипылыми стопами, русскими и немецкими бессвязными восклицаниями. К здоровому, радостному запаху земли и осенних трав здесь примешивался забытый и сразу вспомнившийся Исидору Львовичу тошнотный и кислый запах крови. А кругом лежали вороха желтой и красной листвы, освещенные яркими отсветами солнца.

Исидор Львович поймал себя на том, что отвернулся от убитого, и в этот момент почувствовал вдруг, что рука его попала во что-то липкое. То, что он принял за осеннюю багряную листву, было кровью. Кровью было залито это место, но человека, который ее пролил, очевидно, унесли. Нет, от смерти здесь некуда отвернуться.

Совсем рядом увидел Исидор Львович нежно разрумянившееся широконое лицо той сестры, которую он уже встретил на патронном пункте. Она проползала мимо и помогала ползти раненому.

— Давай, давай, ну, давай, друг. Влево бери, здесь муравейник! А гляди-ка — вон и бригадный комиссар ползет, — сказала она, делая так, как поступают мате-

ри и няни, когда хотят подбодрить больного капризничающего ребенка...

Точно тоненькой кисточкой твердо и нежно намечены были на ее лице рыженькие с розоватинкой брови, маленький рот, продолговатые глаза в длинных ресницах, золотящихся в этот солнечный день.

И тут же лужи крови, стоны и грохот стрельбы, свист пуль и ясное небо над высокими вершинами сосен.

— Я товарища комиссара доведу и тебе, Катя, помогать приду, — сказал боец. — Ну и бой же здесь у нас был на рассвете, — рассказывал он Владлену. — Мы их с фланга вот так, наискось, — и сначала пулеметом, а потом, как Митька Фетисов до города добрался, да как стал им задувать с тыла, тут мы на «ура».

— Наша рота геройская, обстрелянная! — сказал Владлен, обращаясь к Исидору Львовичу. — С первого дня в бою. И вот уже десять дней. (Владлен думал, что те десять дней, которые он провел в госпитале, рота была непрерывно в бою.)

Так ползли они. Пули несколько раз тренькали по их каскам. Одна пуля горячо чиркнула по лопатке Исидора Львовича, но он решил не обращать на нее внимания: «Заживет, как на собаке», — вспомнил он смешную поговорку, сохранившуюся с детства, как будто, пробираясь ползком с этими двумя мальчишками, он сам превратился в мальчишку. Но сердце его билось прерывисто, пот щипал глаза, хотелось вытереть глаза, но руки были в земле и в крови. «Ну и пусть, пусть...» — бормотал он. Та же пружина, которая бросила его сначала из родного городка в неизвестную Европу, потом, с началом первой мировой войны, из Европы в Россию, та пружина, которая с началом великой революции подняла его в первые ряды борцов за Октябрь и потом заставляла его оставаться в занятых белыми городах и вести опасную подпольную работу, та пружина, которая его, уже взрослого человека и члена правительства, сажала за учебники школьных наук, — эта же пружина сейчас двигала им. И, как всегда, когда он чувствовал, что она движет им, он испытывал счастье.

Отлогая возвышенность осталась позади, лес поредел, зато кустарник стал гуще, ползти сквозь него было очень трудно. Пестрая листва шуршала, как жи-

вая, — так сновали в ней пули. Ни убитых, ни раненых здесь не было, но запах крови и пороха делался все сильнее. Но к нему еще примешивался приятный запах дыма, который клубами катился над кустарником, — того дыма, который заставлял Городкова тревожно пригнуваться.

Мирович знал сейчас секрет этого дыма.

— Стоп, машина! — сказал вдруг недоуменно боец. — Здесь вот был наш энпэ, видать, вперед перешли.

Кустарник кончился, и вдруг Исидор Львович сразу увидел из-за редких красно-коричневых стволов сосен широкое картофельное поле, спускающееся вниз, очевидно к ручью, и затем круто поднимающееся вверх, к домикам окраин. Некоторые домики горели, пламя, как всегда при дневном свете, казалось жидким. Но дым несло не только от этих домиков, его наносило откуда-то справа, и он то закрывал, то вновь открывал поле. Это действовала дымовая завеса Закоморного.

Исидор Львович сразу увидел между бледно-зелеными кустами увядшей, некопаной картошки серые солдатские шинели и зеленые ватники. Одни двигались, другие были неподвижны. Здесь стрельба уже не воспринималась как что-то постороннее, хотя и гулкое. Здесь это был ударяющий в уши треск и стрекот. «Передний край. Так вот он, передний край фронта Отечественной войны. То страшное, таинственное и великое место, где кровью решаются судьбы отечества, судьба всего мира...»

— Наша берет, товарищ бригадный комиссар, — сказал боец; узорчик на щеке его был теперь еле заметен. — Я тут два часа не был, а мы на пятьдесят метров продвинулись. Вон и энпэ наш, повыше ручья, — видите? — вон там.

— Сходить за товарищем лейтенантом, спосылать его к вам? — спросил Владлен, который за время, пока они ползли по лесу, утратил разговорчивость и даже погрузнел.

— Зачем? Раз уж сюда добрались, надо и до него дойти, — ответил Исидор Львович.

Неприятно было ползти по колючей хвое, трудно пробираться через кустарник и совсем противно — по холодноватой земле картофельного поля, где был проложен ход сообщения. К тому же, здесь ползти при-

шло круто вниз, — и в голову Исидора Львовича тяжело ударяла кровь. Но они уже были у цели. Здесь можно было даже и не ползти, а, пригнувшись, идти по канаве, наспех выкопанной и представлявшей из себя ход сообщения, идущий вверх.

В стрелковых ячейках стали попадаться бойцы.

Исидор Львович с трудом узнавал профиль того стрелкового окопа, отрывать который обучали на занятиях всеобща. Одни бойцы отрывали себе ячейки для стрельбы лежа, другие — для стрельбы с колена: видимо, кто как успел. Да и по самой повадке бойцов при стрельбе видно было, что правила здесь применены к личной сноровке каждого. И по этой личной сноровке, выраженной самозабвенно и непосредственно, можно было распознавать характеры людей. Один только побряхывал, другой бормотал что-то, как будто в забытьи, третий молча и спокойно посылал пулю за пулей, четвертый, спуская курок, привставал каждый раз.

Владлен тронул за плечо одного из бойцов. Тот поднял усталое нахмуренное лицо, с красными пятнами румянца, пробивающегося сквозь копоть. Признав Владлена, он приветливо улыбнулся:

— Вовка! Здоров! Скоро же ты, — сказал он. Потом взглянул на Исидора Львовича, удивился и обрадовался. Зубы блеснули на густо покрытом копотью, словно у кузнеца, лице. — Здравствуйте, товарищ бригадный комиссар, — сказал он весело.

— погоди тары-бары разводить, — сказал Владлен. — Нам к командиру надо.

— А вот направляйтесь по ходу сообщения, а потом вправо возьмете. Опасно вам, товарищ бригадный комиссар, здесь ходить.

— Не опаснее, чем вам, — ответил Исидор Львович.

Боец лихо махнул рукой, и они пошли дальше, пригибаясь и стараясь не задевать бойцов, чтобы не мешать их сосредоточенной работе.

Исидор Львович обратил внимание на то, что почти все были перевязаны: у кого рука, у кого нога, голова. У некоторых на щеках был лихорадочный темный румянец, и сквозь копоть боя на молодых лицах проступали красноватые морщинки, словно нацарапанные булавкой.

Черноусый парень лежал странно неподвижный, в руках его была винтовка, он откинулся на бок и засунул руку в карман, точно за папиросой. Так жива была эта поза и выражение удали на его нахмуренном лице, что Исидор Львович понял, что это убитый, только тогда, когда Владлен ахнул:

— Никишка! Ах, Никишка!..

Сбивчиво, иногда перемежая свой рассказ судорожными вздохами, Владлен рассказывал Исидору Львовичу о Никишке, не так о Никишке, как о себе, как они сдружились в первый же день, когда записались добровольцами. Никишка деревенский, откуда-то из-под Тарусы, в Москву пришел строить метро, ударник Метростроя. По рассказу Владлена видно было, что, как это говорится, он взял культурное шефство над Никишкой. «Вот и нет Никишки, и никогда его не узнаю», — подумал Исидор Львович.

Между тем дым валил все гуще, он ел глаза, заставлял кашлять и чихать. Вдруг Исидор Львович увидел, как боец, мимо которого они прошли, подхватив винтовку, поднялся и, пригнувшись, скрылся в клубах дыма.

— Вперед переходим... — сказал Владлен, так сказал, что у Исидора Львовича волна горячей крови прошла по телу. — Вперед, вперед!

Неожиданно перед ними показалась из дыма группа бойцов: они рыли ловко и быстро. В яме, которую они углубляли, стоял рослый и широкоплечий человек, поверх зеленого ватника затянутый ремнями. Он говорил что-то бойцу с перевязанной головой.

— Командир наш, — сказал Владлен.

«Закоморный!» — про себя назвал Исидор Львович, рассматривая этого человека, имя которого столько раз упоминалось сегодня.

Лейтенант приложил руку к каске, боец с перевязанной головой ответил как-то особенно молодцевато и быстро исчез в клубах проносящегося дыма.

С такой же почтительной молодцеватостью шагнул вперед Владлен и приветствовал командира:

— Прибыл из госпиталя. Приказано сопровождать бригадного комиссара к вам, товарищ лейтенант...

Блестящие серые глаза командира, молодые и умные, обратились к Исидору Львовичу.

— Разрешите ваш документ, товарищ бригадный комиссар. — Он взглянул на фото, взглянул в лицо Исидору Львовичу, его продолговатое лицо покраснело, и весь он просиял от радости, от волнения. — Товарищ бригадный комиссар, задача, поставленная штабом батальона полка, выполнена, — говорил он, вынув из планшетки расчерченную карту. — Не имея связи со штабом, принял решение — использовать преимущества достигнутого положения...

Исидор Львович остановил его:

— Я читал ваше донесение, — сказал он, — оно переслано командиру дивизии. Полковник Городков одобряет ваши действия. Продолжайте. Вы будете поддержаны с правого фланга скорее, чем вы думаете, и силами очень серьезными. Командуйте, ведите бой.

— Слушаю, — сказал Закоморный и вдруг соболезнующе покачал головой, оглядывая Исидора Львовича. — Запачкались вы, — сказал он.

Исидор Львович оглядел себя. Его щегольская курточка была вся в рыжеватых пятнах крови, даже руки были в крови... И вдруг Исидор Львович подумал о боевом листке — это было странное сопоставление: подвиги в боевом листке выглядели чистыми и приглаженными по сравнению с тем, как бой происходил в действительности...

— Это вы через лес ползли, — нараспев, как говорят сердобольные бабы, говорил Закоморный. — Испачкались. У нас там мясорубка была на зорьке — страшное дело. Они и до сей поры туда лупят. Вас-то не ранило?

— Нет, — ответил Исидор Львович рассеянно. Царапина на спине только слегка саднила, и он не стал говорить о ней, весь поглощенный одним: ведь, в сущности, те действия, к необходимости которых здесь самостоятельно пришел командир роты, сразу были разгаданы командиром дивизии и положены в основу сегодняшнего плана боевых действий. «Теософы заговорили бы о сродстве душ», — с усмешкой подумал Минович.

Погруженный в свои мысли, он рассеянно наблюдал за ловкими действиями пожилого, с пышными рыжими усами, бойца, который, как только перебежал, лег на землю и ловко, почти не поднимая головы, окапывался маленькой лопаточкой. Только он кончил окапы-

ваться, как около разорвалась мина. Исидору Львовичу брызнуло в лицо землею и запорошило глаза. На месте соседнего окопа была только куча земли, она шевелилась. Наконец из этой кучи, без каски, отфыркиваясь, точно вылезая из воды, показался рыжеусый. Отрясая усы, он радостно оглядел все кругом и поцеловал свою лопаточку.

— Спасибо, бабушка-лопатушка, — сказал он. Привычная шутливость и глубокое волнение неизъяснимо соединялись в этом восклицании. — Еще разок спасла старого солдата, Колю Моторина!

Тоненький стройный сержант, пригибаясь, перебежал к Закоморному, из-под каски поблескивали черные, наискось прорезанные глаза, он что-то говорил, указывая в сторону крайних домов города.

— Делаю вам замечание, сержант Забалуев, — строго сказал лейтенант, — я сам знаю, когда и что предпринимать. Объявляю вам выговор — исполняйте вашу задачу!

Сержант скрылся.

— Золотой парень, — нежно сказал Закоморный. — Напомнить мне, дурачок, пришел, что дружку его, Мите Фетисову, туго приходится, как будто я сам о Фетисове забываю.

И, приблизив свое лицо к лицу Исидора Львовича, Закоморный показал тот, весь окруженный дымом, дом на краю города, который захвачен сержантом Фетисовым и является сейчас ключом всей позиции: Фетисов оттуда бил минометами по немецкому расположению. Исходя из того, что действия фетисовских минометов расшатали немецкую оборону и отвлекли внимание немцев в глубину расположения, Закоморный осуществил еще одну перебежку, большой бросок вперед. Передний край был уже за ручьем...

Вдруг словно насыщенный металлическим стрекотанием и свистом ветер дунул с вражеской стороны. Закоморный едва успел потянуть за собой Исидора Львовича в яму, как с визгом, разбрасывая осколки и землю, стали падать мины.

— Эх, товарищ бригадный комиссар, неладно получилось, что вы тут с нами. Ведь немцы должны сейчас в контр-атаку пойти, — кричал Закоморный, приблизив губы к уху Исидора Львовича.

— Ничего, товарищ лейтенант, мы еще на свадьбе вашей гулять будем,—кричал в ответ Исидор Львович.

— Я женатый, — с серьезным лицом прокричал Закоморный.

Вдали все продолжало грохотать и гудеть, но стрельба поблизости прекратилась, и это казалось тишиной. Даже слышно стало, как стонут раненые.

Исидор Львович хотел, продолжая шутку, сказать, что надеется гулять на свадьбе сына или дочери лейтенанта, но в этот момент откуда-то спереди кто-то три раза коротко предостерегающе свистнул...

— Немцы пошли, — серьезно сказал Закоморный, беря наизготовку свою «самозарядку» с белым сверкающим штыком. — Косовский, тебе беречь бригадного комиссара.

Владлен ободряюще мигнул Исидору Львовичу, как бы приглашая рассчитывать на него, Владлена.

На небе ни облачка, солнечный свет прозрачен и ярок. Кругом смерть, и никогда жизнь не казалась такой прекрасной Исидору Львовичу, как сейчас. Волны грохота, накатывающегося над головой, и эти сосны, кровь, со звоном бьющаяся в ушах, своя кровь, живая кровь.

Вдруг Исидор Львович в странной близости от себя услышал громкий и резкий немецкий окрик. Он поднял голову из окопа. Совсем близко увидел он набегающих немцев в серых куртках, с автоматами, которые они держали как-то по-чужому странно, точно уперев в живот. Он видел немцев лишь мгновение. Владлен сдернул его обратно в окоп. И во-время, — казалось, тысячи струн ударили над головой Исидора Львовича. Все заполнил бьющий в уши треск.

Но, пригнувшись к уху Исидора Львовича, Закоморный, подошедший откуда-то, сказал:

— Сейчас ударят наши пулеметы.

И действительно, пулеметы застучали откуда-то сзади.

Волна какого-то нового грохота, все заглушая, пролетела над головой Исидора Львовича. С гулом и ревом, один за другим рвались снаряды. Первый разрыв раздался близко, даже земля дрогнула, второй дальше, третий еще дальше, потом ближе, потом опять дальше.

— Артиллерия наша. Точно работаем, — говорил Закоморный строго и одобчительно.

В этот момент раздался страшной силы оглушающий взрыв где-то в глубине немецкого расположения.

— Опять склад горючего кончили, — сказал Закоморный. — Видно, не плохой мастер огневого дела там работает.

— Это друг ваш Велигур, — сказал Мирович.

— Велигур? — живо переспросил Закоморный. — Так вы, товарищ бригадный комиссар, Велигура знаете? Эх, товарищ бригадный комиссар!

Это была мгновенная радость, — в яму, в которой находились Исидор Львович и Закоморный, скатился какой-то боец и, тотчас стряхнув с ватника пыль и поправив каску, молодцевато откозырял и стал докладывать.

И это одновременное действие разнообразных воинских сил, и то, как обрадовался Закоморный, когда узнал, что его поддерживает огнем Велигур, и то, что Городков учитывал эту радость, сообщая Велигуру, что он будет поддерживать Закоморного, и молодой сержант, беспокоящийся за своего друга, и молодцеватость выправки того разведчика, который стоял сейчас перед Закоморным и под грохот и свист, в сотне метров от кровопролитной схватки, по форме докладывал, — все это для Исидора Львовича слилось в какое-то одно огромное ощущение. Он подумал о том, что чем горячее, чем стремительнее становился бой, тем более подчеркнуто молодцеватой делалась выправка бойцов и командиров, тем ярче проявлялось их дружелюбие, доброжелательство друг к другу. Исидор Львович вспомнил вдруг фельдфебеля той роты, в которой он служил в первую мировую войну. Не плохой человек был этот фельдфебель, толково учил, зря не придирался, но, когда он напивался, у него появлялась одна странность, почти маниакальная.

«Весело, весело гляди, ворона!» — кричал он на строевых занятиях. И все же, как бы ни образцова была выправка молодого солдата, не веселье, а только страх были в выпученных глазах и омертвевших лицах. Мечтатель фельдфебель! Он хотел добиться, чтобы требования строевого устава выполнялись весело. Вот поглядел бы он, как эти требования выполнялись здесь, в бою, как молоденький разведчик, спрыгнувший в командирский окоп, раньше чем докладывать командиру, быстро стряхивает с себя пыль и поправляет ремень и

каску и с какой торжественной лихостью, с каким весельем вытягивается перед командиром.

Почти одновременно с Исидором Львовичем прибыл в дивизию на хозяйственную работу интендант. Он только пришел из запаса и был весь увешан оружием. Кроме пистолета, который у него был какой-то заграничный, он еще носил маленький изящный револьвер, да еще сбоку кортик с золоченой рукоятью, о котором он таинственно говорил, что это дареное оружие.

Городков вызвал его к себе и в присутствии Мировича попросил разобрать пистолет. Интендант опростоволохился с первого же движения. Исидор Львович, понимавший толк в оружии, пожалел этого взрослого человека, смущенного до стыдного едкого пота, и стал незаметно подсказывать. Городков нахмурился, покачал головой и, вызвав своего молчаливого порученца, приказал ему заняться с интендантом изучением пистолета.

— Прочее оружие благоволите сдать. Усвоите установленный в нашей армии пистолет, получите его. Еще скажу вам в назиданье, так как вы человек, в армии не служивший. Вот комиссар дивизии любое оружие может собрать и разобрать. Это значит — он любит оружие. Любить оружие — это воинская добродетель. Вы нацепили на себя много оружия, не умея с ним управляться, но это не говорит о вашей любви к оружию. Вы не любите оружия, вы франтите им. Это тыловое, земгусарское¹, воину Красной Армии не подобающее отношение к оружию. Идите.

За короткое время знакомства с Городковым Исидор Львович слышал множество его рассуждений о воинской красоте. В мирное время Городков был в этой же дивизии начальником штаба — и с какой гордостью рассказывал о том, как дивизия, штыки наперевес, взвод-

¹ Земгусар — насмешливое наименование эпохи войны 1914—1917 годов; применялось в отношении тех служащих Союза земств и городов, которые, будучи сынками состоятельных родителей, устраивались на службу в этом союзе, что приравнялось к службе в армии, и военную форму, присвоенную служащим этого союза, носили особенно франтовато и кичливо. Земгусар — стало нарицательным обозначением человека, вполне пригодного для военной службы и не только отсиживающегося в тылу, но еще крикливо подчеркивающего свою принадлежность к армии.

ными шеренгами проходила по Красной площади. И сейчас, в бою, Исидор Львович видел эту воинскую красоту и любовался тем, как отчетливо и быстро, укладывая в уставную форму свои сообщения, говорят бойцы и командиры в роте Закоморного.

Закоморный приложил к губам свисток. И точно отвечая на этот продолжительный свист, слышались крики: сначала слабые, разрозненные, они все усиливались и вот слились в одну волну, в «ура», раскаты которого поразили Исидора Львовича, так как он несколько раз с тревогой думал, что у Закоморного совсем мало бойцов. Он выглянул из окопа направо, откуда особенно громко и воодушевленно доносилось это «ура».

Там, метрах в тридцати, бежали люди, плащ-палатки развевались за их спинами. Вот они легли, исчезли, их плащ-палатки слились с буро-зеленой осенней землей... Но сзади набежала другая такая же буро-зеленая волна, грохочущая «ура», и вот она уже достигла крайних домиков города и там смешалась с серыми куртками немцев. Эти волны, катясь вперед, оставляли позади шевелящихся и неподвижных людей — раненых и убитых.

У домиков «ура» превращалось в какой-то стонущий вой, порой прорезаемый взрывами... Но тут, где-то еще правее, вспыхнуло совсем далекое «ура».

Закоморный взглянул на часы и сказал Исидору Львовичу:

— Нахимов слово держит — очень точно работает...

Бой еще шел у первых домиков, но разведчики роты, делая круг в несколько километров, заходили в глубокие кварталы города и приносили Закоморному сведения о расположении огневых точек противника, о характере инженерных работ. Закоморный все данные разведки и все, что происходило в расположении роты — на огородах и в поле, и в черте города, — все эти короткие быстрые стычки тут же наносил на свою карту.

И в этой черте Исидор Львович тоже узнавал Городкова, у которого утро начиналось придирчивой проверкой того, что было нанесено вчера на карту. Да ведь и вся сегодняшняя, сейчас победоносно завершающаяся операция возникла сегодня утром, когда начальник штаба сообщил Городкову о том, что одна из рот кораб-

левского полка бросила штурмовую группу в дом на окраине города.

«Да, теософия и передача мыслей на расстоянии здесь были ни при чем. Просто Городков так сумел воспитать командиров своей дивизии, что, поставленные в условия современного боя, эти командиры принимали примерно такие же решения, какие принял бы сам Городков, будь он на их месте. Вот откуда живая согласованность действий, нашедшая такое блестящее проявление во всей этой близящейся к завершению операции».

Дружба, деловитость, мужество, скромность, бесстрашие, воинская красота — это был стиль городковской дивизии. Но дивизия непрерывно пополняется, старые командиры, воспитанные самим Городковым, выбывают, то получая повышение, то убитыми и ранеными. Взамен приходят новые. Надо добиться того, чтобы в дивизии, безотносительно от смены людей, стиль ее, традиции ее, дух ее продолжали жить. «Так вот зачем мне нужно было дойти до передовой линии, — думал Исидор Львович. — Понять задачу сохранения этого духа, понять проявляющуюся здесь в бою живую сущность его, способствовать передаче этой традиции — не в этом ли призвание политработника?»

IV

Мите Фетищеву раз в жизни очень повезло — он увидел себя в кино. Показывали физкультурный парад, и вдруг весело блеснуло странно-знакомое лицо среди лиц друзей. Они прошагали мимо... И вот сейчас, сражаясь и ожидая смерти в незнакомом доме на окраине незнакомой ему городка, доме, в котором когда-то жила незнакомая семья доктора Северова, семья, от которой осталась здесь только Лиза, он с необычайной ясностью снова и снова, как бы со стороны, вспомнил себя, идущего мимо трибуны.

Теперь Митя перестал ждать помощи. И если он иногда вспоминал командира, то только потому, что при воспоминании о нем становилось легче. Он не вспоминал ни о доме, ни о школьных товарищах, но когда Лиза беленьким тощим котенком пробегала мимо него, это причиняло ему беспокойную боль.

Набрав воды в колодце, Лиза обносила бойцов, вы-

сунув набок язычок и озабоченно закусив его, перевязывала, но, когда через некоторое время у бойца сползла повязка, он вспоминал милые неумелые пальцы, — и как же было не обрадоваться, что ты еще можешь поражать огнем врага, рвущегося мучить и осквернять это милое и беззащитное. Бойцы, конечно, называли ее «дочка». И когда она проходила мимо Мити, он не забывал провести рукой по ее темнорусой теплой голове.

Из-за сосновой рощи вспрыгнула вдруг зеленая, неяркая при дневном свете, ракета, а за ней красная, и потом опять зеленая. Митя знал, что эти ракеты были условным сигналом общего наступления, и не мог им поверить. Но через несколько минут перед Митей стоял, весь в репьях, блещущий черными глазами и белыми зубами, Аркаша Забалуев.

— Ну, Дмитрий Михайлович! — удивленно и восхищенно сказал он, оглядываясь вокруг и впервые называя Митю по имени и отчеству.

И Митя по-новому, глазами друга, оглядел то, что его окружало. Штукатурка в комнате обвалилась, показались балки и стропила, почерневшие и дымящиеся, пахло влажным жаром, как в бане. В разбитых окнах видны обломанные, расщепленные деревья. И весь дом, и земля под ногами, и воздух — все дрожало, ходуном ходило, тряслось и трещало от непрерывной стрельбы.

— Я к тебе, — весело кричал Аркадий, — предупредить! Наступаем!

Он еще что-то говорил, — из-за стрельбы его не было слышно. Но вдруг, точно сразу осилив стрельбу, совсем близко раздалось «ура», — объяснять ничего не нужно было...

— Бегут, бегут, хунды! — крикнул кто-то за окном, так крикнул, что Аркадий и Митя, — точно их бросило одного к другому, — обнялись и поцеловались. Когда же после этого они оба, застыдившись, смущенно оглянулись, то увидели в окно, что через каменную ограду перепрыгнул с автоматом в руках бледный, возбужденный и веселый политрук роты.

Дементьев думал, что добраться до Фетисова ему будет много трудней, чем покончить с автоматчиками в тылу батальона. Он должен был прорваться к Фетисову в обход, по тому же кружному пути, по которому пробирался Митя. Сейчас проход в минном поле был

расширен, и по этому-то проходу прошли танки. Не много их было, всего четыре, но это были безупречные машины, выдерживавшие удар снаряда, как солому разминавшие дзоты. Они прошли всего сто метров, и один из них был подорван, но эти сто метров образовали тот пролом в немецкой обороне, в который прорвался Дементьев, неся убийственный огонь автоматов и ручных пулеметов. Дерзкие гранаты Забалуева с близкой дистанции полетели в последний сопротивляющийся дзот.

Тут на поддержку Закоморного и Дементьева были разом введены в действие все силы, скопленные Городковым для удара, — и немцы стали поспешно отходить.

Вот почему соединение с Фетисовым показалось Дементьеву легче, чем он предполагал. Со странным чувством оглядывал он дымящиеся и почерневшие стены заветного дома. На веранде лежал мертвый немец, его рыжеватые бачки показались знакомыми Дементьеву, — конечно, он знал этого немца, он знал даже его фамилию — Шпигельбах, — Дементьев никак не мог вспомнить, откуда он его знал...

Он так и не вспомнил, что видел его в первый день пребывания в дивизии, в первом бою, — и отогнал от себя навязчивое недоумение...

— Придется, друзья, разлучить вас, — сказал он Забалуеву и Фетисову, которые продолжали стоять рядом. — Тебе, товарищ Забалуев, надлежит сейчас добратся до наших соседей справа и выяснить, как там обстановка...

— Так мы вместе, — просительно сказал Фетисов, — ведь здесь делать-то нечего, бой-то вперед ушел...

— Будет так, как я приказал! — отрезал Дементьев. — Делай, Забалуев, — смягчая голос и все же повелительно прибавил он.

Забалуев вздохнул и исчез.

Со всех сторон, из дверей, из окон, в эту разрушенную комнату собирался гарнизон маленькой крепости. Дементьев видел почерневшие, усталые лица, измученные горящие глаза, грязные окровавленные повязки. Это были те люди, которых он сам подобрал и послал на подвиг: вот Шкляревич, вот Чуваев (как повзрослел!), а вот и Афанасий Гаркун, с которым военная судьба связала его как-то особенно крепко, хотя ни ра-

зу не говорили они друг с другом об этой связи, возникшей в первом бою, когда Дементьев спас Гаркуна.

Но где Званцев? Шанявский? Галиуллин? Неужели? Но об этом — не сейчас.

— Вы молодцы, товарищи, — сказал он. — Молодцы — настоящие гвардейцы, городковцы.

Скупы были эти слова, но они были сказаны так, что Фетисов, сразу весь вспыхнув, громко ответил:

— Славной нашей роты Дементьева и Закоморного гвардейцы, — и неяркий, необычный румянец выступил на его бледном лице.

— Отставить хвалиться! — сразу нахмурился Дементьев. — Приказ такой: минометам — перенести огонь в глубь неприятельского расположения. Ты, товарищ Фетисов, оставляешь мне раненых бойцов, будем охранять этот пункт. Сам возьмешь трех человек с автоматами — сообщишься с командиром взвода Нолдиным. Он продолжает преследование немцев, а ты, пройдешь следом. Да, следом! — хмурясь, повторил он, видя протест на лице Фетисова. — Проверишь каждый дом, каждый подвал, каждый подпол — не оставили ли немцы где автоматчиков...

— Товарищ политрук, здесь связист в дом просится. Прикажете пустить?

— Пусти. Действуй, Фетисов, быстро действуй. Откуда, товарищ? — обратился он к долговязому и белобровому связисту. На его спине была катушка с проводом, в руках телефонный аппарат; он озабоченно оглядывал забрызганные кровью, ободранные стены комнаты.

— Из штаба батальона. Приказано здесь наблюдательный пункт оборудовать.

— Старший лейтенант Нухимов скоро здесь будет?

— И старший лейтенант, и полковник с ним.

— Полковник Кораблев? — спросил Дементьев.

— Выше бери, товарищ политрук, — сам полковник Городков.

— Ты еще здесь? — хмурясь, спросил Дементьев, увидев, что к нему подходит Фетисов.

Фетисов, держа за локоток, подвел к Дементьеву маленькую упирающуюся девочку.

— Товарищ политрук, вот, понимаешь, просится со мною. Так ведь это же нельзя, а она просится, товарищ политрук. Ты побереги ее, она здешняя, у нее отец

доктор, жил в этом доме, знаменитый человек в городе был, а мать немцы увели. Вот портрет ее, — он показал на портрет улыбающейся женщины с выколотыми глазами, который продолжал висеть в комнате. — Изю всей семьи она здесь осталась.

Фетисов замолчал, точно захлебнулся. Он мог бы рассказать о Лизе гораздо больше, хотя все, что она рассказывала о себе, о своей семье и своем детстве, было совсем не похоже на то, как жил Митя Фетисов, но он запомнил и понял каждое ее слово, сказанное в смертоносном грохоте и огне.

Митя жил в исконном рабочем районе Москвы, и на его памяти Фетисовы переезжали из подвала на третий этаж в две комнаты, с третьего на пятый в четыре, потом опять на второй, в четыре комнаты с двумя светлыми балконами. Лизин дед был врач и отец врач, и жили они в этом же доме. В городе была улица Северова, имени Лизиного деда, который умер от тифа в двадцать первом году. Отец Лизы воевал в первую мировую войну, а после гражданской войны вернулся в родной дом и вместе с лучшими людьми города по-новому перестраивал его... А жить продолжал все в этом же доме, вырастил здесь детей, развел фруктовый сад. На всю жизнь запомнит Лиза смеющуюся, всю в талых зеленоватых лужах, черноту весенней земли, голой, чудотворной, и запах ее будет для Лизы запахом жизни...

А Митя, проснувшись утром, распахивал окно, к воздуху, к солнцу, занавеска хлестала его по лицу, и он жадно вдыхал вольный, подправленный бензином, еще прохладный утренний воздух. Забравшись на подоконник, он перегибался и видел полоску воды, окаймленную зеленью, и слышал торжествующие рожки автомобилей и плясовой звон трамваев... По-разному жили они, но это было одна широкая, вольная жизнь, и дом Северовых был сейчас для Мити больше чем родным домом, — ведь он отбил этот дом у немцев. И Лиза стала для него за эти сутки роднее и ближе, чем его кровные сестры. Все это было очень трудно выразить, но политрук, очевидно, понял и робко сказал, пригибаясь к Лизе:

— А ты его здесь подожди, он ведь сюда вернется. Через два часа он будет здесь, обойдет квартал и вернется сюда.

— Надо нашу роту начинать сводить, а то ведь потом не соберешь, — сказал Закоморный, озабоченно оглядываясь.

Исидор Львович за последние десять минут третий раз слышал от него эту фразу. Вестовые были уже разосланы по флангам прорвавшейся в город роты.

Исидор Львович шел вместе с Закоморным по улице, мимо тех самых домишек, которые с такой щемящей жадностью разглядывал он, когда они были еще в руках у врага. Это были обыкновенные одноэтажные, бревенчатые и тесовые, с палисадниками и без палисадников, домики, крытые железом и почерневшим тесом. Освобожденные дома! Но кое-где ставни были прикрыты, кое-где окна зияли пустотой, а стекла были выбиты. Жителей не было, но зато Исидор Львович повсюду видел убитых немцев. Это были те самые немцы в серых куртках, которые столько времени и так упорно сопротивлялись и потом, точно подломившись, вдруг бросились бежать и были перебиты во время бегства.

Итак, боевая задача выполнена. Сначала рота Закоморного, а потом и другие части полка Кораблева ворвались в город, и улицы сразу же превратили наступавшие цепи в нестройные толпы. Исидор Львович понимал тревогу Закоморного: сейчас предстояло драться на улицах города...

Широкоплечий, бочковатый пожилой лейтенант вытянулся перед Исидором Львовичем и назвал командиром пятой роты второго батальона.

— Это ваши бойцы, товарищ лейтенант? — спросил Исидор Львович, указывая на бойцов, которые, возбужденно и весело разговаривая, шли по улице.

— Мои, товарищ бригадный комиссар.

— Вы что же, думаете их дальше так вести? — насмешливо спросил Исидор Львович. — Ведь немцы будут сейчас контр-атаковать нас.

— Жду приказания командира батальона, — опять приложив руку к козырьку, как это водилось в царской армии, начал пожилой лейтенант.

— Дайте мне карту, товарищ Закоморный. — Исидор Львович поглядел на карту. Он запомнил ее наизусть еще с утра, когда они с Городковым и начштаба около

часу просидели над ней. — Перестройте свою роту в соответствии с задачей уличного боя. Двигайтесь вот сюда. — Исидор Львович показал сначала на карту, потом оглянулся и указал на группу красных зданий, видных из-за крыш. — Вышлите вперед разведку. Разбейте каждое отделение на две группы... — говорил Исидор Львович резковатым голосом, и чем тверже был его голос, тем больше веселой готовности и удовлетворения видел он в глазах лейтенанта, тем более почтительно глядел на него Закоморный.

Лейтенант, откозыряв, зычно крикнул: «Бойцы пятой роты, ко мне!», и беспорядочная толпа, шедшая по улице, поредела, большинство бойцов начали грудиться на одном из дворов вокруг своего широкоплечего, бочковатого лейтенанта.

Откуда-то вдруг прибежал Забалуев, который все время то исчезал, то появлялся и каждый раз приносил какие-нибудь новости Весело блестя глазами, он рассказывал о том, как группа Дементьева прорвалась на соединение с Фетисовым.

— Короче, короче, — нетерпеливо прерывал его Закоморный. — Политрука нашего видел?

— Так как же не видеть? Я как от вас пришел, он меня к Митьке послал.

— Видно, сам напросился, — усмехнулся Закоморный. — А где сейчас политрук?

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, — стараясь быть серьезным, говорил Забалуев. — В фетисовский дом прибыло все начальство. И старший лейтенант Нахимов, и полковник Кораблев, и полковник Городков. Нашего политрука задержали. Очень его отмечали, и об вас тоже хороший разговор был...

— Откуда ты все это знаешь? — прервал Закоморный.

— А я у окна стоял, мне слышно было, — сказал Забалуев; его голос был серьезен, но лицо неудержимо смеялось. — А потом меня позвал товарищ политрук и приказал отправляться к вам. Товарищу политруку дана задача — заходить с правого фланга, перейти ручей и соединиться с вами, товарищ лейтенант, вот тут вот... — Нахмутив брови, Забалуев осторожно водил пальцем над картой, словно боясь, что, если он не сразу точно покажет, а будет водить по самой карте, произойдет какая-то ошибка. — Вот тут вот. — Он

ткнул туда, куда нужно, и облегченно вздохнул. — Там будете брать фабрику.

Забалуев, подтянувшись и козырнув, повернулся к Исидору Львовичу.

— Насчет вас беспокоились, товарищ бригадный комиссар. Просил вас командир дивизии прибыть на новый энпэ, то есть в Фетисовский, значит, дом.

Исидор Львович видел сейчас вокруг все больше знакомых, и уходить отсюда ему не хотелось.

Рота Закоморного, приостановившись, собиралась на большом дворе, окруженном высокими амбарами. Бойцы строились по взводам и отделениям. Ряды роты сильно поредели. Но Закоморный установил на улице патруль и задерживал бойцов, отбившихся от других рот. Каждого задержанного Закоморный опрашивал и направлял его к соседям, в пятую или в третью роту, если бойцы были оттуда, тем из бойцов, ответы которых были сбивчивы, он приказывал становиться в ряды своей роты. Так пополнил он два взвода, которые были при нем.

Неутомимый Забалуев, во главе своего отделения, вооруженного автоматами, ручными пулеметами и гранатами, двигаясь через дворы, ушел в глубь города, чтоб не оторваться от немцев. Оттуда уже слышались разрозненные и короткие, как бы нащупывающие очереди автоматов.

Перестроение роты уже подходило к концу. Вдруг раздались громкие крики, люди смеясь показывали на дорогу: посреди улицы ехала походная кухня и весело дымила. Правил старшина, с ним рядом сидел редактор ротного боевого листка Новодережкин, позади из-за клубов пара то показывалось, то вновь исчезало красное лицо повара.

Старшина Касымов дико, по-татарски, гикнув, лихо завернул лошадь под деревья и спрыгнул с облучка.

Мгновенное раздумье пробежало по лицу Закоморного. Он взглянул на солнце, уже клонившееся к закату, и вздохнул.

— Эх, товарищ бригадный комиссар, — сказал он, обращаясь к Исидору Львовичу. — Очень охота бойцов накормить, а время горячее: немец побежал, если ему не дать остановиться, так он аж до Берлина добежит. Что делать, а?

— Я хлеба и сахару могу выдать, товарищ командир, — сказал Касымов, козырнувший Исидору Львовичу и по-приятельски улыбнувшийся ему. — Ну и по-искали мы вас, товарищ командир! Сначала сунулись прямо на шоссе, потому что нам саперы сказали, что нашего политрука там видели. А на дороге-то еще немцы...

Нерешительность уже исчезла с лица Закоморного.

— Делай так, старшина, — сказал он: — давай хлеба, сахару и что можешь разведчикам. Сейчас пошлем. Остальных живо начинай кормить.

— Айн момент! — и повар поднял крышку котла.

Оттуда пахло так, что Исидору Львовичу тут же захотелось есть. Котелок щей сейчас же появился перед ним.

— Бойцы говорят, товарищ бригадный комиссар, чтоб вам мяса на двоих положить, — говорил Касымов, — очень вас полюбили. Говорят, воодушевляли вы их.

Исидор Львович оглянулся, вся очередь, построившаяся у котла, глядела на него. Это было точно одно приветливое лицо...

«И чем я их воодушевлял? Я и слова не сказал им, — думал он. — Тем, что шел вместе с ними, и слова тут не нужны», — ответил он себе.

Обкусанной деревянной ложкой ел он пылающие щи, от которых жар разом кинулся в лицо, и прислушивался к громкому голосу редактора боевого листка, который читал вслух. Это был уже не тот боевой листок, который видел Исидор Львович сегодня утром. Речь шла о новых подвигах, о взятии в плен пробравшихся в тыл батальона автоматчиков, отмечался Нолдин, уже знакомый Исидору Львовичу.

— А что, младший лейтенант Довгелло ранен?

— Убили его.

— Кто сказал — убили? — возмущенно крикнул старшина. — Довгелло в санбате, тяжелое ранение, но жив будет.

Каждое сообщение о подвиге тут же сопровождалось одобрительными возгласами, ласковыми замечаниями, тот дух живого чудесного единства, который горел в бою, не погасал и здесь во время короткой передышки.

Исидор Львович, с особенным интересом наблюдав-

ший новичков, заметил, как точно живой ток проходил по их нахмуренным недоверчивым лицам.

Бойцы, о которых повествовал боевой листок, тут же представляли перед Исидором Львовичем. К нему подвели бойца Павловского, усталого человека в очках, — это он крикнул: «Ура!», после чего весь взвод пошел в наступление.

— Товарищ бригадный комиссар, — умоляюще сказал Павловский, — я хочу вам объяснить, что героем как раз являюсь не я, а наш командир отделения, сержант Тиунов, который обо мне заметку написал. «Ура» я крикнул только потому, что убил немца. И крикнул-то я нечаянно, от радости. Это сержант Тиунов превратил мое «ура» в сигнал наступления для нашего отделения. А за нашим отделением пошел весь взвод.

Но тут в спор вмешался парторг роты, громадный латыш.

— Все были герои, — добродушно говорил он, — и товарищ Павловский, и товарищ Тиунов, и товарищ Груздев.

Подошел Ивашин. Он уже пообедал, смакуя доедал корочку ржаного хлеба и вытирал пот, мелкими капельками выступивший по всему его широкому покрасневшему лицу. Он опять выразительно взглянул на Исидора Львовича, который не выдержал и спросил, не был ли Ивашин на Красной Пресне в ту жаркую июльскую ночь, когда провожали дивизию.

— Так это же наша дивизия. Я ведь с завода имени Латышева.

— А Ксению Ивановну знаете? — взволнованно спросил Исидор Львович, точно ответ на этот вопрос имел какое-то важное значение.

— Да ведь моя жена покойная была Латышева, — медленно говорил Ивашин, — Тимофея Георгиевича родная сестра. Нашего сына старшего Тимофеем звали. Герой был... Лейтенант. — Он замолчал, понутив голову.

«Звали»... — Исидор Львович все понял и вспомнил о Косте. После госпиталя его должны были послать в школу лейтенантов. Тимофея не стало, идет Константин. Чувство близости душевной, кровной с Ивашиним, которого он только узнал, — нет, не только с Ивашиним, с каждым из этих людей, и еще шире — со всем множеством воюющих советских людей остро поразило его.

— Да, вырастили сынов и не думали, что придется самим винтовки брать. Уже стариками жили, на отдыхе, — глухо говорил Ивашин, как будто понимая, что выражает не только свою судьбу, но также судьбу Исидора Львовича.

А Исидор Львович был уверен что этот крупный старик с сединой в ершистой голове с начала войны помолодел так же, как и сам Исидор Львович. Да ведь это же происходит со всеми нами, со всем народом. Исидор Львович вспомнил разговор с Костей и только хотел рассказать Ивашину о сыне, как вдруг с пронзительным визгом разорвались мины — первая, вторая, третья, четвертая...

Они летели через головы содрогнувшейся очереди, стоявшей перед котлом, над головами обедающих. Разрывы были угрожающе близко, земля загудела и застонала. Обед еще не был доеден, боевой листок не был дочитан, Минович и Ивашин не dokonчили своего разговора...

— Вам бы, товарищ бригадный комиссар, на энпэ вернуться. Ведь ждут вас там, разрешите напомнить, — извиняющимся голосом сказал Закоморный. — Ну что еще? — нахмурившись, спросил он редактора боевого листка, который с робким и решительным выражением пухлого добродушного лица встал перед командиром.

— Разрешите мне, товарищ командир, наступать вместе со своим взводом, — сказал он.

— А штык не потеряете? — хмуро спросил Закоморный. — Да ладно, ладно, становитесь.

Рота Закоморного двинулась вперед. Она не текла толпой по улице. Маленькие кучки бойцов исчезали во дворах, на пустырях, но все они двигались в одном направлении — к центру города.

Долго глядел Исидор Львович вслед Закоморному, уходившему в сопровождении своей группы, в состав которой входило два пулемета «максим», четыре ручных пулемета, восемь автоматчиков, вооруженных гранатами. Вот они сразу завернули за угол, исчезли, — придется ли еще когда увидеть этих людей?..

Владлен Косовский, который должен был довести Исидора Львовича до командного пункта, напомнил ему о том, что нужно скорее идти. Исидор Львович

ощущал крепкое рукопожатие Закоморного. «Сколько благородных рук выпало мне на долю пожать сегодня», — подумал он и вдруг вспомнил слова Кости: «Отбор человечества, гвардия человечества», именно так — гвардейцы!»

VI

В кузове машины стояло трое носилок, на которых лежали раненые. Один раненый сидел с шофером, еще один в кузове, рядом с сестрами, сопровождавшими раненых до госпиталя. Та, что помоложе, со светлыми, почти обесцвеченными волосами и облупившимся носиком, в ватнике и ватных штанах, долгоногая, все время разговаривала с ранеными. Другая сестра — Ирина Владимировна была молчалива и на каждой рытвине пригибалась к своему раненому — лейтенанту Самоварову, которого она сопровождала в дивизионный госпиталь. Но пухлое лицо Самоварова было неподвижно и бледно, веки сжаты. «Вот терпеливый», — думала Ирина о своем командире. Раньше она его хотя и уважала, но подсмеивалась над ним. Теперь он вызывал у нее благоговейную нежность, ей хотелось погладить его.

Другая сестра говорила о прошедшем бое, но не о самом ходе сражения, который интересовал Ирину, а о происшествиях в санчасти полка, о том, как привели немца, сошедшего с ума во время боя.

Немец уверял фельдшера, что у него позвоночный столб сделан из железа, и врач рассердился, когда фельдшер, поверив немцу, всерьез доложил ему об этом.

Потом она рассказывала о других девушках, работающих в санчасти полка, и раненые то смеялись и шутили вместе с ней, то, особенно, когда трясло на ухабах, охали и ругались, на что Лиля (так звали сестру) обижалась. А ухабы попадались часто. Предусмотрительный шофер поехал не по шоссе, которое немцы с четырех часов вечера, вот уже три часа подряд, непрерывно обстреливали артиллерией и бомбили авиацией, а по лесным дорожкам и просекам.

Однако спокойно доехать все-таки не удалось. В середине смешного Лилиного рассказа низко над их головами что-то страшно прогудело, затрещали выстрелы, машину дернуло.

Сама не сознавая, что делает, Ирина вытянула руки над носилками, как бы заслоняя собою раненых, и взглянула наверх. Немецкий самолет с черными свастиками под крыльями уже уносился вдоль по просеке и обстреливал другие машины.

Шофер встревоженно заглянул в кузов:

— Как у вас?

Ирина изменила позу, которая сразу показалась ей смешной и бессмысленной, и оглянулась: Лили не было в кузове. Но через секунду она залезла обратно, машина тронулась, раненые посмеивались: «Ишь ты, как ветром сдуло». Лилия была смущена и говорила о том, что в бою она ничего не боялась, доползала до самой передовой, а спрыгнула от неожиданности. Ирина верила ей.

Стало уже темнеть, когда они подъехали к дивизионному госпиталю. Санитары выбежали навстречу, стали вытаскивать раненых. И тут-то Лилия показала себя! Она просто брала раненого на руки и вносила в помещение. Раненые были очень довольны, все хвалили Лилию, и она тоже была довольна.

— Ну, как у вас там на передовой? — спросил очень тонкий и длинный врач. Белый халат висел на нем, как на вешалке, и похоже было, что фаса у него совсем нет, как у ножа, и есть только профиль — резко очерченный нос и маленький круглый ротик.

— Наша берет, товарищ военврач, — звонко сказала Лилия.

Врач прищурил на нее свои маленькие серповидные глазки.

— И много она взяла? — насмешливо спросил он.

— Нет, товарищ военврач, — вмешалась в разговор Ирина, — когда мы уезжали, батальон Нухимова был уже на окраине.

— Батальон Нухимова... — припоминая, сказал военврач, — это первый батальон кораблевского полка?

— Да.

— Значит, вы из кораблевского полка, — озабоченно сказал военврач и, взяв Ирину под руку, отвел ее в сторону, предоставив Лиле шумно прощаться со своими ранеными. — Я попрошу вас, как старшую по званию и... более солидную, пройти вместе со мной. Тут у вас умирает один...

«Дементьев», — сразу подумала Ирина. День был тя-

желый, и зенитчики в своей схватке с немецкими танками очень пострадали. Трое бойцов умерло на руках у Ирины, двенадцать человек она перевязала, да тут еще ранили Самоварова — любимого командира зенитной батареи. Казалось, что она даже и не подумала за весь этот день о Дементьеве, но тут вдруг она обнаружила, что он все время был в душе ее. Не слушая врача, который говорил ей что-то, она с отчаянием и ужасом вошла в палату. Здесь стояли только две койки: одна из них была пуста, на другой лежал чернобровый бледный юноша. И, подходя, она все еще не верила тому, что это не Дементьев, хотя уже узнала — это был адъютант полка — старший лейтенант Холодок. Веселый, франтоватый, самоуверенный, он не нравился ей, она всегда сторонилась его. Но он так изменился! А он уже смотрел на нее своими черными глазами. Ирина знала, что теперь никогда не забудет этих глаз.

— Ирина Евгеньевна, — тихо, но внятно сказал он, — значит, с вами увидеться перед смертью пришлось. Помоги-раю... — проговорил он раздельно, точно стараясь, чтобы она поняла его.

Как рябь по воде, по лицу его прошел страх, лицо задрожало каждой морщинкой — и тут же успокоилось. И уже нельзя было понять, что означает это успокоение, неподвижность этого тусклого взгляда. А рядом из-за фанерных перегородок были слышны стоны, ругательства и проклятия, просьбы напиться и просьбы повернуть на другой бочок — все то, что для Ирины всегда так страшно сближало госпиталь с другим, совсем другим, радостным миром, с миром детской, беспомощной жизни. И, вглядываясь в лицо Петруши Холодка, она бранила себя, но продолжала бояться за свое, за стройного кудрявого мальчика, раны которого она перевязывала, когда санитары в беспамятстве вытащили его из-под танка. Где он? Что с ним? И ведь он тоже, может, умирает где-то сейчас в лесу, на поляне, на улице города...

— Ты будешь в штабе, — говорил Холодок, — скажи ему, что пропал, мол, Холодок. Что не мать родную перед концом вспоминал, а его. Что я был, пока он меня к себе не взял? Человек без своего дела. Служил приказчиком, писарем в сельсовете... А он меня военным сделал, душу мне военную вложил. Ты ему толь-

ко скажи, что Холодок желает вам, товарищ полковник, довоевать до победы и свою Зинаиду Петровну увидеть и...

Вдруг точно какая-то невидимая Ирине сила схватила его и приподняла так, что голова осталась на подушке, а грудь поднялась над постелью. Он всплеснул руками, уронил их на одеяло. Пальцы быстро побежали по одеялу. («Как на рояли», — не могла не подумать Ирина.) Она взглянула в лицо ему — перед ней уже было лицо мертвеца. Где было все то, что за миг перед смертью еще жило, обращенное к жизни? Только она одна берегла теперь эти единственные и хрупкие последние слова, последнее движение души, невесомую и драгоценную ношу, которую нужно донести до полковника Кораблева.

Ирина села в кузов. Шофер уговаривал ее сесть рядом, но ей не хотелось, чтоб он видел ее слезы.

Как были тихо прекрасны эти зеленоватые сумерки под осенними звездами и резные вершины берез! Она утирала слезы и, глубоко вздыхая, ощущала сквозь бензиновую вонь настойчивый, говорящий о счастье и жизни терпкий запах осенней листвы.

За это время немцы перестали обстреливать дорогу, авиация не показывалась, звуки боя ушли далеко. Осторожный шофер решил выехать на шоссе. Не проехали они одного километра, как впереди увидели неподвижную сбсчившуюся машину.

— Стоп, товарищ! — крикнул кто-то.

Человек, окликнувший машину, стоял на самом шоссе. Шофер остановил машину. Ирина слышала, как слабый («городской», — подумала она) голос рассказывает о том, что их разбомбил немецкий самолет: шофер убит, они уцелели, им во что бы то ни стало нужно на передовую.

Последовала быстрая, обязательная на фронте, проверка документов. Потом задний борт машины открыли, и три человека, в их числе шофер, кряхтя перетаскивали из пострадавшей машины нечто прикрытое брезентом — похоже, что какой-то механизм. Шофер предлагал сесть с ним рядом тому, кто говорил слабым голосом, называя его почтительно капитаном. Но капитан сесть рядом с шофером отказался, посадил там своего сопровождающего сержанта, а сам сел в кузов автомобиля.

Он дал сигнал трогать только после того, когда убедился, что драгоценная кладь, ради которой он и сел в кузов, стоит прочно. На всякий случай он устроился около нее, в ногах у Ирины, которая сидела на носилках.

Он закурил, — Ирина увидела трафарет артиллериста на петлицах, реденькие и темные брови, морщинки на щеках и на виске. Он предложил ей закурить, она отказалась. Минуты две они ехали молча, потом он, уже не потому, что беспокоился о своем сокровище, а потому, что хотел рассмотреть лицо Ирины, зажег фонарь и на секунду направил ей луч прямо в глаза, ослепляя ее.

— Раненых отвозили, сестрица? — тут же заговорил он.

Петруша Холодок был еще перед глазами Ирины. «А Гриша — мой Гриша, где он?» Смерть Холодка заставила ее впервые, не скрываясь перед собой, назвать Гришу — своим. Как остро чувствовала она сейчас, что смерть может отнять у нее не только будущее большое счастье, но самое маленькое настоящее — сейчас свидеться с ним! И вдруг эта яркая вспышка света: ее точно грубо ударили по глазам. «Заинтересовался», — зло подумала она о капитане.

— Так точно, раненых, — скрипучим, неприятным голосом ответила она.

Капитан с комическим испугом отодвинулся от нее и вдруг засмеялся очень приятно и совершенно по-домашнему, как будто все это происходило у нее на московской квартире за чайным столом.

— Конечно, я произвел на вас впечатление крайне невыгодное: с места в карьер пристаю с разговорами, — говорил он. — А вы женщина явно интеллигентная, и мне даже кажется, что я вас где-то видел. Человек я пожилой, женатый, жене своей пишу после каждого случая, когда побываю в опасности, но она по женской наивности до сих пор уверена, что я вне всякой опасности. И дети у меня есть... Но что же мне делать, если я, правда, чувствителен к женской прелести? Как видите, я открыто об этом объявляю, и это свидетельствует о том, что у меня есть только одно намерение — поговорить с интеллигентной и красивой женщиной.

Ирине показалась приятна и самая манера капитана и его слабый, искренний, добродушно-насмешливый голос. И она сказала:

— Я только что видела, как умирал человек, и мне тяжело.

Наступило долгое молчание.

— Ваш близкий товарищ? — спросил капитан.

— Нет, пожалуй, наоборот, при жизни я не любила его, но, оказывается, он был очень хороший, настоящий солдат. Я случайно там была, и вот я должна выполнить его последнее поручение. Мне нужно будет найти полковника Кораблева. Это адъютант его

— Неужели Петруша Холодок? — быстро спросил капитан.

И когда Ирина ответила утвердительно, капитан сказал растерянно:

— Вот дела... Представьте, я тоже не любил его. Мои батареи с ними взаимодействуют, и этот Холодок, хотя он разбирается в артиллерийском деле, как моя лошадь Феничка, но, представьте, берет иногда на себя смелость вмешиваться, — раздраженно сказал он и тут же спохватился. — Убили... Теперь это все неважно. Наши споры и рапорты и прочее... Одно скажу вам, неомышленным он не останется.

И хотя голос его не прозвучал громче, но злоба, которая послышалась в этих словах, понравилась Ирине.

Некоторое время они опять ехали молча.

— Знаете, мне иногда кажется, что никто у нас в дивизии не умеет так ненавидеть немцев, как я, — сказал капитан. — Если я за день не причинил им какую-нибудь кровавую неприятность, так мне свет не мил, и, когда бреюсь, хочется себе в лицо плюнуть. Если вы хотя приблизительно представляете себе, что такое три батареи, то вы должны понимать, что кое-какие возможности досадить им у меня есть. Но я не об этих возможностях говорю, а о таких, когда я точно знаю, что это от меня исходит. Вот, извольте видеть эту штуку, — сказал он, нежно похлопывая рукой по брезенту, — я артиллерист и к радиотехнике не имею никакого отношения. Но вот занялся радиотехникой. И собрал одну штучку — походную радиостанцию для корректировки стрельбы. Не далее как сегодня немцы почувствуют существенное изменение огневого режима, и я обещаю вам,

что я в этот момент подумаю о Петруше Холодке, — сказал он серьезно и даже торжественно.

Ирине просто удивительно было, до какой степени знаком казался ей этот человек, точно она его знала много лет. Он был ей гораздо более понятен, чем Дементьев, Гриша Дементьев, — даже по имени и отчеству нельзя было его назвать. Это был мальчик, и то, что она чувствовала свою зависимость от него, и возмущало и страшило ее.

Из леса они вдруг выехали, и город на горе был перед ними. Он казался еще темнее от нескольких пожаров, полыхавших в нем. Зловещий фейерверк огня играл над городом, стрельба, на которую они дорогой перестали обращать внимание, опять потребовала привычного и надоедливого напряжения нервов.

Под горой, у мостика, белевшего в темноте и, очевидно, только что наведенного, их остановил патруль. Он их направил к крайнему дому, где был расположен какой-то штаб — не то полка, не то батальона.

Шофер зигзагами въезжал на гору, то и дело останавливаясь и расспрашивая саперов, починявших дорогу. По их словам, город был взят, но что означала немолчаливая и довольно близкая стрельба, саперы объяснить не могли.

Их машину остановил еще один патруль, указавший им дом на окраине, тот самый, где отсиживался Митя Фетисов. Здание это представляло из себя настоящую крепость.

С улицы они спустились в подземелье и вышли прямо в коридор дома, тускло освещенный керосиновой лампой. Они прошли через комнату, заставленную кроватями, — там висел портрет красивой женщины, глаза ее были прострелены. В соседней маленькой комнате, опрятно прибранной, но с большой дырой в полу, они застали Кораблева, который диктовал приказ своему новому рыженькому адъютанту. Кораблев вопросительно нахмурился, увидев позади капитана Стахеева незнакомое ему бледное лицо Ирины.

— Это санинструктор зенитчиков, они где-то здесь стоят, — объяснил Стахеев.

— Ушли вперед, — сказал Кораблев, — их около фабричного городка искать надо.

— Около фабричного городка? — весело сказал Стахеев, не обращая внимания на то, что Кораблев продолжал хмуриться. — Так это мы вместе опять поедим. Разрешите сесть, товарищ полковник?

— Садись, ладно, — и Кораблев вдруг перестал хмуриться, — куйте. Садитесь, товарищ санинструктор, — обратился он к Ирине. — В чем у тебя дело? — обратился он спать к Стахееву.

— Хочу, товарищ полковник, установить на центральном фабричном здании своего наблюдателя. Везу для этого специально собранную радиостанцию, и будем оттуда корректировать стрельбу. «У нас пойдет тогда уж музыка не та, у нас заплещут лес и горы».

— Хм, — сказал Кораблев, — ты, однако, опережаешь события. Центральное фабричное здание еще не занято.

— А все говорят, что мы с трех сторон вошли в город.

— Мы-то в город вошли, а немцы еще из города не вышли, — сказал Кораблев. — Слышишь, что делается? — и он кивнул в ту сторону, откуда были слышны стрельба и взрывы. — Наши прошли вперед, но немцы, конечно, оставили в тылу автоматчиков и пулеметные засады. А теперь сам черт не разберет, где свои и где чужие. А я вот третий батальон свой попридержал и сейчас его силами следом за передовыми частями прохожу по городу, дезинфицирую каждую щель. Так-то, — сказал он, довольный собой.

— Основательная работа, — сказал Стахеев, — а в общем-то как, дело сделано?

— А как же не сделано, — сказал Кораблев и добавил, таинственно понизив голос: — Перехватили немецкую шифровку, нагоняй генералу Эйхенгорну, который тут против нас командует, и указание, что из-за его недостаточной стойкости снимают две дивизии с какого-то важного направления и перекидывают на нас. Жарко у нас будет, — сказал он задумчиво.

— Да, — Стахеев встал с места, — значит, надо скорее все делать, чтобы встретить их достойным образом. Мою машину разбомбили по дороге, и я сам доехал на машине вашей санчасти. Можно воспользоваться?

— Можно. Я вам охрану дам и сопровождающих. Отправляйтесь, — сказал Кораблев и кивнул головой, отнеся этот кивок и к Стахееву и к Ирине.

— Товарищ полковник,— сказала Ирина.

— Что еще? — опять нахмурившись, резко спросил Кораблев.

— У меня к вам краткое поручение. Я была в дивизионном госпитале: там умер ваш адъютант.

— Этого не может быть,— остановившись и уперев в нее свои темносиние глаза, сказал Кораблев.— Холодок? Умер?

— Это было при мне,— сказала Ирина.

Порою замолкая и прикрывая глаза рукой, чтобы возможно точнее передать слова Холодка, она повторила их полковнику, который, слегка расставив ноги и уставившись в пол, слушал ее. Когда она кончила, он провел рукой по ершистой своей голове.

— Здесь что-то не так,— сказал он хрипло и недоверчиво.— Ничего я такого, о чем вы говорите, для него не сделал, много от него требовал и держал его строго. И с чего бы он стал... Да, может, это вам показалось?

— Я передала вам то, что он просил передать,— твердо сказала Ирина.

— И жену вспомнил? Да ведь он даже незнаком с ней. То есть нет... письмо семье завозил. Надо будет написать ей... — сказал он беспокойно.— Язев! — крикнул он, подходя к дверям в темную комнату, и в голосе его была слышна беспомощность.

— Товарищ комиссар ушел вместе с третьим батальоном, товарищ полковник,— вскакивая, сказал рыженький адъютант.

Кораблев обернулся к нему и, точно впервые увидев его румяную, с рыжими бровями молодую физиономию, стал глядеть на него.

Стахеев, молча слушавший весь этот разговор, тихонько потянул Ирину за локоть.

— Двигаемся,— сказал он.

Уже в соседней комнате они услышали, как Кораблев сказал:

— Что ж, лейтенант Максимович, может, и вы тоже считаете, что сегодняшний выговор по приказу сделает вас человеком, а?

Слова были шутливые, голос грустный...

— Загадали вы загадку полковнику Кораблеву,— сказал Стахеев.

Дементьев на несколько секунд задремал, и во сне было то же, что наяву — светящее ему прямо в лицо закатное солнце, синие, уже вечерние, тени голых деревьев на скованной холодом розовой земле огорода, кирпичное здание фабрики по ту сторону черного ручья.

Отступив до фабрики, немцы пытались приостановить здесь нарастающий напор русских. Дементьев и Закоморный, с двух сторон выйдя к фабрике, окружили ее. Трепала перестрелка, порой прерываемая взрывами гранат.

Дементьеву казалось, что на крыше фабрики находится немецкий наблюдатель — надо было его выследить и снять. Спрятавшись под развесистым дубом и положив автомат на его развилку, Дементьев смотрел на крышу фабрики, печально и ярко освещенную последним солнечным светом, и поджидал малейшего неосторожного движения выслеживаемого им немца.

Можно ли заснуть в таком напряжении, — стоя и не смыкая глаз? Конечно, если бы на крыше что-нибудь шевельнулось, Дементьев сразу бы очнулся.

Это был не сон, а воспоминание о том, уже далеком, утре, когда, прибыв в дивизию, он впервые увидел эти красные здания далеко на горе. Вот они перед ним, эти красные стены. Три крыльца выходят во двор и на одном на зеленой вывеске с гербом Союза надпись: «Сберегательная касса...» И то, что он видит их сейчас в такой близости, — было похоже на сон.

Да, пришло время выгнать врагов и отсюда. Мысли, с которыми Гриша смотрел тогда на эту фабрику, с новой силой овладели им. Но, точно опять примеряя старую одежду, почувствовал он себя выросшим и возмужавшим, — так много пережил он за это время.

Он вздрогнул и оглянулся, услышав среди грохота и греска чьи-то легкие, крадущиеся шаги, — это, прячась за черный забор, подползал к нему Забалуев. Чтоб не привлекать внимания немцев, он даже не поднялся с земли, — Дементьев сверху видел смуглое и розовое, горящее азартом лицо его.

— Товарищ политрук, имею план быстро кончить немцев. Вот гляди туда — видишь? — Он показал на то место, где ряд окон второго этажа как бы прерывался и одно под другим были пробиты два высоких стрель-

чатых окна.— Я тут разведаль все,— говорил Забалуев, — здесь лестница идет, эти большие окна на нее выходят, а изнутри они деревянными щитами заделаны. Здесь только пару противотанковых гранат лукнуть — живо разнесет и дерево и стекло. Тогда сразу кинуться в дыру и выскочить прямо на лестницу.

— Позови сюда Нолдина и Манькова,— сказал Дементьев, сразу оценивший по достоинству этот дерзкий, но совершенно реальный план.

Не только Маньков, готовый сейчас принять самое дерзкое предложение, но и хладнокровный Нолдин одобрил этот план. Правда, Нолдин тут же внес в него существенные улучшения — он предложил использовать для скрытого подползания к дому сточные канавы, спускающиеся к ручью, и приурочить все дело к ночи. Один взвод должен демонстративной атакой окон первого этажа отвлечь внимание противника от лестницы, другой будет наготове и кинется в пролом.

Несмотря на явное недовольство Нолдина, Дементьев поручил ему демонстративную часть операции. Главную же задачу должен был осуществить Маньков, желанию которого оправдаться в бою Дементьев сочувствовал.

Командиры взводов вернулись к бойцам, нужно было подготовить их к новой задаче и соответственно перегруппировать. Дементьев же вместе с Забалуевым отправился, чтобы встретиться с Закоморным и согласовать с ним этот план.

Закоморный и Дементьев еще не виделись. Связь поддерживали записками да еще через Забалуева, который по живости характера то и дело путешествовал от одной части роты к другой.

Перелезая через заборы, переходя через сады, перебегая по переулкам, Дементьев дошел до той части роты, которая была с Закоморным. Вон сержант Тиунов бежит к нему, тот самый Тиунов, в отделении которого читали про негритянскую девушку, а потом вместе с этим отделением Дементьев наступал, и Павловский убил своего первого немца, и возникло то самое «ура».

Неужели это произошло только вчера утром? Только вчера вступили мы в этот бой? Тиунов весело рапортовал, а вон за забором показалось улыбающееся лицо Павловского, пенсне его слегка блестит на солнце.

Прервав рапорт Тиунова (некогда!), Дементьев спросил, где командир роты. Командир роты осматривал подступы к фабрике. Слева там есть пристройка, по которой можно взобраться прямо во второй этаж — лестницы уже принесены.

— Товарищ лейтенант вон там, вон на том клене сидит, — сказал Тиунов.

Дементьев пошел по направлению к клену, листва которого грозно пламенела в закатном солнце...

Выйдя из-за поворота, он увидел все дерево от корней до макушки. Все подножье его точно пылало — это вечернее солнце горело в опавшей листве.

Вдруг Закоморный ловко соскочил на землю.

— Филипп! — крикнул Дементьев.

— Грыцы!

На ходу застегивая планшетку, Закоморный шел навстречу Дементьеву, шел прямо через открытое пространство неровной мостовой, между камнями которой пробивалась трава. Он шел, все ускоряя шаг, и уже издали по его лицу видно было, как он радуется.

— Товарищ командир! Здесь простреливается, — тревожно крикнул Рекстынь, показавшийся из-за плетня.

Но непоправимое свершилось: злобещий короткий стук пулеметной очереди — и Закоморный, точно загнувшись, упал...

— Товарищ политрук, берегитесь.

Но, ничего не слыша, Дементьев кинулся к Закоморному. Он схватил и потащил его, с ужасом чувствуя, как тяжелеет Закоморный, и не желая признаться себе в этом. Вдруг тело Закоморного словно стало легче: несколько бойцов подхватили командира... Только когда Закоморного поднесли к забору и положили на мягкую листву, в ушах Дементьева раздались пулеметные очереди, которыми за секунду до этого их обстреляли немцы.

Дементьев с такой силой рвал на Закоморном ворот ватника и рубашки, что пуговицы отлетали во все стороны. Закоморный, до того неподвижный, застонал и открыл глаза. В этот момент над ним склонилась медсестра Катя.

— Доня... Доня... — позвал он так, как зовут только любимую женщину, — и разом все лицо его потемнело.

Засыпкин дрожащей рукой прижал к губам его маленькое круглое зеркальце — оно осталось таким же блестящим.

— Конец, — сказал он шопотом.

— Как конец? — переспросил Дементьев. — Нет, нет. — Он теребил тело Закоморного. — Филипп, Филипп!.. — Он не хотел признавать того, что случилось. Он опустил руки, и тело Закоморного мягко легло на листву. — Ай-ай-ай!.. — сказал он; так говорят дети, когда что-то непоправимо разобьется.

Он снял каску, вытер пот со своего бледного лба, оглядел всех собравшихся вокруг мертвого командира, и то, что он увидел в этих взглядах — сочувствующих, печальных, гневных, нежных, сказало ему, что нужно делать.

Он снял планшетку с Закоморного и надел ее на себя. Рукавом вытер кровь друга, запекшуюся на планшете, и бережно открыл ее. Там поверх карты местности лежал белый листок бумаги, на нем был тонко начерчен план фабрики — красные и синие стрелки обозначали огневые налеты и штурмовые удары.

— Товарищи, — сказал Дементьев — я принимаю командование ротой. Наш дорогой командир подготовил штурм, — нам предстоит его провести.

Маньков лежал в канаве, в десяти шагах от стрельчатого окошка.

Слева, у самого угла огромного здания, уже началась перестрелка, затеянная Нолдиным, и на торопливо-беспорядочное хлопанье винтовок немцы отвечали методическим стуком пулеметов — точно работало наперегонки несколько швейных машинок. Надо было предполагать, что внимание немцев отвлечено туда. Пройдет еще минута, может быть, две, Забалуев кинет гранаты, раздастся взрыв, стекло и деревянный щит будут разбиты. И тогда наступит очередь Манькова: он вскочит внутрь и откроет путь своим бойцам. Возможно, что его тут же убьют, но все равно дорогу в здание он пробьет.

Если бы политрук Дементьев узнал, он, наверное, запретил бы Манькову первому ворваться в здание. Маньков — командир взвода, он должен сам руководить операцией. Его смерть может привести в расстройство введенных ему людей. Но Маньков нуждался в подвиге.

Подвиг будет совершен, бесчестие будет снято. С роты его сместили на взвод, дали в подчинение этому не совсем понятному, употребляющему часто газетные и книжные слова политруку Дементьеву. Его — окончившего на «отлично» школу лейтенантов — в подчинение политруку! Правда, следовало признать, что политрук Дементьев показал себя в бою прекрасным командиром. Уважение Манькова к Дементьеву увеличилось, но и горечь его положения тоже возросла. И потом — надо же и о будущем подумать. Сейчас он неизвестно что: командир взвода в штурмующей группе, предназначенной для усиления действия второй роты. А что будет завтра?

Подвиг должен быть совершен, и тогда его опять назначат командиром роты. Или он погибнет, что тоже вероятно, но лучше погибнуть: жить в бесчестии он не будет.

Странное впечатление произвела на него весть о смерти лейтенанта Закоморного. Он и жалел его и хотел мстить за него, но вместе с тем сразу же ему пришло в голову соображение, что в этой роте он — лейтенант Маньков — сейчас старший по званию. Будь политрук семи пядей во лбу, но, когда операция завершится, все будет сделано по форме: политрук останется политруком, а командиром роты будет назначен лейтенант Маньков. Будет — если сейчас он покажет себя...

Ничего, кроме подвига, не существовало сейчас для Манькова. За двадцать три года его жизни происшествие сегодняшнего дня было самым большим душевным потрясением. В дивизию он только что прибыл, в все ему нравилось в ней — и то, что она гвардейская, и то, что немцы знают ее и называют «сталинской дивизией». Ему нравились сослуживцы и особенно непосредственный начальник — старший лейтенант Нухимов.

Нухимов внушал уважение отличным знанием воинских уставов, тем, что прекрасно, по-снайперски владел оружием и, «как на картинке», умел бросить гранату. Кроме того, в нем еще было вызывающее восхищение озорство: вопреки запрещению штаба дивизии, прокатиться на случайной машине в Москву, прийти в магазин Военторга, задурить там голову и купить десять флаконов одеколона для раздачи друзьям, уметь познаться на улице с красивой девушкой. Нухимов в

последний рейд в Москву брал с собой Манькова,— то-то было весело. А впереди — бои, подвиги, награды.

Бои начались, и все произошло по-другому,— серьезно, строго. Маньков лежит в канаве и ждет подвига, может быть, смерти, а в глаза его неотступно глядят беспощадные и укоряющие глаза полковника Городкова, командира дивизии, о котором он столько слышал от Нухимова, из рук которого мечтал получить боевую награду. А вместо этого...

Звук взрыва показался ему слабым. Окно застлало густым дымом, и он кинулся в этот дым, дыхание его перехватило, глаза застлало слезами, но он уже ухватился за рваные остатки рамы, подтянулся и сквозь дым прыгнул — он сам не знал, куда. Но под ногами его, как это и предсказывал Забалуев, ступени лестницы. Он отфыркивался, откашливался. Дым рассеивается, сверху, с лестницы, бегут немцы...

«Сейчас меня убьют...» Но он уже метнул гранату, одну, другую, третью... Три взрыва раздались, все заволокло дымом, а в пролом следом за ним уже лезли бойцы. В голове Манькова была отчетливая ясность: одних посылал он вверх, по лестнице, других вниз. Что бы там ни было, но подвиг уже совершен...

Сам он побежал вверх. Часть бойцов ворвалась во второй этаж, там шла уже схватка, но Маньков побежал выше. Оттуда вдруг особенно гулко, оттого, что стреляли в помещении, заработал пулемет. «Сейчас смерть», — опять подумал Маньков, пригнувшись, метнулся вперед, и это спасло его — над самой его головой пролетела разящая очередь. В темноте набежал он на немца-пулеметчика, расположившегося на площадке. Первый раз в жизни с размаху всадил он штык не в манекен, но тем же затверженным приемом в живое, орущее, содрогающееся, выдернул и еще раз ткнул с отчаянным и бешеным усилием, и снова выдернул, — он весь дрожал.

Волна бойцов (и тут были люди не только его взвода) набежала снизу. Заметив опасную бестолковницу и метание в их движениях, Маньков сразу овладел собой, почувствовал себя командиром.

— Слушай мою команду! — крикнул он. — Наверх, на четвертый, на пятый, на крышу — вперед!

Этой стремительной внезапностью он вызвал растерянность у тех немцев, которые продолжали перестреливаться с Нолдиным. И, сразу почувствовав, что огонь противника стал жиже и беспорядочнее, Нолдин свою демонстративную атаку превратил в действительную, перешел к рукопашной и ворвался в первый этаж.

Почти одновременно Дементьев осуществил план Закоморного, проникнув в здание по крыше, примыкающей к окнам второго этажа, и бойцы его теперь теснили немцев с другой стороны.

Маньков неожиданно увидел рядом с собой политрука. При вспышке электрического фонаря он заметил, как осунулось его лицо.

— По-молодецки сделано, товарищ Маньков,— сказал Дементьев.— Я подымусь на самый верх, а ты кончай их на третьем этаже.

Стоны, выстрелы, вой доносились из зала третьего этажа. Борьба там шла в темноте, только виден был в широких окнах ярко полыхающий пожар в городе. Маньков на мгновение зажег электрический фонарь.

Устроив баррикаду из нагромождения станков и каких-то кип, немцы отчаянно дрались на ней. Тут же, под защитой этой баррикады, немецкие пулеметчики обстреливали улицу из окон.

— Друзья! Отомстим за командира нашего! За Филиппа Закоморного! — больно срывая голос, крикнул Маньков.

И точно не хватало только тех нескольких бойцов, которые, подхватив восклицание Манькова, кинулись на баррикаду. Соппротивление немцев вдруг сломилось.

Скоро, кроме тяжело раненных, во всем зале не осталось ни одного немца...

Три немца-пулеметчика, находившиеся на крыше фабрики, не отрывались от своих пулеметов и стреляли до последнего. Но когда Аркадий Забалуев осторожно поднялся на крышу и пристрелил одного из них, два других сразу встали и подняли руки... Аркадий, чертыхаясь и матерясь, тащил их пулемет. Впереди шли немцы с поднятыми руками, сначала по душному темному чердаку, потом по узкой чердачной лестнице.

Всего несколько минут пробыл Аркадий на чердаке и на крыше, но за это время что-то существенное изме-

нилось в огромном здании фабрики: теперь только снизу доносились выстрелы. По всему зданию раздавалось хлопанье дверей, беготня на лестницах, звонкие голоса — свои голоса. Фабрика была уже занята второй ротой.

Аркадию не терпелось кинуться вниз, откуда еще слышна была стрельба, но надо было развязаться со своими пленными немцами. Он пытался их всучить Нолдину, но тот торопился на четвертый этаж. У Гаркуна тоже было свое дело — установить минометы на третьем этаже и ударить в глубину немецкого расположения. «Неужели придется вести немцев до самого штаба батальона?» — с отчаянием думал Аркадий, но, когда он уже был внизу, ему попался Рекстынь. Лицо у него было озабоченное.

— Давай, давай их сюда, — сказал Рекстынь. — А ты мне нужен, милый парень, спустись-ка в подвал и посмотри: не прячется ли там кто-нибудь?

Аркадию эта задача показалась занимательной. Совершенно бесшумно двигаясь (способность, которой Аркадий славился во всем батальоне), он переходил из одного громадного помещения в другое, но везде было пусто, лежали только какие-то тюки. Аркадий направлял электрический фонарик во все темные закоулки между ними. Он прошел шесть или семь громадных зал, и его уже взяла досада, что он взялся за такое скучное поручение, как вдруг, войдя в последний зал, он увидел, что на самом верху нагроможденных друг на друга тюков стоит человек в серой куртке и без штанов. Видны были его голые тощие ляжки.

При всей своей способности к быстрому действию, Аркадий несколько опешил. На человеке этом была серая немецкая военного покроя форменная тужурка и, кажется, офицерские знаки различия. Но отсутствие на нем штанов настолько удивило Аркадия, что он не сразу смог признать в этом человеке немца, заклятого врага.

Немец, напившись, мог идти во весь рост в атаку, заывая какую-то песню (этот вой иногда снился Аркадию), немец мог до последнего, уже умирая на штыке, лезть в драку. Немец мог притвориться мертвым и вы-

стрелить в спину, поднять руки и, подпустив к себе ближе, выстрелить в лицо. Но сегодня с немцами творилось что-то несообразное: те кидались с третьего и четвертого этажа на мостовую с этим непонятным криком «юхей», а этот чудак снял штаны в самом разгаре боя.

Немец поднял голову, и судорога прошла по его довольно правильному лицу с холеными усиками. Увидев нацеленный автомат, немец не поднял руки вверх, но и не стал сопротивляться. Натянув одной рукой спущенные белые подштанники, он поднял другую кверху и, грозя оторопевшему Аркадию указательным пальцем, закричал:

— Nur diplomatisch schprechen!¹ — закричал он яростно и предостерегающе, с убежденностью, что для Аркадия эти слова имеют какое-то значение.

— Hände hoch!² — сказал Аркадий без всякой, впрочем, экспрессии.

Немец сначала подобрал кальсоны и застегнул их. Потом поднял руки и смирно пошел вперед.

Оправившись от изумления, Аркадий спросил, заранее составив в уме фразу:

— Warum die Hosen weg?³

Немец оглянулся и ответил Аркадию длинной и очень убедительно звучащей фразой, которой Аркадий не понял. Потом они шли молча, и только немец, порою спотыкаясь в темноте, что-то ворчал молодым самоуверенным баском.

Они вышли на лестницу, тускло освещенную ночным керосиновым фонарем. Здесь им встретились Дементьев, Маньков, Засыпкин и Рекстынь.

— Вот поймал какого-то непонятного, товарищ политрук, — с досадой сказал Аркадий. — Зачем-то в подвале без штанов ходил. Чего-то объясняет, а я не понимаю.

Немец, не опуская рук, с интересом переводил глаза с одного лица на другое. Он, видимо, знал русский язык, но впервые слышал живую речь. И вдруг затрудненно и с усилием, придавшим глуповатое выражение его самоуверенному лицу, он сказал:

¹ Говорите только дипломатически!

² Руки вверх!

³ Почему без штанов?

— Без штанов потому, что рана, вот он, Blut¹.

— А ну, расстегнись-ка,— грубо сказал Маньков. — Тыфу, ерунда это, а не рана.

— Если бы наши бойцы из-за таких царапин в бою одежду снимали, так что ж это? Нам бы голыми ходить пришлось,— усмехаясь, сказал Засыпкин.

— Как же вы, офицер, и во время боя снимаете штаны из-за такой ерунды? — гневно спросил Дементьев по-немецки.

Немец, видимо, так же серьезно хотел что-то возразить, но тут Аркадий захохотал. Это был такой смех, какой не часто приходится слышать. Уперев руки в бока, Забалуев топал ногами, рычал, потом утирал руками слезы, потом опять взглядывал на немца, удивленно глядевшего на него выпуклыми карими глазами.

— Товарищи, родные, не могу, пропадаю,— стонал он.

Этому смеху нельзя было противиться. Захохотал Рекстынь, захихикал Маньков. И Дементьев, первый раз после смерти Закоморного, тоже улыбнулся. Но тут же нахмурился.

— Сержант Забалуев, вы еще о чем-нибудь говорили с пленным?

— Говорил,— постанывая от смеха, ответил Аркадий.— Он же мне сразу представился: я,— говорит, — с дипломатическим поручением от самого фюрера.

— Он, наверное, и штаны снял для дипломатической неприкосновенности,— начал Рекстынь, но, взглянув в глаза Дементьеву, замолчал.

— Сержант Забалуев,— совсем уже сердито сказал Дементьев,— я накладываю на вас дисциплинарное взыскание.

— Да что вы, товарищ политрук? Разве я шучу? Вы его по-немецки спросите, он вам все разъяснит, он так и сказал — дипломатиш.— Взглянув на серьезное лицо немца, Аркадий еще раз фыркнул, но удержался.

— Что вы говорили о дипломатии, когда сдавались? — по-немецки спросил Дементьев.

— Я только попросил о дипломатическом обращении со мною,— сказал немец.— Младший командир, бравший меня в плен, мог поддаться азарту сражения и убить меня.

¹ Кровь.

— Он бы не совершил никакого преступления,— сказал Дементьев.— Вы наш враг, и при чем тут дипломатия?

Немец усмехнулся самодовольно:

— А если я имею сообщить для советского командования ценные сведения?

Дементьев оглянул его с головы до ног. Похоже, что немец был составлен из двух разных половинок, причем верхняя—холеная, офицерски самоуверенная половинка знать не хотела о том, что она непоправимо скомпрометирована этими белыми кальсонами.

Дементьев пожал плечами, подумал и сказал:

— Придется вам, сержант Забалуев, препроводить пленного лейтенанта в штаб полка.

— Слушаю,— со вздохом сказал Забалуев. И, когда Дементьев отошел, добавил сердито: — Вот незадача мне сегодня: еле от тех двух отделаюсь, так тут дипломата поймал. Эй,— сказал он, обращаясь к немцу и возвышая голос,— пошли! — Он указал на входную дверь.— Форвертс!

Немец быстро заговорил что-то, указывая на ноги, он, видимо, не хотел идти без штанов на улицу. Но, хотя интонации его речи были очень убедительны и даже жалобны, Забалуев не пожелал войти в его положение, внушительно потряс автоматом, попрощался с товарищами и вместе с немцем вышел из помещения фабрики.

События складывались согласно честолюбивым планам Манькова. Как только все тот же долговязый и белобрысый, флегматично упрямый связист дотащил провод от батальона до фабрики, Нухимов запросил по телефону, верна ли дошедшая до него весть о смерти Закоморного. Дементьев ответил утвердительно, и тут же неминуемо возник разговор о том, кто должен встать на место Закоморного. Нухимов спросил, как вел себя в бою Маньков. Дементьев ответил, что отлично, и Нухимов тут же сказал, что в таком случае «и. о.» командира роты он назначит Манькова. Что об этом думает Дементьев?

— «И. о.», так «и. о.»... — ответил Дементьев.

Нухимов был рад, что его приятель «имеет шанс» так скоро поправить свои дела. Да и Дементьев готов был

помочь Манькову. Но назначить его на место Закоморного? При всех своих достоинствах, уже несомненных для Дементьева, Маньков очень проигрывал при сравнении с Закоморным.

За короткое время совместной работы у Дементьева с Закоморным выработались очень ясные отношения. Закоморный был таким командиром, в работу которого по меньшей мере смешно было вмешиваться. Получилось так, что Дементьев весь отдавался политической работе, исходя в ней из командных задач Закоморного. Аналогия между первым и вторым голосом в дуэте здесь очень подходила: командир и политрук хорошо спелись.

Начав работать с Маньковым, Дементьев невольно настраивался на свою «партию второго голоса». Но это не получалось. Лейтенант Маньков еще не оправился после того, что с ним случилось сегодня. Он робел и «партию первого голоса» вести пока не мог. Авторитет Дементьева в роте был настолько высок, что Маньков, действуя, все время оглядывался на него. Будь на месте политрука другой человек, это, может быть, ему льстило бы, но Дементьева это только злило и озадачивало. Он и до смерти Закоморного и сразу после его смерти сам выполнял обязанности командира и понимал, что командир во всей своей деятельности и особенно в бою должен быть самостоятелен и ответственен за свои действия только перед старшим начальником.

«Как же будет в бою, если даже и сейчас, в легких условиях передышки, когда немцы отступили и роте поручено занять оборону, Маньков всякий пустяк согласовывает со мной? — И Дементьев с раздражением думал: «Ты делай! Сделаешь неправильно, я сам тебе скажу». Но сказать об этом Манькову он не мог, наоборот, он должен быть доволен, что командир работает с ним «в контакте».

После смешного и странного пленения немца без штанов Маньков решил, что нужно еще раз и основательно обыскать все подвалы. Закоморный так бы и сделал. Маньков же пошел искать Дементьева, чтоб «согласовать» с ним этот вопрос.

Он застал его в одной из комнат третьего этажа. Тусклая потрескивающая (горел бензин с солью) копилка освещала письменный стол, кресла и графин с

водой в углу — здесь был случайно уцелевший кабинет. Дементьев разговаривал с тремя латышевцами: Ивашиным, Гаркуном и бледным от потери крови, но упрямо отказавшимся идти в госпиталь Митей Фетисовым. Приход Манькова опять отвлек Дементьева в область мыслей о командирской неполноценности Манькова.

— Делай, делай, — хмурясь, сказал ему Дементьев и, оторванный «на минуточку», снова вернулся к разговору с латышевцами, остро интересовавшему его.

Это была история, имевшая более чем десятилетнюю давность.

В 1930 году на завод имени Латышева поступил деревенский парень Афанасий Гаркун. За один год прошел он путь от сезонника-строителя до слесаря-монтажника (завод в это время расширился почти вдвое). Он стал ударником и пожелал вступить в партию. Но на общем партийном собрании против его принятия выступил Ивашин, пользовавшийся на заводе громадным авторитетом. Мотивы были такие: Гаркун пришел на завод за длинным рублем, и вообще к нему следует приглядеться: не бежал ли он из деревни от коллективизации?

Рекомендующий Гаркуна в партию директор завода говорил, что в стремлении Гаркуна к большому заработку нет ничего плохого, он действительно стремится жить хорошо, культурно, не пропивает денег, ходит в театр, покупает книги. Насчет деревенских дел Гаркуна известно было, что он — не кулак, и у него была соответствующая справка сельсовета. Однако Гаркун на партийном собрании держался заносчиво, и парторганизация пошла за Ивашиным.

А Гаркун стал застрельщиком стахановского движения на заводе и был награжден орденом. Его портрет напечатали в центральных газетах. Накануне войны он стал мастером. Особенно славился он на заводе умением осваивать новые заграничные механизмы и умением учить молодежь. Его ценили и любили.

Наступил наконец такой момент, когда старый недруг Ивашин сам пришел к Гаркуну и предложил рекомендовать в партию.

Надо было знать Ивашина, который по праву гордился и тем, что они — Ивашины — четвертое поколение, — работают на заводах Москвы, и тем, что в старое вре-

мя, имея на руках жену и малых детей, он никогда не отставал от товарищей, бастовал и скитался с одного завода на другой. Участник Октябрьского переворота в Москве, участник пражданской войны — он вернулся на завод, когда в цехах нельзя было продохнуть от паутины, и вместе с другими товарищами восстанавливал завод. «Было чем гордиться!»

И вот он «признал свою ошибку», предложил Гаркуну рекомендацию. И надо было обладать характером Гаркуна, чтоб от такой рекомендации отказаться. «Где уж нам, деревенским, чай пить, — сказал Афанасий. — Спасибо, товарищ, поучили вы меня тогда, решил я умереть беспартийным».

— А вот вчера, в том нашем доме, как подошло время умирать, тут-то я и понял. «Обиделся». — На кого обиделся? На самое коммунистическую партию? Какая глупость... И сказал я себе: жив буду, первое, что сделаю, пойду к товарищу Ивашину просить рекомендацию.

Ивашин вздохнул, провел рукой по отрастающему ежику своих волос:

— Мне и говорить об этом совестно. Глупость была, — да ведь и ты хорош был тогда: меня, можно сказать, вежливо из своей квартиры выкатил. Не ожидал я такого конфуза. Ну, да ладно!

Он положил свою руку на руку Гаркуна, лежавшую на столе, и Митя Фетисов подумал, что эти две большие сильные руки настолько схожи, как будто они принадлежат одному человеку.

— А где у вас вторая рекомендация? — спросил Дементьев.

Гаркун покраснел, отрицательно качнул головой и с ожиданием взглянул на Дементьева.

— В таком случае, если вы ничего не имеете против, я дам вам свою рекомендацию... — сказал Дементьев.

Как всегда, когда речь шла о партийных делах, он считал нужным говорить ясно, точно и несколько сухо-вато. Но в голосе его Гаркун услышал такие ноты, что, с благодарностью пожимая руку политрука, он вложил в рукопожатье всю свою силу. Дементьев ахнул, а Ивашин сказал:

— Да, товарищ политрук, такого крестничка не забудете.

Дементьев и Гаркун переглянулись, — та связь между ними, которая возникла в первом же бою, когда Дементьев спас Гаркуна, сейчас оформилась и закрепилась на всю жизнь.

Только закончился разговор с латышесцами, как Рекстынь принес еще три заявления — два от комсомольцев и одно от Шкляревича, который писал о себе, что с гражданской войны он «все время борется и работает вместе с большевиками, но всегда мечтал вступить в партию тогда, когда будет трудная обстановка для нашей страны».

Дементьев рассказал Рекстыню про латышесцев. Они поговорили о тех, кто вступил в партию, и о тех, кто еще вступит, пожалели о выбывших из партийной организации — убитых и тяжело раненных.

Одно только имя не было упомянуто, ни слова не сказано было о Закоморном. Накрытое знаменем тело его лежало в нижнем этаже, в комнате, где раньше помещался клуб фабрики. Там стоял почетный караул, и, несмотря на поздний час и на общую усталость, туда то и дело заходили бойцы, испуганно, вопросительно взглядывали на спокойное лицо командира. Некоторые приходили по нескольку раз.

— Эх, оркестра, жалко, нету, — огорченно сказал Касымов.

Дементьев не ответил. Оркестра не было, но стрельба, то отдаленная, то приближающаяся, слышна была из-за стен фабрики.

Дементьев медленно обходил этаж за этажом, перебрасываясь двумя-тремя словами с бойцами, взглядывал в окна на побелевшие от внезапной снежной выюги пустынно-дикие улицы, слушал завывание ветра, грохот стрельбы. В той части здания, которая была обращена в глубину нашего расположения, плотничья команда строила нары. Работа шла споро, с какой-то особенной удалью, щепки летели из-под быстрых топоров, всюду видны были красные вспотевшие лица плотников.

Дементьева заметили, оживленно приветствовали его. Он выслушал складный рапорт старшего плотничьей команды, рыжеусого Моторина, и немного постоял здесь... Ни разу не было сказано слово «победа», но оно чувствовалось во всем этом разговоре. Ни разу не было упомянуто имя убитого командира, но был бы он

жив, ощущение победы было бы праздничнее. «Все стали серьезнее, все повзрослели, а я... я постарел», — думал Дементьев.

Верхняя часть здания была разбита артиллерией, от шестого этажа осталась только стена с окнами, обращенная в сторону немецких позиций, да примыкающая к этой стене неровная полоска кафельного пола — остаток коридора. Другая сторона этажа была разрушена; отсюда открывался вид не только на город, но и на поле вчерашнего сражения, на жнивье и огороды, на сосновую рощу.

Холодом охватывало сердце при взгляде на эти теперь пустынные, уже занесенные снегом места, страшные и священные.

Дементьеву показалось, что он шел очень долго, окно следовало за окном. Наконец он заметил наблюдателя в том месте, где ветер был потише, так как здесь сохранилась часть противоположной стенки. Наблюдатель, как и полагалось ему, стоял, обернувшись к окну. При этом он делал какие-то странные движения, размахивал руками, и винтовка, которая была у него на ремне за плечами, нелепо болталась — все не так, как надо, все не по уставу. Коротенькая фигура, длинная шинель — конечно, это был Новодережкин, и, как всегда, он поступал нелепо.

Дементьев подошел к нему. Новодережкину уже следовало бы услышать его шаги, но он, конечно, не слышал, нелепый человек! Он увлечен был тем, что размахивал руками, и при этом не то что бы пел, а в лад со взмахами рук издавал какие-то звуки, вроде: пам-па, па-па, пам-па-па-па-па, трам-па, трам-па-па-па-па.

— Это что такое? — спросил Дементьев скорее удивленно, чем негодуя.

Новодережкин вздрогнул, замолчал, вытянул руки по швам и повернулся. Его озябшее с красным пухленьким носом лицо было сконфуженно, хотя все еще восторженно, глаза блестели.

— Товарищ политрук! — сказал он, поднося руку к козырьку. — Как вы незаметно подошли.

— Вы здесь поставлены для того, чтобы не допускать незаметных приближений, — сказал Дементьев. — Чем вы тут занимались?

— Это глупость, товарищ политрук, просто глу-

пость, — конфузясь, сказал Новодережкин, — конечно, это, наверное, не по уставу, но я просто как-то не сообразил и увлекся. Это... Вот слушайте.

Он схватил Дементьева за руку и, открыв рот, стал слушать, взглядом своих блестящих и восторженных глаз приглашая Дементьева тоже слушать. Послушать, конечно, было что.

Ветер дул очень сильно, и скрежет оторванных листов железа сливался со звуками стрельбы, а им по-своему вторили пожары, взлеты ракет, зарницы артиллерийских огней.

— А? — спросил Новодережкин. — Слышите?

— Ну и что? — спросил Дементьев.

— Это, конечно, мое воображение. Но я очень музыку люблю. Музыкального образования я не имею, но хожу слушать. Я скажу вам, что это такое, это симфония, это как Бетховен. То есть, конечно, я воображаю себе громадный оркестр, но основу дают все эти звуки. Если б я был музыкантом, я бы написал эту симфонию — героический гимн нашей борьбы: тут есть и то, как вы под танк кинулись, и смелая вылазка Фетисова, и смерть нашего командира — все, все, что мы пережили за эти трое суток. Как мы славно двигались!

Дементьев вспомнил потерянный штык. Он тоже входит в эту симфонию? Но вслух не сказал, а только засмеялся.

— Давайте условимся так, боец Новодережкин. Когда отбудете свои часы, можете заниматься здесь музыкой хоть целую ночь. А пока вы на посту, исполняйте свои обязанности, да поаккуратнее. Из-за карниза особенно не высовывайтесь, чтоб вас немцы с соседних крыш не подстрелили.

Он повернулся и пошел обратно. Ему вдруг представились Гаркун и Ивашин — только в великом накале всенародной войны переплавилась взаимная неприязнь этих двух строптивых натур в нерушимую дружбу.

Но накал войны становится все ярче, — то ли еще увидим мы?.. Да, «симфония». И он видел с одной стороны места вчерашней битвы, с другой те места, где битва начнется завтра, и молчаливый одичавший город. Как-то особенно вспомнил вдруг Закоморного, точно друг его, пройдя через смерть, вечно останется с теми, кто любил его. Он вообразил вдруг лицо Ири-

ны, ведь он точно знал, что второго лица такого нет на свете.

Ветер выл, ракеты взлетали, и все это вместе с тем, что переполняло его душу, было симфонией... «Да, мы стоим здесь, отбив у врага то, что осталось от этого священного места. Мы стоим здесь, охраняя прошлое и будущее человечества от мрака и небытия».

И он вдруг вспомнил рдеющие в зареве пожара окна, черные, взмахивающие руками, вспрыгивающие на подоконники фигуры и этот страшный крик: «Ю-хе-еей! Юхе-е-еей!»

Вдруг свет электрического фонаря, направленный в лицо Дементьеву, остановил его и прервал его мысли. Перед ним был Маньков. На его чистеньком девичьем лице было выражение какой-то торжественной решимости.

— Товарищ политрук, — сказал он, приблизив губы к уху Дементьева и говоря шопотом, хотя на лестнице никого не было. — В подвале я нашел динамит, очень много динамита. Мы в любой момент можем взорваться даже и от детонации.

— Сколько динамита?

— Не менее трех тонн. Об этом никто не знает. Я у входа в подвал поставил часового.

— Это вы правильно сделали, товарищ лейтенант, — раздумывая, сказал Дементьев. — И потом надо написать донесение по начальству. Секретное донесение.

Он говорил спокойно, и Маньков с уважением глядел на него.

«Можем взорваться, — подумал Дементьев, — и вот все, о чем я сейчас думал, и Гаржун, и Ивашин, помиравшиеся после десяти лет вражды, и Фетисов, и Нолдин, и Моторин, и Улыбкин, который начал день трусом, а кончил храбрым бойцом, и Новодережкин, собравший там наверху всех нас в свою симфонию, — все это может превратиться в ничто вот сейчас, сию секунду». Если бы только Маньков догадывался, какой немой холодный ужас охватил душу Дементьева! «Но ведь каждый из нас готов сию же секунду погибнуть в бою?» — спрашивал сам себя Дементьев. И все же это не вызывало того немого ужаса, который рождала мысль об одновременной гибели всех, и особенно Ново-

дережкина с его симфонией. И при этом Дементьев читал донесение, составленное Маньковым, и прислушивался к какому-то громкому спору, который раздавался внизу. Он прочел, подписал донесение, за ним подписал его Маньков.

— Запечатайте и пошлите с надежным человеком. А лучше всего — оставьте вместо себя младшего лейтенанта Груздева и сами отвезите Нухимову.

По лицу Манькова было видно, что он обрадовался возможности увидиться с Нухимовым.

— Я так и сделаю, — весело сказал он.

Дементьев не ответил — он глядел на входную дверь, где, весь запорошенный снегом, стоял командир, в котором с удивлением и радостью признал он капитана Стахеева, того, который пел забавную песню о прелестной косе «длиннее шнура боевого»... Как неизмеримо давно это было...

— Товарищ политрук, — конечно, не узнавая Дементьева, заговорил Стахеев. — Куда же это годится? Или ваш часовой пароля не знает?

На часах у входной двери стоял молодой татарин Алабаев. Пароль он, конечно, знал, но непонятное и внезапное появление среди ночи какого-то неизвестного капитана внушило ему подозрение. Дементьев подошел и проверил документы Стахеева.

— Мы тут учредим у вас артиллерийский наблюдательный пункт. Я сам буду тут часто бывать, мы с вами прекрасно жить будем, — говорил Стахеев.

«Это на динамите-то? — подумал Дементьев и оглянулся, почувствовав, что на него кто-то пристально смотрит. — Нет, этого никак не может быть», — сказал он себе, глядя на покрытую снегом фигуру, только что вошедшую в подъезд, — бдительный Алабаев тут же преградил ей путь винтовкой.

— Это санинструктор зенитчиков, — сказал Стахеев. — Владимирова Ирина Евгеньевна. Известная актриса московская, — шепнул он Дементьеву.

Но Дементьев уже протянул руку Ирине. Она очень сильно озябла, голос ее охрип, но, вытирая платком лицо, она тут же, на глазах, хорошела. Как она обрадовалась, увидев его! В ее мечтах он, пожалуй, был кра-

сивее, но разве могла она представить себе милую «невыспатость» его лица, — так своими словами назвала она какое-то детское выражение его глаз, бровей и губ: точно пробужденный от страшного сна, изумленно и радостно всматривался он в нее.

— Вот хорошо как, — грустно сказал он и опять подумал о динамите.

Стахеев тут же отправился на крышу, а Дементьев повел Ирину в комнатку медсестры Кати Мокшанцевой. Он знал, что идти до этой комнаты всего несколько минут и за эти несколько минут надо было сказать ей о том, как он скучал о ней. Ведь потом они уже не будут вдвоем. Но он робел, он чувствовал ее такой недостижимой и даже не посмел взять ее под руку, хотя видно было, что она очень устала и ей трудно идти.

— Ах, Гриша, Гриша, — сказала она, — как я боялась, чтобы вас не убили.

— Нет, я жив, — ответил Дементьев, — а вот командира моего убили.

— Рядом с вами? — воскликнула она, схватив его за руку, хотя он совсем не говорил, что Закоморного убили рядом с ним. — Недаром я так боялась!

Опомнившись, она вдруг покраснела и отпустила его руку.

Он испугался, что она сейчас рассердится. Он сам не знал, почему, но он был уверен в том, что она может рассердиться. К тому же, вот и дверь в комнату Мокшанцевой. И он сказал хрипло:

— Я скучал...

И как только он это сказал, она сразу остановилась. Они стояли около самой двери.

— Да? — спросила она. Приоткрыв полные губы, неожиданные для ее худенького нежного лица, она с какой-то строгостью вглядывалась в него, и он не отвел глаз.

Раздались шаги. Это подошел капитан Стахеев.

— Такая досада! Придется с установкой радиостанции дожидаться до света. Такая досада, немцам на четыре часа отсрочка. Что ж, товарищ политрук, чай пить давай, — сказал он весело, и они втроем вошли в комнату Мокшанцевой.

Утром на фабрику неожиданно прибыли начальники—Городков с Мировичем и Кораблев с Язевым.

«Знают ли они о динамите?—думал Дементьев, рапортуя. Маньков не вернулся, Нухимова с приехавшими тоже не было. — Похоже, что приехали просто для того, чтобы осмотреть позицию».

Ветер улегся. Ночью казалось, что падает много снега, а теперь видно стало, что просто ветер переносил его с места на место. Снег даже не покрывал крыш и улиц.

Стрельба доносилась глухо, казалось, что фронт ушел, а рота осталась в тылу.

Осмотрев огневые позиции роты, Городков спросил, где лежит тело Закоморного, и захотел пойти приступить.

Кораблев постоял без шапки, вздохнул и отошел. Городков нагнулся и поцеловал Закоморного в губы. Мирович, жалобно скривив рот, точно готовясь заплакать, испуганно-вопросительно глядел в это лицо, которое даже и сейчас поражало выражением спокойной силы.

Вдруг Мирович, точно его толкнули, резко повернулся. Бойцы, свободные от нарядов, пришли смотреть, как начальники будут прощаться с их командиром, и тихой толпой стояли у стен. Мирович видел здесь многих знакомых: он сразу признал Владлена с рукой, завязанной белым бинтом, подтянутого Нолдина... Многих фамилий он не знал, многих видел впервые, но какое-то одно выражение было на всех этих лицах: серьезной, строгой силы, пожалуй, такое же, как на лице убитого командира, но на его лице эта сила уже успокоилась, а на лицах бойцов она точно пробуждалась.

Городков вдруг сказал, обращаясь к Дементьеву:

— Лейтенанта Филиппа Закоморного похороните здесь, во дворе фабрики. Пусть, когда рабочие сюда вернутся, они найдут здесь его могилу и узнают, какие люди отстаивали их добро. Успехом вчерашнего дня мы обязаны вам всем и прежде всего ему, вашему командиру.

Он вздохнул, замолчал.

— А когда на запад пойдем, товарищ полковник? — вдруг неожиданно спросил звонкий голос Забалуева.

Он спросил, и видно было, что сам удивился своему

вопросу и даже испугался. Отведя своего немца, он только что вернулся, проголодавшийся, еще не прожевал хлеб с маслом и так застыл с набитым ртом. Но если бы не он, то спросил бы кто-нибудь другой, — так все сразу задвигались и заволновались.

Кораблев неодобрительно покачал головой. Городков усмехнулся, глядя на румяно-смуглое, черноглазое лицо Забалуева, который чуть не подавился, так как в этот момент решил одним разом проглотить все, что было у него во рту.

Можно было ожидать, что Городков сделает выговор Забалуеву или пошутит с ним, но он сказал совершенно серьезно:

— Вы вот, товарищ сержант, вчера привели нам молодого немца без штанов. Это не офицер, как вы думали, это один из гитлеровских военных пропагандистов, выдающаяся дрянь даже среди фрицев. Но он кое-что знает и по трусости вчера рассказал нам о некоторых разговорах среди немецкого офицерства — он их по должности подслушивает. Меня заинтересовали слова того генерала, с которым наша дивизия имеет дело. Он сказал при этом бесштанном дипломате, что сейчас, конечно, перед германской армией задача отступления не стоит, отнюдь нет, немцы думают только о наступлении. Но если рассуждать теоретически (а немецкие генералы большие охотники до теории!), то, сказал генерал, надо думать и о второй, скрытой возможности, о возможности отступления. И представьте, генерал находит, что отступать из России будет во много раз труднее, чем наступать. — Городков неожиданно рассмеялся добродушно и весело. — Вся эта немецкая премудрость в переводе на русский язык означает такой разговор: «Я медведя поймал!» — «Тащи его сюда». — «Так он не идет». — «Ну, сам иди!» — «А он не пускает».

Городков еще не кончил лукавую присказку, как первым засмеялся лышнюусый Моторин и сконфуженно прикрыл свой рот ладонью. Но уже смеялись все. Городков снова был серьезен, рука его лежала на том месте рукава Закоморного, где нашит был командирский галун.

— Но, видите, немцы пока собираются наступать. Правда, вчера мы их хорошо погнали, но сейчас они

подтянули из тыла две дивизии в помощь двум, нами побитым. Придется нам всерьез закрепляться. Сегодня же к вам сюда придут саперы, и вместе с ними вы превратите это здание в крепость. Ни шагу назад отсюда нельзя будет сделать, отсюда простреливаются все улицы, отсюда можно вести наблюдение далеко за город.

Дементьев тут вспомнил о динамите, и, точно отвечая на его мысли, Городков вдруг сказал:

— Есть тут, товарищи, одно дело, которое я не хочу скрывать от вас. Фабрика эта приготовлена для взрыва. Под ней находится три тонны динамита. Вы постараетесь, конечно, возможно скорее динамит этот отсюда выгрузить. Но едва ли это успеется в те краткие сроки, которые остались до того, как эта фабрика превратится в передний край нашей обороны. Тогда выгружать динамит будет значительно труднее: придется это делать по ночам, под обстрелом врагов, опасность взрыва увеличится.

Он помолчал.

Шкляревич не сводил с него глаз: да, это был Городков, его отделенный командир, он даже не очень изменился.

— Но все равно, — продолжал Городков, — от могилы Закоморного, которая будет здесь во дворе, дорога у вас только одна, только на запад. Такой мой приказ, и знаю, что вы его исполните—вы, гвардейцы. Гвардейцы! — с удивлением и восторгом воскликнул вдруг он, нарушая деловую и начальническую строгость этой части своей речи. — Ведь подумать! Большинство из вас пришло к нам не более десяти дней тому назад, а другие и того меньше. И вот вы—лучшая рота кораблевского полка и одна из лучших рот нашей дивизии. И когда мы сегодня ночью обсуждали вопрос, кого нам награждать, так не легко было выбирать лучших из лучших. Лейтенант Закоморный и политрук Дементьев, сержанты Фетисов и Забалуев, ефрейтор Нолдин, рядовой боец Афанасий Гаркун. Мы пока наметили этих, но, конечно, не всех. Что ж это такое?—опять со строгостью спросил он. — Ведь были мы все простые люди, каждый делал свою работу, что ж это за силы открылись во всех нас?

Несколько секунд все стояли неподвижно, и явственно слышен стал грохот боя. Он нарастал и приближался.

— Родина. Наша Советская Родина... — тихо, точно для самого себя, сказал Горюшков.

К о н е ц

Но разве это конец? Можно целую книгу написать о том, как рота Дементьева и Закоморного шесть недель обороняла свою крепость-фабрику, с трех сторон окруженную немцами. Немецкая артиллерия разрушала ее, огонь минометов и пулеметов обрушился на ее защитников. Но они устояли. Они сделали свою крепость грозной для немцев, и на всем протяжении фабричных улиц немец боялся высунуть нос из своих блиндажей. А в роте велась политическая работа, геолог Павловский рассказывал о богатствах нашей родины, приходила Ирина Владимировна, читала стихи и пела, боец Новодережкин выпустил тридцать номеров «Боевого листка».

Потом рота в середине декабря 1941 года с боем вышла на запад, на те снежные поля, на которые столько дней жадно смотрели часовые с наблюдательного пункта.

А это — снова — другая книга.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	3
Часть вторая	76
Часть третья	123
Часть четвертая	168

Редактор Е. Златова.

А 7865. Подписана к печати 30/V 1944 г.
Печ. л. 15¹/₄. Авт. л. 13,75. Уч. изд. л. 14,13.
Тир. 15.000. Заказ № 3098.

Цена 7 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся
СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова,
Пушкинская площадь, 5.

П. 53 Г.

